

Георгий Гулиа

Сулла

Предисловие

Тем, кто возьмет в руки эту книгу, я бы хотел сказать: вот последняя, то есть третья, часть трилогии.

По месту действия три книги относятся соответственно: к Древнему Египту, Афинскому государству и Древнему Риму. А по времени действия дистанция между ними растянулась на сотни лет. Если что и объединяет все части трилогии, то, безусловно, это их автор. Другой видимой связи как будто нет. В самом деле, что общего между Эхнатомом, Периклом и Суллой? Они жили в разное время, и деяния их еще более различны, чем страны и эпохи, породившие их.

Но все три романа посвящены истории древнего мира. Каждая из стран, о которых повествует трилогия, внесла свой огромный вклад в культуру человечества. А три главных героя ее жили и боролись на великих изломах мировой истории. Так или иначе каждый из них знаменовал собою конец одной эпохи и начало новой и очерчивал собою резкую грань этого перехода. И это в какой-то мере объединяет части трилогии.

Не знаю, требуются ли еще какие-либо доводы в пользу правомерности и естественности подобной трилогии. И надо ли вообще оправдывать появление ее?

Как говорится, судить не мне.

Итак, «Сулла»...

Г. Г.

Римляне идут на Рим

1

Лошадь была в мыле. Едва доскакала до палатки и чудом удержалась на ногах. И дыхание ее скорее походило на предсмертный храп.

А всадник?

И про него бы можно сказать: едва на ногах стоит. Он бросил поводья подбежавшему солдату, вытер лицо льняным платком, который держал в зубах от самого Рима, точно маленькое знамя. Это знамя – знак беглеца, знак всадника, спасающего свою жизнь. Платок можно сжевать вместо еды. Платок овевает шею, немного остужает кровь. Так, по крайней мере, полагают те, кому доводилось скакать много миль, спасая свою жизнь. Нет, когда борешься за каждое мгновение, когда над тобою занесен меч и ты прижимаешь голову к конской гриве, – даже платок тебе подмога, даже платок кое-что да значит...

Сумерки спускались на землю Кампаньи. Нынче они не казались голубыми, легкими, невесомыми, как об этом поют поэты, – они казались тяжелыми. Густым медом стекали

они по склонам Везувия и, стекая, наполняли собою всю Кампанию. И этот военный лагерь близ Нолы, эти солдатские палатки, казалось, не выдержат тяжести сумерек.

Он вошел в палатку, которая была чем-то средним между солдатской палаткой и просторным шатром полководца. Вошел не сразу: постоял немного, откинув полог, у входа. И здесь те же густые и тяжелые сумерки, что и на дворе. И здесь – несмотря на огонь светильников – та же давящая, неприветливая, сумеречная серость, мрачная, как на дне морском.

Ему предложили скамью. Так утомился, что трудно даже присесть. Необходимо отдышаться прежде всего: будто не его несла лошадь, а сам бежал вперегонки рядом с нею. От самого Рима до Нолы.

Подали вина и воды. И он осушил оба глиняных сосуда. И только теперь явственно различил тех, кто был в палатке: вот легат Фронтан, квестор Руф, центурион-любимец Децим, вот центурионы Люций Басил и Гай Муммий, вот преданный слуга Корнелий Эпикед, прибывший в лагерь еще вчера из бурлящего Рима (так приказал господин).

Вопросов же задавали. Он тяжело дышал, и все ждали – что скажет. Лицо его казалось настоящей этрусской мозаикой, составленной из красного и белого цвета. Красные пятна на ветру побагровели, а белые поблекли. Светло-голубые глаза странно фосфоресцировали на фоне этой старинной, – казалось, откопанной любителями древностей, – мозаики.

И оттого, что он молчал, и оттого, что сумерки все густели и густели, и оттого, что никто не смел прервать молчания, – тягостнее становилась тишина, все покрывалось в воображении самой мрачной краской. Война с Митридатовой империей, сулившая блага и несметные сокровища, казалось, отодвигалась на неопределенное время из-за безобразий в Риме, учиненных сторонниками Мария – этого молодящегося старикашки. В лагере ждали приятных вестей из Рима, после которых войска незамедлительно поплывут за море, в Малую Азию. А вместо приятных вестей – очень неприятные. И наконец, прибытие Суллы, вид которого, молчание которого ничего доброго не сулят.

Эпикед налил еще вина и еще холодной воды. Поставил сосуды на низенький складной столик и отошел в сторону.

Его господин снова жадно выпил и вино и воду. Лицо его понемногу приняло обычный цвет и обычное выражение. Глаза чуточку поблекли, вроде бы поуспокоились. Можно было ожидать, что Сулла, придя в себя, расскажет наконец о римских делах. Это будет свидетельство из первых рук, а не слухи или же сплетни какие-нибудь, тревожившие Нолу вот уже который день.

– Да, – сказал наконец Сулла, – да! Я ожидал этого. Должно было случиться именно так, как случилось. Ибо такова логика вещей. Такова философия предательства.

Он оглядел всех, кто находился в палатке. На каждом задержал пронзительный взгляд своих голубых глаз, точно спрашивал: «Ну, а ты? Со мною ли ты? И до конца ли со мной?»

А потом снова потребовал у своего слуги вина – только вина, потому что оно способно утихомирить страсть, остудить сердце и вернуть мыслям их холодное течение.

Этот пятидесятилетний Сулла не бросал попусту слов. Он говорил «да» – и это было «да». Он говорил «нет» – и это было «нет». Это был настоящий мужчина. Так думали многие. А разве нет? Разве не оказал он Марию бесценную услугу, когда тот беспомощно топтался в Нумидии в прошлую, в Югуртинскую войну? Разве не пленил Сулла Югурту? Разве тем самым не содействовал он благополучному для Рима исходу Югуртинской войны? Да что там говорить! Да что там перечислять военные деяния Суллы! Разве не видят этого зрячие? Разве не слышат об этом имеющие уши? Воистину Рим сошел с ума, спятил с ума сенат, и лишился рассудка старикашка Марий, исходящий завистью к успехам Суллы!

Есть человек и есть Человек с большой буквы. Один живет, плывя по течению, добывая счастье, если даже не очень благоприятствуют ему судьба и боги. Такой человек мелок в удачах и жалок в несчастье. Он не умеет радоваться настоящей радостью и горевать настоящим горем, ибо страсти его мелки, как мелок и ничтожен сам он.

Но есть Человек доподлинный. Хозяин своим словам. Товарищ в бою. Идущий смело вперед. Влекущий тебя за собой и умирающий рядом с тобой одной и той же смертью. И слово его – как камень. И обеты его словно высечены на скале, на которой не меркнут священные слова. Ему сопутствует счастье всегда и везде, боги благоволят к нему, и наградой ему – триумфальный лавровый венок. Истинно таков Сулла!

Вот он сделал некое движение головою и туловищем, точно желал продолжить свою, чуть начатую речь.

– Какой сейчас стоит год от основания Рима? – спросил Сулла. И сам же ответил; – Шестьсот шестьдесят шестой! Какое прекрасное сочетание сотен, десятков и единиц. Один человек, занимающийся мантикой, сказал мне; «Три шестерки в общем сочетании цифр по вавилонским понятиям – знаменательный показатель. В этом году случится нечто, что потрясет Рим». Я спросил его: «А что же, собственно, может случиться?» На что гадатель, к словам которого у меня полнейшая вера, ответил мне: «Рим будет потрясен». Тогда я снова спросил: «Радость есть потрясение, горе – тоже потрясение. О чем же ты ведешь речь?» Гадатель обратился к величайшим тайнописям мантики и сказал, что должен много подумать, но что ясно видит одно слово: «потрясение».

– Мошенник... – сказал легат Фронтан.

Этот солдафон, который мог свалить наземь дикого буйвола, не очень был силен по части мантики, тем более вавилонской. Его отец – луканец, а мать – самнитка. Такое сочетание кровей порождает львов, но никак не утонченных, богатых воображением людей. Так подумал Сулла, когда спросил его:

– Кто же, по-твоему, мошенник?

– Этот твой гадатель.

– Отчего же?

– А как же! – сказал Фронтан, жестко произнося слова на самнитский манер. – Он решил подурочить тебя. Ты слишком доверяешь этим гадалкам.

Сулла бросил на своего помощника странноватый взгляд. Все было в этом взгляде: жалость, презрение, высокомерие. Он сказал, как бы расшифровывая то, что не поддается прочтению в его взгляде:

– Только избранные умеют слушать мантиков и уважать их гадание. Это столь же важно для военного, как и владение мечом, умение угадывать полет ядра, выпущенного баллистой, и предвидеть полет тяжелой стрелы, летящей с гладкого ложа катапульты. Мне не хочется добавлять еще кой-чего, ибо силы мои на исходе из-за этой проклятой гонки.

Фронтан прикусил язык, но продолжал все-таки бормотать что-то невнятное, что Сулла пропустил мимо ушей. Помощников своих надо знать: этот Фронтан пригоден только в бою, только в одном строю с тобою, но не больше! Работа ума в мирные дни – не его дело. Если кто и родился рубаккой, то именно Фронтан. В бою он как бешеный. Меч в его руках, словно молния в деснице Юпитера. И сам Фронтан в эти мгновения точно бог, Но нет смысла слушать его в вечерней тиши или на совете полководца. Из его уст скопом летят всякие глупости. Всех мастей.

Фронтан попытался оправдаться: мол, верит он в мантику, когда ею занимаются достойные люди, знающие толк в этом деле, из далеких земель таинственного Востока. Скажем, сыны далекой Индии.

– Что? – презрительно бросил Сулла.

– Я говорю – далекой...

– Какой такой далекой?

Фронтан растерялся. Заскулил, словно обиженный пес.

Квестор Руф – маленький, сухонький человечек с мордой кота – всегда знал, что и когда вставить в беседу.

– Воистину мантика есть первейший помощник хорошего, умного полководца, – сказал он. – Вавилонские и египетские гадатели все видят заранее, многое предвидят, но еще больше скрывают от посторонних взоров, дабы сохранить некую тайну и не все обнажить разом перед людьми.

– Слышали? – проговорил глухо Сулла. – Все слышали? Руф обладает умом большого полководца. – Сулла смотрел на него насмешливым взглядом, который никак не вязался с его словами. – Руф многоопытен и опасен в бою для врагов. Он всегда побеждает при помощи мантики. Я это знаю прекрасно и свидетельствую перед всеми об этом.

Уста его при этом улыбались странной улыбкой, которую можно было посчитать за гримасу и с таким же успехом – за улыбку. Он выложил свои руки на столик. Небольшие, но выразительные кулаки без особого труда обличали в нем человека властолюбивого. И не просто властолюбивого, но рожденного, чтобы всю власть держать в своих руках, а если угодно – в кулаках своих. Это будет поточнее.

В данную минуту ему было не до какого-то Фронтана и какого-то Руфа. Этих господ поставить на место можно без особых усилий: стоит только шевельнуть мизинцем. Просто взять – не полениться – да и шевельнуть мизинцем, и тогда они станут тем, кем следует им быть: ничтожествами, пылью. Только и всего!

В данную минуту Суллу тревожит нечто более важное, и он это выскажет с подобающей ясностью и точностью. Как бы ни презирал этих людей, окружавших его и, несомненно,

стоявших ниже его во всех отношениях, он в какой-то мере зависел от них. Когда человек идет по лестнице вверх, может ли он уважать ступени, ведущие еще выше? Безусловно. Он обязан презирать их, ибо они ниже его, ибо они у него под ногами. Ибо он попирает их. Чтобы идти. Чтобы подниматься. Чтобы возвышаться над ними. Это безусловно! Но может ли человек, если у него ясный, непомутневший разум, обойтись без ступенек, попирает их ступнями, да и только? Очевидно, нет. Очевидно, не должен. Если есть у него своя голова на плечах...

Сулла приказал слуге засветить светильники так, чтобы и следа не осталось от сумерек, которые действуют на нервы хуже каракатицы, испускающей зловонную жидкость. Он хочет ясно видеть лица, видеть глаза, читать по лицам и глазам, следить за выражением губ, за движением морщин. Поэтому нужен свет, нужно много света! Положение слишком тревожное, чтобы экономить на масле и на фитилях. Масла, слава богам, пока еще достает в Римском государстве, а фитилей льняных привозят из Египта вдоволь. А эти грекосы придумали еще такую форму светильника, что скареды даже экономят на масле. Одним словом, побольше света, черт возьми!

Эпикед бросился исполнять приказание. Центурионы всячески помогали ему в этом. Скоро палатка наполнилась светом, пусть чающим неимоверно, но настоящим, желто-белым светом...

– Я хочу, чтобы все присели, – сказал Сулла. – Достанет ли для всех скамей?

Скамей нашлось достаточное количество. Военные люди – не сенаторы-болтуны: они умеют исполнять приказы молниеносно. Слава воинской дисциплине римлян! Что случилось бы на свете, не будь этой дисциплины, рядом с которой меркнет любая философия, любая наука и даже религия?!

Сулла обратился к своему любимцу:

– Децим, ты будешь стоять?

– Я сижу, – сказал Децим.

– Я только-только понял, Децим: под тобою высокая скамья.

– Так точно! – с радостью ответил Децим.

Его широкое лицо сияло. Глаза блестели светом радости и доверия. Большой мясистый нос с горбинкой чуть вздрагивал от ощущения собственного ничтожества перед величием могучего покровителя. Сулла все это хорошо понимал и хорошо видел.

Дециму тридцать лет. Он идет рядом со своим полководцем. Он шел, идет, будет идти! Оттого ему хорошо. Оттого благо ему. И Сулла ценит преданность этого одинокого в мире воина, для которого Сулла – отец и брат.

Децим чувствует, когда слова Суллы обращены к нему, если даже Сулла в это время глядит совсем в другую сторону. Годы сделали свое дело. Децим привязан к Сулле, точно пес. Пес преданный. Но пес сытый. И пес презлой, когда это надо. И Децим, повторяю, знает прекрасно, знает – когда Сулла обращает к нему свое доброе слово и свою улыбку, если даже при этом смотрит совсем, совсем в другую сторону...

Сулла встал, обозрел всех сидящих с высоты роста – чуть выше среднего. Потер лоб платком: на платке отпечатались пятно жирной пыли – пыли Лациума и пыли Кампаны. Он подумал, что очень грязен, что, можно сказать, в пыли вывалялся. Что одно это ощущение способно навеять великую грусть. Вот бы сейчас римские термы! На худой конец, неплохо бы попасть в бальнеум ближайшей виллы и выкупаться как следует, забиться в парилку на целый день, чтобы сошла с кожи вся грязь, чтобы повылазила она наружу через все поры – буквально через все!

Но надо терпеть. И не только грязь. Но еще многое другое, которое гораздо хуже грязи. Надо терпеть. Надо набраться каменного терпения. А там будет видно. Посмотрим, что нагадал этот рьяный приверженец вавилонской мудрости! Надо бы потрясти Рим! Надо бы!..

И он начал. Ровным голосом. Совершенно, казалось бы, спокойно. Глядя прямо перед собой. В меру жестикулируя. Стоя в одной тунике, как в своей спальне. По временам скрещивая руки на груди. Изредка вытягивая вперед правую. Потрясая кулаком левой. Но очень сдержанно. Без излишней драматизации, которой подвержены многие болтуны сенаторы. Сулла говорил:

– Рим напоминает город, в котором все спятили с ума. – Он сделал несколько шагов вправо. Остановился. – Неслыханно, чтобы горстка безответственных и неспособных людей довела этот великий город до такого состояния. – Сулла шагнул влево, еще и еще раз влево. – Невозможно представить себе, чтобы великое государство возглавлял, вернее, пытался возглавить старикашка, которому место в лучшем случае на отдаленной, захудалой вилле. – Сулла зашагал вправо, обращенный лицом к своим офицерам. – Вы знаете, кого я имею в виду. Вы догадались, конечно, о ком идет речь. – Сулла заложил руки за спину, расправил плечи. Ярко-голубой цвет его глаз неожиданно зажухнул, принял сероватый, сумеречный оттенок. И где-то в глубине блеснули маленькие искорки-молнии. – Да, – сказал он приглушенно, – это он, Марий. Да, Гай Марий, несколько раз избиравшийся консулом. Но ведь человек стареет, притом человек не очень знатного рода тупеет вдвое быстрее. Я имел возможность наблюдать его действия в Югуртинской войне. Я был квестором в его армии. И мне было тогда всего тридцать лет. А он уж был в летах. – Вот в его глазах блеснули лиловые молнии. – Кто же все-таки пленил Югурту? Кто помог скорее окончить ту войну? Неужели же Гай Марий? Неужели этот консул? Может быть, я говорю неправду? Может, кто-либо упрекнет меня в пустопорожней клевете?

Сулла стал словно вкопанный. Подбоченился. Всерьез выжидал: кто же все-таки упрекнет его?

Фронтан улыбнулся и сказал Сулле:

– Весь мир знает про ту войну, Марий вел себя, как несмышлениш. Да и какой же с него спрос? Выскочка он, вот кто!

Сулла указал пальцем на Фронтана. Молчал, удивленно приподняв запыленные брови. Молчал, как бы говоря: «Поглядите-ка, вот Фронтан, умом недалекий, а мыслит правильно. Соображает, как говорят в Афинах». И улыбнулся. Одними губами. Прищурил глаза, очень неприятные, когда они глядят на тебя долго, пытливо. Тогда они – словно два голубых гвоздя, обращенных к тебе остриями...

– Слыхали? – проговорил Сулла, все еще целясь пальцем прямо Фронтану в грудь, точно дротиком. – Слыхали? А ведь он только слыхом слыхал. Тогда Фронтан был еще молод. Но что бы он сказал, если бы присутствовал в Африке, если бы стоял – вот так – рядом со мной и трусливым Марием? Я уверен, что Фронтан не на шутку бы плевался... И этот Марий теперь вершит кровавые дела в Риме? И на что он надеется? На плебеев, с которыми он заигрывает? Я спрашиваю вас – на что? На войско, которое не желает воевать под его началом?

Сулла пододвинул к себе скамью, сел на нее и начал рассказ про то, что случилось в Риме в эти дни. Он говорил глухим, потусторонним голосом. И голос этот словно шел из глубины Мамертинской темницы. Из самого колодца ее, ниже которого только царство теней.

В Риме, если говорить по правде, нет ничего необычного. Напротив, все обычно, если иметь в виду, что власть захватили малодушные, но злые люди во главе с Гаем Марием. Неслыханное словоизвержение сочетается с полнейшим отсутствием желания работать на благо всего римского народа. Шпынять, без конца шпынять родовитую знать, цвет Рима, и растить из грязи новую, заискивать перед нищими – вот первейшее желание Мария и его своры. Возможно ли такое? Марианцы грабят и убивают политических противников, особенно сторонников Суллы. Но позвольте, с каких это пор в Риме перестали терпеть своих противников, перестали терпеть оппозицию и целиком уповают на своих единомышленников?..

– Явно наметилось два течения, – продолжал Сулла деловито и даже чуть бесстрастно. Глаза его сделались водянистыми, и усталость сильнее проглядывала в них. – Первое течение: возмущение Марием, присваивающим себе диктаторские полномочия, чтобы расправиться со своими противниками исконными и врагами случайными. При этом, как вы сами понимаете, ничего общего нет с борьбой против настоящих врагов отечества. Истинные враги живут себе припеваючи на Палатине и на своих загородных виллах. Истинные враги отечества жиреют, богатеют и посмеиваются над дураками, которые бьются друг с другом, отводя беду от врагов Рима.

Сулла зорко следил за выражением лиц своих слушателей; не наскучила ли им его речь? Падают ли его слова на взрыхленную почву или ее еще предстоит возделывать? По сердцу ли им то, что они слышат из уст его, или же равнодушны к нему? Он взвешивал все это тщательно, ему надо было точно знать, как воспринимают его слова высшие командиры войска, находящегося в укрепленном лагере близ города Нолы. Ибо это войско есть ядро той силы, которая сокрушит не только Митридата, но и кой-кого из тех, кто поближе отсюда, от Нолы. Его поблекший взгляд видел глубже и дальше, чем это полагали его друзья. Он слышал дыхание воинов и биение их сердец лучше, чем это можно было думать. И специально для них, этих солдафонов, вставил нужное словечко. Он сказал тоном вполне равнодушным, словно гром не грозил из-за туч, словно молния не могла сверкнуть над знаменем, которое висело над этой палаткой:

– Позвал меня этот старикашка Марий. Правый глаз оплыл, словно подбитый в драке. Щеки висят, точно куски позавчерашнего мяса в мясной лавке. Передние зубы у него выпали. Вместо них – зубы из слоновой кости. Видно, мешают они ему, потому что шепелявит. Говорит мне; «Сулла, дай мне твою руку на дружбу. Негоже нам враждовать. Этих твоих солдатиков перебьем малость за послушание...» Как это, говорю, «перебьем малость»? «А так, говорит, устроим децимацию, а офицеров – в Мамертинскую тюрьму, – тюремщики сами там разберутся с ними...»

Сулла замолчал. В палатке стало тихо-тихо. Казалось, никто не дышал здесь. И все это оттого, что гнев обуял солдатские сердца от предводителей легиона до центурионов, не раз проливавших свою кровь за процветание Римской республики.

Децим выразил то, что у всех было на уме. Он сказал так:

– Проклятие Марию! Он завидует нам и нашему походу в страну Митридата. Мы говорим ему: смерть тебе, изменник, подлый враг отечества, богами отвергнутый старикашка!

– К этому мне нечего добавить, – сказал квестор Руф. Он встал во весь свой неказистый рост, потряс кулаками и, багровея от гнева, выкрикнул: – Смерть Марию и всем его последышам!

– Смерть! Смерть! Смерть! – повторили хором все присутствовавшие. Все до единого. Молчал только Сулла.

– Я понимаю вас и разделяю ваш гнев, – сказал он жестко. – Я предупредил его: «Нет, Марий, негоже казнить преданное воинство, негоже гневить богов несправедливым делом. Мнение мое таково: мы садимся на триремы и отплываем в Диррахиум. Оттуда лежит прямой путь во Фракию, Аттику и в Понтийское царство Митридата. Мы научим врагов наших уважать римский правопорядок. Мы вышибем наместников Митридатовых из Фракии и Аттики, прогоним отовсюду, чтобы не путались они в наших ногах. А воинов наших – наградим. Мы дадим им все, что они заслужат в этом походе». Так сказал я.

– А он? – спросил Фронтан.

– Что же он, этот ублюдок?

– Что посмел он сказать?

Это говорили центурионы. И каждый из них взялся за меч, словно перед ними предстал Марий самолично.

– Что – он? – Сулла ухмыльнулся. Прижал платок к вспотевшему наусью. – Что он? Разве это требует разъяснений? Все свое: дескать, нужна примерная децимация, только децимация, а для битвы в Малой Азии мы найдем более достойные легионы.

Сулла был вполне доволен действием, которое оказал рассказ на его друзей. Сулла, несомненно, произвел впечатление на этих воинов, не искушенных в тонкостях римской интриги.

Сулле было тошно вспоминать этого старикашку. Он в этом еще раз признался. Нет, невозможно без чувства омерзения передавать те гнусности, которые предлагал Марий. Собственно, чего можно ожидать от человека столь низкого происхождения, для которого римская квартира на чердаке кажется благоухающей виллой?..

– Я отказался вести с ним какие-либо переговоры, – продолжал Сулла. Он вытянул вперед обе руки, точно отстранял от себя Мария. – «Нет, нет!» – заявил я, хотя и знал, какой опасности подвергаюсь. Тронуть меня самого Марий пока не решается, но в городе появились головорезы Мария, вооруженные до зубов. С криком бросались они на честных граждан и лишали их жизни. Они поносили мое имя, ибо не видели перед собою другого,

достойного врага, не видят никого, кто мог бы действительно противостоять Марию. Знатные граждане заперлись в своих домах и не знают, что сбудется с ними... Я прямо, без обиняков говорил сенаторам о том, что ждет их. Я предсказывал им, как развернутся события в городе, ибо для этого надо только немножко знать Мария, его мелкую и черную душу.

Эпикед поставил на стол урну вина.

– Негодяй этот Марий! – произнес Руф. – Неужели не найдется на него хотя бы один небольшой кинжал?!

– Это почти невозможно, – сказал Сулла. – Его постоянно окружают сателлиты, он носит под тогой кольчугу, он дрожит за свою поганую жизнь, как и надлежит дрожать отъявленному преступнику.

Децим был уверен в том, что никуда не уйдет этот Гай Марий от народного проклятия. И другие центурионы выразили то же мнение: не уйти, никуда не скрыться Марию от справедливого возмездия!..

– Я в это свято верю, – сказал Фронтан.

– И я!

– И я!

– Мы все верим!

Можно ли требовать большего единодушия? Сулла пил вино, а взгляд его скользил поверх керамического сосуда. Этот взгляд видел многое, а сердце чувствовало еще больше. Нет, на этих людей, на солдат Нолы положиться можно вполне.

Сулла сказал:

– Я учуял, куда гнет Марий. Этих диктаторов вижу насквозь. И сказал себе: республика в опасности! Наступает пора беззакония, наступает время для убийц, пора торжества врагов отечества. И я сказал себе: беги, Сулла, в Нолу, беги к своим испытанным друзьям. А ежели смерть, то смерть вместе с ними, в одной фаланге с ними!

Эти слова были встречены единым возгласом одобрения. Солдаты непритязательны в выражении своих чувств, и возглас у них в минуту прилива решимости один и тот же.

Сулла еще не кончил речь. Он не все еще высказал. Надо доводить свою мысль до логического конца. Надо добиться полного взаимопонимания – без этого не делается ни одно дело, а тем более – военное. План действий для него вполне ясен. Он знал, чего хочет, знал, каким идти путем, когда двигаться с места и где остановиться. Следовало, чтобы поняли его друзья, чтобы все солдаты этого лагеря разделяли его намерения, одобряли их и, если это понадобится, положили жизнь за своего полководца Луция Корнелия Суллу.

Сулла поднял руку, потребовал полного внимания.

– Мои люди сообщали мне все, – говорил Сулла. – Я знал обо всем, что творилось в Риме, о каждом убийстве. Мое сердце разрывалось на части. Но еще горше было сознание того, что Рим подпадает под власть гнусного диктатора. «Как?! – думал я, и колени мои в ужасе подкашивались. – Неужели никто не преградит дорогу единовластию? Неужели придет конец нашей традиционной римской свободе?»

Командиры слушали, что называется, разинув рты. Перед ними выступал не заправский оратор, но человек, глубоко заинтересованный в судьбах отечества. Простецкие солдатские души ловили каждое слово полководца. Сердца открывались словам и мыслям ясным, высказанным без особых ораторских ухищрений. Своей, понятное слово западало глубоко в душу, и рука уже тянулась к мечу, чтобы оборонить этого славного полководца от всей и всяческой враждебности к нему.

Но Сулла, уверенно прошедший эту свою беседу и, как говорят этруски, увлекший под свою тогу весь легион, почитал дело не совсем еще оконченным. Любое письмо должно быть доведено до ясного конца. Любая беседа должна завершиться полным взаимным пониманием. Здесь нет места половинчатости, недоговоренности, недомолвкам и тому подобному. Посему Сулла и решил довести до ума и сердца каждого командира и солдата нижеследующее:

– Я хочу, – надеюсь, таково и ваше желание, – чтобы каждый из вас и каждый за пределами этой палатки ясно представлял себе нашу цель в этой великой борьбе. Если некие политиканы не находят ничего лучшего, как только надеть ярмо диктатуры на наши шеи, то нам надлежит предпринять прямо противоположную акцию. То есть следует открыть глаза римским гражданам и показать им во всей наготе подлого Мария и его приспешников. Следует объяснить всем, кто может внять голосу разума, что путь Мария – путь гибели для Рима. Но этого мало, мои дорогие соратники! Мало этого! Вас, то есть нас, непременно спросят: что, собственно, несем мы на конце наших дротиков, наших стрел, на ядрах баллист и на тяжелых стрелах катапульт? Неужели только смерть? Неужели только войну, причем явно братоубийственную, а иначе ее никак не назовешь? – Сулла сделал долгую паузу, а потом вскинул правую руку и торжественно произнес; – Мы несем Риму благоденствие, свободу ее гражданам и спокойствие границам республики! Мы сокрушим любую диктатуру, так ненавистную народу, мы восстановим все старинные, республиканские и иные добрые институты и пойдем дальше по пути их укрепления, их упрочения! Мы торжественно провозглашаем: долой диктатуру Мария и его прихлебателей! Мы провозглашаем: многие лета республике, независимости ее, многие лета доблестному войску римскому!

Вот сейчас Сулла кончил. Командиры встали с мест. Они были растроганы, воодушевлены, полны того порыва доблести, который бесстрашно ведет человека в бой. Они обещали немедленно все довести до сознания каждого воина. Они сказали, что ежели до сих пор они были единой скалой, то отныне – это скала вовсе несокрушимая, к тому же скала эта – точно сгусток героизма и беспрекословного повиновения полководцу.

Сулла улыбался. Он проводил каждого уходящего командира отеческим взглядом. Но Децима остановил жестом. Подождет, пока утихли шаги командиров, обутых в грубые походные башмаки на гвоздях, и сказал Дециму:

– Послушай, что скажешь ты?..

– Все хорошо, господин.

– Нет, я не о том. Что скажешь ты об этих балбесах?

– О ком?

Децим не понял полководца.

– Я говорю о балбесах, – повторил Сулла, лукаво поглядывая на центуриона.

– Балбесы? Балбесы? – терялся в догадках Децим.

Сулла немного озлился:

– Какой же ты непонятливый!.. Я о тех, кто только что убрались отсюда.

Децим поразился:

– Балбесы?

– Ну да. А как же прикажешь называть их! Что они думают?

– Они положат жизнь за тебя.

– Ты так полагаешь, Децим?

Голубые гвозди из-под бровей нацелены в зрачки Децима.

– Я в этом уверен, господин.

Сулла нахмурился.

– Ладно. Я это так. К слову. Спокойной ночи, Децим.

Центурион почтительно поклонился и вышел из палатки.

Сулла бросился на кровать. Все тело ныло от усталости. И душа изнывала. Очень гадко на душе... Он позвал Эпикеда и приказал сходить за двумя актерами, которые остановились в одной халупе неподалеку отсюда. А пока что он вздремнет на часок... Это было в Ноле в шестьсот шестьдесят шестом году от основания великого города Рима, или в восемьдесят восьмом году до рождества Христова.

2

Актеры Полихарм и Милон явились не одни: они привели с собой некоего бородача по имени Буфтомий, родом из Мавритании. Архимим Полихарм шепнул на ухо Сулле, что этот Буфтомий преуспевает в различного рода гаданиях, он был бы, дескать, великим мантиком, если бы не врожденная лень, от которой нет избавления.

Сулла присмотрелся к худощавому Буфтомию, как видно давно не посещающему бальнеумы. Такой невзрачный, молчаливый человечек в обветшалой тоге неопределенного цвета. А лицо у него не то чтобы черное, но достаточно темное, чтобы не спутать его с жителем итальянских земель. Ничего особенного, за исключением глаз: глаза действительно странные, на них нельзя не обратить внимания. Что-то

притягательное в них. Они – словно финикийские стекляшки на лунном свету. А на самом деле – черные-пречерные. И в них светится неприятный огонь. Именно на этот огонь обратил внимание Суллы архимим как на главную особенность Буфтомия.

– Такие глаза, – шептал Полихарм, – видят очень много...

Суллы чувствовал себя в лагере в полной безопасности. Это не то что в Риме, где каждую минуту ждешь предательского удара.

Да, были там денечки! Как выражаются самниты, вполне пригодные для печения, то есть жаркие, когда можно испечь любое блюдо. Сколько раз за последнюю декаду подвергалась смертельной опасности жизнь Суллы? Даже не счесть! Но не случилось беды чернее той, которую готовил Сульпиций со своими головорезами. Не будь Мария, не будь его приказа, голова Суллы уже красовалась бы на форуме. Особенно благодарить Мария не за что. Едва ли убийство Суллы принесло бы ему много пользы, скорее – наоборот. И совесть, наверное, заговорила в нем: вспомнил, какую неоценимую помощь оказал ему Сулла в Африке, в Югуртинскую войну...

Сейчас, когда опасность миновала, не мешало бы подкрепиться хорошим ужином и щедрой порцией вина...

Архимим Полихарм – сицилийский грек. С малых лет подвизается он на сцене. Поначалу играл покинутых матерями мальчиков, потом – бессловесных воинов с дротиками и щитами в руках. К сорока годам полностью развернулся его талант. Полихарм сделался любимцем публики. Не раз приветствовала толпа Полихарма в Риме. Особенно удавались ему роли трагические: мастерски вышибал слезу у зрителя, да так, что долго, долго вспоминали Полихарма. Сказать по правде, и рост высокий, и голос густой, словно мед, во многом способствовали его успеху. При такой наружности да при его мастерстве не мудрено прослыть великим актером.

Что же до Милона – этот, конечно, уступал архимиму. Он особенно любил роли в греческих комедиях. Комедия веселит душу, но трагедия вроде бы выше, чувства, которые она вызывает в тебе, остаются надолго, может быть на всю жизнь. Правда, надо отдать должное и Милону: народ покатывается со смеху, глядя на его ужимки, – ну, обезьяньи воистину! Или играет, например, он и такую роль: жена обманывает мужа, а муж, дурак, ничего не замечает. Более того, потчует вином и жареной рыбой любовника своей жены. Потешно смотреть на все это. Вдобавок у Милона кривые ноги и рожа такая, что одна она способна забавлять весь театр с утра и до вечера.

Эпикед принес вина в большом этрусском кувшине, на глиняных тарелках подал холодной рыбы, креветок, мяса заячьего и прекрасных олив. И хлеба пшеничного, тонкого нашлось вдоволь.

Буфтомий преломил хлеб первым, обмакнул в вино солидный кус и поднес к губам, шепча что-то невнятное. Милон приложил палец к губам: дескать, давайте помолчим.

Суллы обожает всякого рода гадателей. Недаром говорят, что хлебом его не корми, но подай какого-нибудь гадателя, особенно восточного.

Буфтомий молча разжевал хлеб и сделал знак приступить к трапезе.

– Он потом все объяснит, – сказал архимим и налил себе вина.

– Послушайте, – сказал Сулла, – я сегодня, можно сказать, снова родился на этот свет. Давайте так, как пили некогда этрусские князья.

Мимы этого не знали. Да и Буфтомий недоуменно пожал плечами.

– Это очень просто, – сказал Сулла. – Поддай-ка мне, Эпикед, вон тот сосуд.

Слуга подал объемистый кувшин с широким горлом.

– И ты сядешь с нами, – сказал Сулла слуге тоном, не допускавшим никаких возражений.
– Я люблю, когда всё на столе и все за столом.

Слуга отлично знал повадки своего господина и живо занял место против Суллы. Эпикеду, наверное, не меньше пятидесяти. Он был рабом, и Сулла отпустил его на волю. Господин привязан к слуге. Да и слуга любил Суллу. Это был человек степенный, знающий толк в хозяйстве, начитавшийся всякой всячины, знающий даже греческий. Невысокий, коренастый, с бычьей шеей. Лучшее из его качеств – молчание. Он умел держать язык за зубами. Вырвать у него лишнее слово – напрасный труд, занятие совершенно безнадежное. С ним Сулла чувствовал себя легко. Он знал, что Эпикед не выдаст, что Эпикед не проронит лишнего, то, что вошло ему в ухо, считай – в могиле!

Сулла поднял кувшин выше головы и произнес по-гречески:

– Я подымаю вино, которое едва ли уступит фалерну. Ручаюсь! Но ужин, как сами изволите видеть, очень скуден. Если это нынче простится нам с Эпикедом, то мы намереваемся восполнить недостаток наш несравненным достоинством вина. Я пью это вино во имя богов наших, во имя великой Беллоны, во имя дружбы и братства нашего!

Произнеся эти слова с акцентом, но на вполне сносном греческом языке, Сулла приложился к кувшину и медленно стал тянуть чистейший виноградный сок, привезенный с южных склонов Везувия. Он пил ровно, в нем чувствовался настоящий кутила – дух его, повадки его! Выпил, повеселел и подал кувшин архимиму.

Когда очередь дошла до гадателя, тот принял кувшин и задумался.

– Я не очень силен в греческом... – сказал он писклявым голосом, то есть настолько писклявым, что Сулла поразился. Казалось, вместо Буфтомия говорит какой-то мальчик, спрятавшийся за его спиной. Гадатель заключил: – Поэтому я не буду следовать ученой моде.

– Почему – ученой? – поинтересовался Сулла, пробуя креветку.

– А потому, что этот язык любят ученые. Но я полагаю, что мысли свои, если они налицо, можно выразить на любом языке.

– Ну что ж, – согласился Сулла, – довод основательный.

Архимим высказал в довольно сильных выражениях свою любовь к греческому. Он с гордостью сообщил, что половина крови в нем афинская и что греческие трагедии совершенно пленяют его.

Сулла сказал:

– Мне кажется, что Буфтомий – наш дорогой гость – хочет что-то поведать нам...

– Это верно! – Буфтомий покосился на кувшин. – Когда нынче утром я вышел из дому, буквально в двух шагах от порога ко мне в ноги бросился воробей. Обыкновенный воробей, каких множество на свете. Мне ничего не стоило поймать его. Вернее, его и не надо было ловить. Казалось, птица искала убежища возле меня. Я не сразу сообразил, в чем дело. Однако вскоре увидел сокола. Я различил – притом довольно ясно – его желтые глаза, его кровавый клюв. Сокол пролетел надо мной и взмыл кверху. И где-то высоко над моей головой он застыл. Да, застыл. А потом сложил крылья и рухнул...

– Как рухнул? – воскликнул Сулла.

– Очень просто, – ответил гадатель. – Словно камень.

– Рухнул, ничем и никем не подбитый?

– Именно.

– Ты его видел после?

– Да. Я поднял бездыханного сокола и долго разглядывал его. А воробей вспорхнул и, весело чирикавая, скрылся.

Сулла чрезвычайно заинтересовался утренним происшествием. Перестал есть, скрестил на груди руки и не спускал глаз с Буфтомия. А тот продолжал, не пригубив вина:

– Я не знал, что буду вечером с тобою. Правда, не знал? – обратился он к мимам, и те согласно закивали. – Но я сказал им: если нынче мне придется быть у кого-либо, то тот, у кого я буду гостем, одержит верх над Соколом, который у власти, Сокол – это символ власти в нумидийской мантике. А Воробей – тот, которого преследует вседержитель власти. Но Сокол, как видите, ничего не смог поделать. Воробей жив. А Сокол погиб! Разве необходим какой-либо более красноречивый, более ясный знак? Разве не все сказано через меня и через событие, которое разыгралось утром? – Буфтомий продолжал свои пояснения, твердо держа в руках чашу с вином. – Итак, мне совершенно ясен теперь весь смысл: тебя преследовали, уважаемый Сулла. Ты искал убежища среди своего войска. Ты нашел его. Сокол – это же ясно кто! – промахнулся. Но Сокол все еще в небе. Он парит. Он зорко наблюдает за тобой, Сокол алчет твоей крови.

Сулла весь напрягся. Он ловил ухом каждое слово, каждое дыхание Буфтомия.

– Дальше... Дальше... – шепотом попросил Сулла.

Буфтомий ухмыльнулся:

– Что дальше? Разве не понятно что?

– А что? – Сулла от нетерпения глотал слюну.

Гадатель обратился к актерам:

– Скажите этому славному человеку, что дела его блестящи.

И он наконец допил вино.

Полихарм наполнил сосуд под строгим надзором Эпикеда.

– Я все понял, – сказал архимим. – Я хочу поднять вино в честь того, кто не только избегнет когтей соколиных, но и приведет этого разбойника к достойному концу!

Милон сказал:

– Неужели, Сулла, тебе нужны еще какие-либо свидетельства? Разве не ясно, что ждет тебя в ближайшем будущем? Как сказал Буфтомий, так и будет, ибо он видит далеко, очень далеко! Но ежели что будет складываться не так, то боги повернут ход событий, чтобы было именно так, как предсказал Буфтомий... Я тоже пью за то, чтобы Сокол нашел свой конец поскорее, чтобы все случилось согласно предсказанию нашего Буфтомия.

Мим приложился к чаше. Он пил судорожно. Было заметно, как крепкое вино льется в актерскую глотку. Было заметно, что актер сильно напрягается, но тем не менее полон решимости испытать до дна.

Сулла и обрадован и озадачен. Мантика – его слабость, точнее, одна из его слабостей. Он верил в нее. Да можно ли не верить, если не раз и не два сбывались предсказания гадателей, если тайные приметы будущего бывали поразительно точны. Судьба сопутствует человеку. Счастье даровано человеку богами. Сулла не только убежден в этом, но не допускает иного толкования судьбы, счастья, везения. Человек рождается, а все события его жизни уже предопределены. Они написаны у него на роду. Пусть болтают новоявленные греческие мудрецы что угодно о природе вещей – все равно Сулла тверд в своем мнении. Ибо сам не раз испытал значение судьбы и дарованного свыше счастья. Поэтому следует скрупулезно, со всех точек зрения рассматривать любые тайные приметы, сопоставлять их с действительностью. Особенно следует верить в предсказания восточных мудрецов, например вавилонских и египетских, о коих немало сказано в старинных свитках...

– Спасибо тебе, – проговорил Сулла, обращаясь к Буфтомиию. – Твоих слов я не забуду. И щедро вознагражу тебя, если только этот самый Сокол найдет свой близкий конец... Я щедро вознагражу! Я умею быть щедрым, Буфтомий.

Хотя Сулла и захмелел – это было ясно, – хотя и отвисла у него нижняя губа, придавая лицу выражение доброго благодушия, тем не менее говорил сущую правду: он умел благодарить друзей, особенно же в минуты возлияний. В эти минуты бывал он воистину щедр и даже добродушен.

Не миновала затрапезная чаша и Эпикеда. Господин приказал ему пить наравне со всеми.

– Мы будем пировать до рассвета, – сказал Сулла. – Нам хватит двух часов, чтобы прийти в себя. Силы в нас много, и мы еще померяемся ею с вонючим римским Соколом. Мы покажем миру, что мы вовсе не воробы!

– Прекрасные слова! – провозгласил архимим. – И очень жаль, что нет среди нас девушек... А? Таких молоденьких, таких не слишком гордых...

Сулла расхохотался. Хорошее настроение приходило к нему.

– Друзья мои, – сказал он, хитро щуря глаза, – есть у меня одно святое правило: шлюх в походную палатку не водить. Моя палатка, мой лагерь – священнее храмов. Нет ничего прекраснее мужской компании и вина. Но... – Сулла понизил голос. – За пределами лагеря нет ничего милее женщин, знающих свое ремесло.

Актеры с ним вполне согласились, а гадатель что-то промычал, но никто не обратил внимания на его мычание, даже Эпикед. Он аккуратно налил вина в чашу и подал ее Сулле.

– Когда люди Сульпиция, – сказал весело Сулла, – подступили ко мне с обнаженными мечами, когда, казалось, не было иного выхода, кроме как подставить голову под мечи, чтобы разом кончить с мучениями, я увидел на небе некое облачко, напоминавшее подкову. Такую серебряную с позолотой подкову. Оно было и легкое, и прекрасное, и ласкающее взор. Оно плыло высоко-высоко в римском небе. У меня мелькнула мысль, что это знамение богов, что мечи не так уж страшны, хотя они в двух шагах от меня. Я сказал себе: да, это знак, и мне надлежит немедленно покинуть Рим, чтобы скакать на коне в Нолу. Я понимал, что подкова на небе ясно указывает на это. Только я подумал, как облачко растаяло. И сразу же явился глашатай с приказанием от Мария. Марий почел, видите ли, за благо не лишать меня жизни. Старикашка смекнул, что от него отвернулась бы вся римская знать... Как только головорезы Сульпиция – попадись они мне! – ушли с рычанием львов, я сел на коня и помчался сюда.

Сулла покраснелся. Вспотел. Волосы растрепались. А он все тянулся к вину. Он мало ел. Он пил и говорил. Что же до актеров и гадалея – те уплетали за обе щеки. Эпикед едва успевал подкладывать им еды.

Сулла схватил чашу обеими руками, встал, запрокинул голову:

– Глядите сюда! – крикнул он.

И все увидели высоко поднятую чашу с вином. Оно чуточку выплеснулось из нее.

– Видите чашу? – спросил он.

– Да, видим, – ответил архимим за всех.

– Все согласны с тем, что она полна до краев?

– Все!

– Может, кто-нибудь сомневается?

– Нет!

Сулла сказал тихо, но очень ясно; тихо, но словно заученную молитву, обращенную к его величеству Юпитеру и ко всем великим богам:

– Вот так, как выпью я этот прекрасный сосуд, вот так, как не оставлю в нем ни единой капли чудесного вина, так испью я до дна вражеской крови!

Сказал и выпил. Хотя и казалось, что пить более невозможно, что чрево его не вместит более ни капли. Но Сулла не только говорил, но и утверждал слова свои делом своим...

3

Утром Сулла обошел лагерь. Все оказалось в должном порядке. Вышколенные римские центурионы знают свое дело. Они требовательны к подчиненным, требовательны и к себе. Войско встречало его как великого полководца, доверие к которому безгранично. Сухощавый, крепкий телом Сулла шагал мимо палаток с достоинством, не чувствуя ни малейшей усталости после ночного бдения. В сопровождении военных трибунов и ликторов Сулла двигался от палатки к палатке, пока не обошел весь лагерь. Особое внимание он обращал на состояние манипулов. Ибо что такое легион, как не соединение многих манипулов? От боевой готовности каждого манипула зависит победа или поражение целого легиона. Но еще важнее манипула – воин, отдельно взятый. Если каждый воин предан своему делу и своему полководцу, значит, можно ожидать победы над превосходящими силами. Такова, если употребить греческое выражение, аксиома военного искусства.

Обходя лагерь и с удовольствием принимая восторги воинов и их начальников, Сулла вдруг подумал о веках, которые уже позади, которые прошли и не вернутся более никогда, не вернутся вопреки пифагорейским утверждениям. Что ушло – то пропало. Так и только этому учит жизнь. Века, которые прошли, дали Риму первоклассного солдата. Этот солдат, в крови которого дисциплина, повиновение старшему по званию и самоотверженность, завоевал полмира. Он еще завоеует кое-что, и будь проклят Сулла, если это «кое-что» не есть вторая половина мира! От Геркулесовых ворот до Персидского залива пронес этот солдат серебряные знамена римских легионов. Но разве это предел? Разве не маячат вдали туманные Британские острова? Разве достигнуты северные пределы Европы? Нет, много еще бранных трудов предстоит римскому солдату...

Вернувшись к своей палатке, Сулла поблагодарил Фронтана и других начальников за хорошее состояние войска. Едва он закончил свою мысль, как ему сообщили, что прибыли военные трибуны из Рима и просят у него аудиенции.

Сулла почесал затылок:

– Стоит ли с ними разговаривать?

Фронтан скривил рот: он догадывался, чего им надо, этим трибунам. Квестор Руф не видел ничего зазорного в том, чтобы поболтать немного с ними: от этого никого не убудет, не правда ли?

– Да, – согласился Сулла, – не убудет. Зови же их, – обратился он к Дециму.

Децим бросился исполнять приказание. Сулла распорядился позвать еще нескольких центурионов да привести на всякий случай в боевую готовность второй манипул, расположенный недалеко от претории. Центурион, с согласия Суллы, отдал приказ протрубить тревогу – лучше, если и другие манипулы будут в состоянии готовности.

Военачальники вошли в палатку и заняли свои места.

– Я боюсь за их жизнь, если они сболтнут лишнее, – словно бы невзначай бросил Сулла.

– Я могу гарантировать, – сказал наивный Фронтан.

Сулла усмехнулся:

– Ты-то гарантируешь, Фронтан, но как остальные? Мы же не можем ручаться... Впрочем, все зависит от того, что привезли с собою эти brave трибуны.

Фронтан смекнул, в чем дело. Как говорят остийцы, наконец-то дошло до его мозгов. Он приказал придвинуть к палатке не только второй манипул, но и еще два других: пятый и шестой, особенно шестой, целиком состоящий из луканцев, весьма злых по нраву.

Военными трибунами оказались некие Харин Лабие и Гней Регул. Сулла не ведал о них ничего путного и никогда о доблести их не слышал: обыкновенные марианцы-выскочки! И вовсе не знатного рода, просто рядовые квириты. Сказать по правде, трибуны были brave: широкоплечие, с четырехугольными чертами лица этрусков, носатые, лет под сорок. Пурпурные ленты тщательно пришиты к тогам, и башмаки на них – новенькие. Однако повадки что ни на есть ординарные: римское столичное офицерье, нахватавшееся приличия у подолов матрон, но не ставшее оттого подлинными патрициями. Одним словом, дерьмо!

Сулла смотрел на них, словно сквозь стекло, словно они были бесплотные, и чувств никаких не выказывал. Просто воспринимал их, как мокриц, заползших в эту славную палатку в Ноле. Даже не пригласил присесть. А сам развалился в жестком кресле, нарочито вытянул ноги.

– Долго мы будем молчать? – сказал Фронтан.

Сулла улыбнулся:

– Это надо спросить у них, – и кивнул в сторону трибунов, изображавших две статуи. Казалось, они не обращали внимания на унижение, которому подверглись столь явственным образом. Они сохраняли достоинство, присущее римским высшим магистратам: помесь чванливости и врожденной гордости.

– Мы готовы, – сказал Лабие и присел на свободную скамью. Его примеру последовал Регул. Оба трибуна были серьезны, даже слишком. Чувствовалось, что прибыли они со слишком важной миссией. И важной и ответственной. Поэтому не смеют они опускаться до мелочной обиды, до личной неприязни. Пусть этим, если угодно, занимаются мятежники из лагеря в Ноле. Они же уполномочены самим Марием и сенатом. Вот кто они такие!

– Кто же из вас будет говорить? – спросил равнодушно Сулла.

– Я, – ответил Лабие.

– Так мы тебя слушаем.

– Мы уполномочены великим Марием и римским сенатом...

Сулла прервал его:

– Кем? Кем?!

– Марием и римским сенатом, – повторил Лабиен очень сдержанно.

– Позвольте! – Сулла обвел взглядом своих военачальников. – А кто такой Марий?

– Марий? – Лабиен сделал паузу. – Гай Марий, не раз и не два раза избиравшийся консулом.

– А, – сказал Сулла безразличным тоном, – значит, тот самый Марий. А то развелось в последнее время всяких мариев, сульпициев и прочего сброда. Ну что ж, Марий так Марий – продолжай.

– Тот самый Марий, по приказу которого совсем недавно была сохранена тебе жизнь.

Сулла ни единым движением не изменил своего равнодушного вида, хотя все клокотало в нем и готово было разразиться жесточайшим вулканическим извержением.

– Мои начальники, – сказал Сулла, – осведомлены об этом из первых рук, и они не любят дважды выслушивать одно и то же.

В палатке было тихо и угрюмо. Все предельно напряглось. Даже сама тишина, которая бывает такой только перед бедствием.

Лабиен продолжал:

– Марий и римский сенат...

Сулла снова перебил:

– Кто? Кто?

– Марий и римский сенат.

– А не вернее было бы наоборот?

– Как это – наоборот?

– А очень просто. – Сулла иронически скривил рот. – Не проще ли так: сенат, ну и Марий, скажем? В том случае, разумеется, если Марий не замыслил стать диктатором и похоронить республику.

– Луций Корнелий Сулла, – официально обратился Лабиен, – я излагаю то, что мне поручено изложить.

Сулла подумал:

«Этот напыщенный индюк предложит мир от имени сената и Мария. Он сейчас начнет разглагольствовать, выкладывая то, чем его начинили в Капитолии...»

Лабиен сказал:

– Луций Корнелий Сулла, мне велено передать следующее: войско – все войско! – расположенное в лагере близ города Нолы, и все войско, могущее влиться сюда в качестве непредвиденного пополнения, должно быть передано под начало Гая Мария, главнокомандующего. Эту передачу можно будет осуществить, как только явится сюда особо на то уполномоченный военный трибун. Нам поручено заключить с тобою соответствующее соглашение и скрепить его подписями. Я кончил.

Сулла не верил своим ушам. Нет, что предлагают ему? Капитуляцию? Унизительную капитуляцию? Разве он проиграл битву? Разве он повержен во прах, что с ним можно разговаривать подобным языком? Может, сразить одним ударом меча обоих нахалов, посмевающих повторить вслух это неслыханное предложение?

Но Сулла не был бы Суллой, если бы в душе его не соседствовали лев и лиса. Об этом соседстве говорили все знавшие его близко. Лев страшен, но лиса еще страшнее. Сулла превратился бы в обыкновенного, посредственного коллегу этих двух неразумных трибунов, если бы немедленно дал волю своему гневу. Нет, он и бровью не повел: сидел так, как сидел. Даже пальцем не шевельнул. Ему хотелось посмотреть, как поведут себя эти трибуны в ответ на его слова. Нет, непременно следует показать своим друзьям, с кем они имеют дело в лице этих трибунов. Он приступит сейчас к небольшому допросу, и горе римским молодцам, если они не сумеют оценить свое положение, если слепо привержены старикашке Марию и сенату, который у старикашки под тойгой.

Сулла побарабанил пальцами по столу. И даже зевнул довольно откровенно: уж очень мелкотравчато происходящее сейчас в этой палатке. Все должны видеть, как он презирает Мария и силу, стоящую за ним. От этого зависит многое, может быть, сама жизнь Суллы.

Соратники Суллы готовы были выгнать взащей этих двух нахалов, посмевающих повторить глупость, которую им внушили в Риме. Но что бы ни приказывали тебе, чтобы ни внушали – у тебя должна быть собственная голова на плечах: возможно ли с таким неслыханно унизительным предложением являться к Сулле, самому Сулле?! Соратники ждали только знака, но Сулла не торопился со знаками.

Сулла спросил:

– Знаете ли вы точно, кого представляете в настоящее время?

– Знаем, – сказали трибуны.

– Ложь!

Гней Регул сказал:

– Мы прибыли не для того, чтобы лгать. Римские посланцы не лгут.

– А я говорю, ложь! – возвысил голос Сулла. – В противном случае вы должны доказать, что не лжете... Это очень просто сделать. Ответьте на мой вопрос: кого вы представляете?

Это пахло настоящим полицейским допросом, недостойным римских трибунов. Не для того пришта к тоге пурпурная лента, чтобы подвергаться оскорбительному допросу Суллы. Не хватает еще полицейского протокола, какие составляют, когда ловят воришек. Трибуны торжественно молчали, они не собирались отвечать на вопрос Суллы.

– Ладно, – сказал Сулла раздраженно, но все еще кое-как сдерживаясь, – я вам объясню, кого вы представляете по своей воле, и тогда решайте, кто стоит за вами. Но прежде я хочу предложить вам нечто и, в случае вашего согласия, готов тут же забыть обо всем.

– Мы слушаем, – сказал Лабиен, меняясь в лице.

Сулла продолжал:

– Вот что: переходите ко мне на службу. Я обещаю вам жалованье не меньшее, чем ваше нынешнее. Ежели вам не нравится служба у меня – можете выбирать любую виллу в Кампанье, и она будет вашей.

Ответ последовал немедленно:

– Нет!

– Нет!

Сулле не хотелось оставлять у этих трибунов ни малейшей надежды: дело Мария проиграно, скоро вся знать выступит против него. К тому же Марий стар, одной ногой он уже в могиле. На что же рассчитывают эти трибуны? На чудо?

Но трибуны молчали. Словно их это вовсе не касалось.

– Народ не разрешит, – воскликнул Сулла, – чтобы на шее его сидел старикашка и единолично вершил дела. Нет, никогда римляне не примирятся с диктатурой, никогда не примут они рабства. Веками жила и здравствовала республика. Неужели же римляне смирятся с единоличной властью? Ведь это противно не только обычаям, но всем представлениям римлян о государственности, о жизни общественной. Никогда народ не склонит головы. Поэтому то дело, которому служите вы, Лабиен и Регул, обречено на неудачу, на поражение. Это дело будет проклято. Народ отыщет достойный меч, чтобы уничтожить диктатуру Мария и его прихвостней.

– Это очень странное выражение, – сказал Регул.

– Прихвостни?

– Да.

Сулла махнул рукою:

– Его придумали самниты, и неплохо придумали. Оно относится к таким людям, как вы. Причем прихвостень столь же опасен, как и сам диктатор. Без них ни один единодержец не обходится.

Регул спросил:

– Не тебя ли изберет народ своим мечом?

Он спрашивал вполне серьезно, без тени насмешки.

Сулла ответил без обиняков:

– Если угодно, то – да! Именно меня!

– Я так и думал, – сказал Регул.

Сулла встал:

– Ваш окончательный ответ?

– Мы уже сказали...

– А все-таки?

Сулла смерил взглядом с головы до ног одного и другого трибуна. «Было бы очень хорошо, если бы эти ублюдки избавили нас от кровопролития, но, видимо, это не суждено. Будь что будет!» И он обратился к Дециму:

– Скажи мне, Децим: если человек дурак – виноват он в этом или нет?

– Никак нет! – ответил солдафон Децим.

– Ежели ему все толком объясняют, а дурак не желает взять в толк, что к нему обращаются с добрыми намерениями?

– Тогда он дважды дурак!

– Что же делать с таким? Ведь дважды дурак неисправим!

– Совершенно верно, неисправим!

Сулла сверкнул глазами, решительно подошел к выходу, откинул полог и крикнул солдатам:

– Солдаты, я пытался вправить им мозги! Мы сделали все, что могли! Могу сказать лишь одно: они свое прожили!

Это был приговор.

Солдаты подняли руки, и в каждой руке лежал камень. Увесистый булыжник в каждой руке. Сулла, не глядя на трибунов, указал им на выход.

Лабие и Регул побелели лицом, и губы их стали восковые. Под холодными, злобными взглядами военачальников они пожали друг другу руки и смело двинулись к выходу.

Они сделали шаг. Еще шаг.

Они уже были там, снаружи, на претории.

Им дали прошагать еще небольшое расстояние. И тогда в них полетели камни. Децим опустил полог, чтобы камни случайно не влетели в палатку.

Камни ударялись о тела короткими глухими ударами. Но не было слышно стога. Не было слышно криков о пощаде. Только раздавалась команда центуриона:

– Еще камень! Еще раз камень! В голову целясь! Добивай, ребята!

Сулла подошел к столику, налил вина и подал знак своим друзьям, чтобы выпили и они.

– Что-то очень долго, – сказал Фронтан.

Но тут раздался не то стон, не то вздох облегчения. И все смолкло.

Фронтан отпил вино и сказал:

– Все!

Сулла улыбнулся добродушной улыбкой:

– Я же предложил им прекрасный выход, а они...

– Да, – сказали военачальники вполне согласно.

4

Войско, расположенное близ Нолы, предназначалось для борьбы против Митридата. Оно было оснащено новейшим тяжелым вооружением. Квестор Руф доложил Сулле, что баллисты и катапульты, полученные совсем недавно, отличаются большей дальностью и убойностью. Это достигнуто за счет усиления тетивы, а также улучшенным качеством дерева, которое изгибается под действием тетивы. Это дало возможность значительно утяжелить ядра и стрелы для катапультирования. Команды, обслуживающие метательные машины, прекрасно обучены. Это можно будет проверить на ближайших маневрах. Получено также, продолжал квестор, много дротиков. Они отличаются от прежних своим весом. Острие, будучи особо прочным, представляет и для пехоты и для конницы серьезное оружие. Хуже обстоит дело со щитами. Оружейные мастера, желая максимально облегчить вес самого щита – что весьма понятно, – не смогли достичь необходимой защитной прочности. Поэтому дан новый заказ на щиты из металла без применения кожи. Они будут готовы в ближайшую декаду. Их, вероятно, придется передать тяжеловооруженным.

– Это так, – согласился Сулла, – невозможно путать два понятия: легковооруженные и тяжеловооруженные. Их назначения понятны. Последние должны прикрывать первых. Следовательно, щиты гоплитов, как их называют греки, ни в коем случае не должны поддаваться натиску врага. Они должны быть достаточно прочными, чтобы выполнить возложенную на них задачу. Что же до легковооруженных, то они должны быть минимально обременены оружием, то есть его тяжестью. И в то же самое время оружие их должно быть достаточно боевыносливым и предельно убойным.

Центурион, командовавший десятью баллистами, доложил, что в течение дня может сломить сопротивление небольшой, хорошо укрепленной крепости. Ядро, запущенное новейшей баллистой, пролетело расстояние в полмили и пробило покрытие из досок толщиной в три пальца.

– Это хорошо, – сказал Сулла.

– Вообрази, – горячо продолжал центурион, – что по воздуху летит камень с человеческую голову...

– На расстояние полумили?

– Нет, такое сверхтяжелое ядро попадает в цель на расстоянии двухсот – двухсот пятидесяти шагов.

– Неплохо! – воскликнул Сулла.

Даже самый критический смотр войску свидетельствовал о том, что в Ноле собрана действительно отборная и хорошо вооруженная армия. Должно быть, в Риме это понимают и, несомненно, беспокоятся по этому поводу. Но жребий брошен: убийство двух военных трибунов бесповоротно определило дальнейшее течение событий. Это значит – полный разрыв с Марием! Но не только разрыв, но и начало открытых военных действий. Поскольку Марий не кажет носа из Рима, – а это вполне можно понять, ибо нет у него за пределами города достаточной военной силы, – поскольку Марий в Риме, одна возможность, чтобы сразиться: это идти на Рим! По-видимому, сенат обеспокоен подобным оборотом, хотя еще никто не произнес вслух ни слова о походе на Рим. Даже Сулла не смел до поры до времени громогласно заявить об этом: ибо не бывало еще от века, чтобы римляне брали свой собственный город. Однако логика борьбы толкала только на этот путь. Что еще оставалось Сулле? Ждать, пока наберется сила у этого старикашки?

Стало быть, образ действий как бы подсказывался самим ходом событий. Вот так и бывает часто: ты уже не хозяин своей судьбы!

Сулла распорядился созвать своих ближайших помощников и, когда те явились, задал им вполне естественный вопрос: что же дальше? Поскольку никто не торопился отвечать на этот нелегкий вопрос, слово взял сам Сулла.

С виду он был спокойный. Жесты скупые, уверенные. Глаза светились голубизной. Казалось, ничто не заботит этого полководца, кроме погоды, которая начала портиться. Со стороны Тирренского моря дул холодный ветер. Пузатые тучи обложили небо.

– Соратники, – начал Сулла, – я хочу обрисовать наше положение, каким оно мне представляется... – И осекся. – Я велел, чтобы семейограф записал наши слова. Я его не вижу. Где он?

– Я здесь, – сказал пожилой человек с голым черепом. Он держал в руках дощечки и стило, готовый по первому знаку зафиксировать скорописью то, о чем будет здесь говорено...

– Соратники, – продолжал Сулла, – в свое время надлежащим образом было решено, что для войны против Митридата образуется особое войско. И оно образовано. Мы – его часть. Мы – его ядро. Таким образом, Понтийская империя Митридата должна была подвергнуться жесточайшему испытанию римским оружием. Еще год назад. Но время шло, и, вместо того, чтобы воевать в Малой Азии и добывать золото, мы находимся здесь, в Ноле. Мы уже отлежали бока. И все это по вине тех, кто пытается диктовать нам из Рима свою глупую волю.

Сулла говорил не очень красиво. У него как у оратора было немало соперников. Однако ни он сам, ни его враги не придавали особого значения его ораторскому искусству. Важнее было не то, как он говорил, а то, что говорил. Важнее было уловить скрытый смысл его речей, чем следить за его жестами, правильным произношением и вкраплениями греческих выражений. Да и сам Сулла никогда не претендовал на роль капитолийского оратора. Он старался не напрягаться, часто повторял – для вящей убедительности – отдельные слова, а иногда и целые фразы. Он как бы вдавливал свою мысль в голову своего слушателя. Глуховатый, бесцветный голос его никого бы не взволновал, если бы не принадлежал этот голос именно Сулле.

Сулла говорил:

– Это наше войско приглянулось Марию. Ему хочется напоследок сразиться с Митридатом – с человеком цветущего здоровья, больших познаний и энергии. Если это разрешить Марию, то, значит, пренебречь интересами Рима, всего отечества. Кто это позволит? Разве римский народ допустит до этого? Никогда!

Его слушали внимательно. Все, что говорил Сулла, – истинная правда. По-видимому, так оно и есть. Во всяком случае, с его точки зрения. И с точки зрения его друзей. Слушали внимательно еще и потому, что момент был воистину критический. Все зависело от того, как развернутся события. А в том, что они развернутся, да еще с особенной силой, в этом не могло быть никакого сомнения...

– Итак, с одной стороны – римский новоявленный диктатор, немощный духовно и физически, а с другой – мы. Мы с вами, войско, готовое на подвиги во славу отечества. Что надо Марию? Ему нужны мы, чтобы с нашей помощью загрести несметные богатства в Малой Азии, потом пройти по нашим горбам, заработанным нами в боях, и с триумфом возвратиться в Рим. Не правда ли, очень занятная картина?

Это действительно было бы омерзительно, и военачальники реагировали на эту мрачную картину, нарисованную Суллой, с великой неприязнью к Марию и римскому сенату.

Сулла продолжал:

– Итак, все золото римскому диктатору, его тирании и тем, кто поддерживает всю эту нынешнюю римскую мразь! А нам с вами – что? Пустые чаши с господского стола? Так, что ли? – Сулла возвысил голос. Он закинул голову и вскричал: – Нет! Нет! Нет!.. Не верно ли говорю?

Одобрительные возгласы были ему ответом.

– А мы что же с вами? Мы-то разве безголовые? Как бы не так! Римской тирании мы отвечаем провозглашением всех республиканских традиций, которые мы с вами клянемся защищать. Мне кажется, – я в этом даже совершенно уверен, – перед нами единственный путь: надо идти вперед, надо думать о Понтийской империи Митридата, не выпускать ее из виду до победы над нею! Мы должны вернуться из похода в Малую Азию людьми богатыми, людьми уважаемыми, наделенными землею в достаточном количестве. Ежели есть у кого-нибудь из вас на примете другой путь – укажите мне его. Мы посмотрим, что это за путь, и, возможно, он нам и понравится. Есть ли такой путь?

Вопросив, Сулла умолк, но, так как никто не мог назвать иного пути, он сказал:

– Верно, другого пути нет в природе, и поэтому вы молчите. По моим наблюдениям, к походу мы готовы. Остается только назначить день, когда мы оставим этот лагерь и пойдем добывать не только славу для отечества, но и деньги для себя... Я кончил.

Заключительные слова особенно пришлись по душе военачальникам. Всем без исключения. Когда опытный, великий муж говорит дельно и справедливо – тогда в палатке полководца царит единодушие.

Фронтан и Руф, которым все было ясно, спросили: когда Сулла назначает выход из лагеря? Едва ли сию минуту можно дать надлежащий ответ, сказал им Сулла. Все зависит от воли богов. К счастью, здесь, неподалеку, пребывает изумительный гадатель. Ему ясно многое, что скрыто от нас. Его совет будет иметь первостепенное значение.

С этим тоже все согласились.

– Но как бы то ни было, – заметил Сулла, немного подумав, – на этой декаде решится все. Приказываю: всем военачальникам сегодня же объявить первую боевую тревогу. Завтра вечером я объявлю вторую боевую тревогу. Третья тревога – сигнал к выходу. Ясно ли меня поняли?

Фронтан по традиции поднялся, бросил поочередно взгляд на каждого присутствующего и доложил Сулле:

– Приказ понят всеми.

– Прекрасно!

– Я распоряжусь сейчас же о выдаче денег солдатам, – сказал Фронтан.

– Прекрасно! – повторил Сулла.

Квестор объявил:

– Всем, кому требуется обмундирование походное и оружие дополнительно, – получить сегодня же.

– Прекрасно! – еще раз произнес Сулла.

В самом деле, разве не прекрасно? Все без сучка, без задоринки.

Тучи тем временем заполнили все небо. Сверкнула молния, и промчался над облаками Юпитер, грохоча колесами своей крылатой колесницы.

Буфтомий явился не один: за его спиной маячила фигура не то подростка, не то девушки. Гадатель приложил руку к сердцу по восточному обычаю.

– Ты звал меня – и я явился, – сказал он тихо.

Сулла встал навстречу ему:

– Ты, я вижу, не один...

– Эта прекрасная Филенида, – пояснил гадатель, – не выносит одиночества.

Сулле показалось, что Буфтомий при этих словах улыбался таинственной, многозначительной улыбкой. Гадатель легонько подтолкнул вперед ту, которую назвал Филенидой. Светильник озарил лицо девушки, ее глаза, полные неги и покоя. Сулла не видел больше ничего, кроме ее глаз, да и не мог видеть, ибо Филенида была укутана в зеленого цвета плащ с капюшоном. По лицу ее текли светлые капельки воды – прекрасный след только что утихшего ливня.

Она сбросила плащ, и в белоснежной тунике – безрукавной и длинной – предстала некая красавица, о которой можно было сказать языком греческих поэтов: воистину пенорожденная!

Она была невысока ростом, тонка станом. Ноги ее в золотистых башмаках те же греческие поэты непременно окрестили бы словом «божественные». Правда, золотые башмаки мигом навели Суллу на определенные мысли, но девица казалась столь чистой и юной, что дурное было немедленно отвергнуто. И Сулла примирился с присутствием Филениды в палатке.

– Кем доводится тебе это дитя? – спросил Сулла, не в силах оторвать взгляда от Филениды.

– Вот эта?

– Да, вот эта. Филенида, как ты соизволил назвать ее, Буфтомий.

Гадатель погладил девушку по тщательно зачесанным волосам. Погладил так, словно боялся притронуться к ним. Черные блестящие волосы, черные тонкие брови, черные длинные ресницы, большие кровянисто-красные губы, розовые щеки, белая шея... Да не с картины ли сошла она? Кто, какой кистью, какой краской писал ее? И сколько ей лет? Неужели двадцать? Наверное, не больше... Вот смотрит она на тебя без страха, с любопытством, и мурашки пробегают у тебя по спине...

Сулла весь преобразился. Он предельно вежлив, предельно внимателен, предельно гостеприимен. Позвал Эпикеду и велел подать ужин. Сам определил меню: лимоны керкирские, финики засахаренные в меду, масло венафрское, мед аттический, ветчина менапская, мясо цесарок по-этрусски, телятина жаренная кусками по-самнитски. Пожалуй, все! Вино смоляное из Виенны, да еще воды горячей и холодной...

– Время раннее, – сказал Сулла, – пока еще не сменилась первая стража... Поторопись-ка, Эпикед. Покажи свою сноровку.

Слуга удалился, пообещав не испытывать терпения хозяина и гостей. Сулла обратился к Буфтомию:

– А все-таки кем она тебе доводится?

– Племянница моя, – произнес гадатель таким тоном, чтобы Сулла вовсе не поверил ему. – Впрочем, какая разница, кем она мне доводится?

Сулла подвел Филениду к стулу со спинкой, инкрустированной в Мавритании. Ему вдруг почудилось, что рядом с ним невеста. Потому что Филенида вела себя, как невеста на свадьбе.

Филенида уселась с воистину царственной осанкой, запрокинула ногу на ногу. И он увидел высоко над столом яркий ряд ногтей, чудесно отшлифованных и покрашенных в ярко-синий цвет.

Сулла желал поговорить с гадателем с глазу на глаз. Ему нужен был знак, божественный знак. А тут вдруг эта Филенида! Извинившись перед девицей, Сулла увлек Буфтомия в дальний угол довольно просторной палатки, туда, где обычно стелили ему походную постель.

Филенида проводила его понимающим, лукавым взглядом, в котором он, при всем желании, не смог прочесть ничего определенного.

– Послушай, – заторопился Сулла, думая все время о Филениде и все еще не веря, что существо это находится здесь, совсем рядом, и еще не разгадано им, – послушай, Буфтомий, мне нужен твой проницательный ум и твое умение проникать в божественное предопределение.

Буфтомий приложил руку к сердцу. Покорно наклонил голову набок.

– Видишь ли, Буфтомий, мне надо готовиться в поход...

– Знаю.

– Кто тебе сказал? – поразился Сулла.

– Разве войско создано для того, чтобы сидело оно в лагере и жирело от безделья?

– Верно. Не для того.

– Следовательно, великий Сулла, оно уйдет в поход.

– Но когда? – спросил Сулла.

Буфтомий внимательно поглядел в голубые глаза, которые зажили нынче жизнью радостной и счастливой. И гадатель понял все. У него уже был готов ответ. И все-таки решил ничего не говорить о сроке. Он сказал тихо, как бы про себя:

– Аппиева дорога... Рим... Эсквилинские ворота...

Впервые это было произнесено вслух.

– Что это значит? – чуть не в ужасе прошептал Сулла, хватая Буфтомия за руку.

Гадатель молчал.

– Говори же, – теребил его полководец.

Буфтомий словно бы превратился в столб. Едва шевелил губами. И Сулла с трудом различил такие слова:

– Рим... Рим... Эсквилинские ворота... ворота...

Осторожно отпустил руку гадателя, в глазах которого горел неземной свет: это был свет луны, свет самой большой звезды. О боги, какой это был свет – совершенно неопиcуемый!..

– Буфтомий, – позвал Сулла тихо-тихо.

Но гадатель вперил свой взор в далекую точку. Он не видел никого, не слышал ничего.

«Что он говорит? – подумал Сулла. – Откуда ему все это известно? И что в нем за сила такая? Не замешаны ли здесь какие-либо соглядатаи?» И тут же признался себе, что про Рим никто и не заикался. Но откуда же взялся этот Рим у гадателя?

Вдруг Буфтомий встрепенулся. Словно бы пришел в себя от непонятного оцепенения. Протер глаза, как после сна, и улыбнулся. На его не по годам морщинистом лице обозначилась широкая, добродушная улыбка.

– Что? – спросил он.

– Ничего, – сказал Сулла, озадаченный слышанным. «Этот гадатель, несомненно, великий человек. Надо его приблизить к себе всеми силами», – решил Сулла. И добавил вслух: – Может, не следует тебе напрягаться, Буфтомий?

– Отчего же, – сказал гадатель, – все прошло, словно летний дождь.

– И ты можешь мне ответствовать?

– Да. Послезавтра.

– Что – послезавтра? – смущенно спросил Сулла.

– Послезавтра – в поход, – сказал гадатель, как о деле совершенно решенном и не подлежащем более обсуждению.

– Это окончательно, Буфтомий?

– Почти. Но завтра вечером я снова все проверю.

Сулла поблагодарил его и вспомнил, что за столиком ждет их прелестная Филенида.

– Значит – послезавтра? – переспросил Сулла.

– Выходит, так.

Сулла задумался. Прикинул в уме кое-что и пришел к выводу, что это и есть тот самый срок, который назначил сам. Но никому об этом не говорил, он и сам раньше не думал об этом!.. Почти то же о Риме. Никто не произносил этого названия в связи с походом.

Откуда взял его Буфтомий? Неужели и это наитие? Великое наитие, присущее восточным прорицателям? А что же еще, если не наитие?..

Эпикед расставил ужин на столике. Чин чином. Как в римской вилле. Кто скажет, что все это в лагере.

Сулла начал с вина. Он ласково справился у Филениды, что предпочитает она; чистое вино, вино с водой холодной или вино с водой теплой?

Филенида одарила Суллу одной из тех обворожительных улыбок, которыми владела в совершенстве. Эта улыбка могла бросить к ее ногам даже гиппопотама.

– Разумеется, чистое, – проговорила она. Голос ее звучал звонко и уверенно. – Кто же портит вино водой?

– То есть? – Сулла вопросительно уставился на нее.

– У меня свое правило; не портить вино смесью. Этот ужасный греческий обычай, я уверена, скоро переведется у нас.

– Ого! – обрадовался Сулла. – У Филениды уже есть свое правило?

– И не одно, – поправила его девица.

– Прекрасно! – воскликнул Сулла.

Буфтомий был очень, очень доволен. Он выпил свою чашу и приступил к ветчине, предварительно выжав на нее пару лимонов. Набив рот, он похвалил хлеб, который, по его мнению, был хорошо выпечен из крупчатой муки.

Филенида глотками попивала вино и вовсе не стеснялась своих полуобнаженных ног, от которых Сулла не мог оторвать глаз.

– Да здравствует Филенида! – воскликнул он, осушая чашу.

И не выдержал: порывисто поднялся с места, подошел к ней. Взял за талию и приподнял; она была точно цесарка – нежная, гладкая, легкая. Увел ее подальше в угол, где недавно беседовал с гадателем.

– Я хочу кое-что сказать по секрету, – невнятно пробормотал Сулла.

– При нем? – удивилась девица, незаметно кивнув в сторону Буфтомия.

– А что?

Они оглянулись: гадатель был занят ужином. Он, казалось, никого и ничего не замечал.

Сулла прильнул к ее устам и очень скоро убедился в том, что они отвечают, причем с великим умением. Это его приободрило. Недавно провозглашенное им правило, согласно которому «палатки – священнее храмов», было уже забыто им.

– Что ты еще умеешь? – прошептал он ей на ухо.

Ровно в час утра заиграли трубы. Лагерь всполошился. Строились перед палатками манипулы, центурии. Раздавалась команда во всех концах лагеря. Младшие начальники повторяли приказы старших.

Войску надлежало: разбирать палатки, складывать солдатский скарб, крепить его к походным рогатинам, тщательно проверить оружие. Обозные телеги грузились под наблюдением помощников квестора, выкатывались вперед покрытые льняными грубыми чехлами баллисты и катапульты.

Очень скоро весь лагерь можно было обозреть из конца в конец. Сулла вышел на маленькую, чисто убранную преторию и обратился к войску с речью. А перед этим манипулы и центурии продвинулись – насколько это было возможно – поближе к форуму.

Вот его речь, записанная семейографом:

«Доблестные римские солдаты! Мы находились в этом лагере для того, чтобы, собравшись с силами, отправиться за море, в Малую Азию и привести в чувство императора Понтийской империи Митридата VI Евпатора. Так его именуют полным именем. Я это говорю к тому, чтобы вы знали, кого следует пленить и привезти в Рим в Мамертинскую темницу. Только таким может быть разговор с Митридатом. Обо всем этом – я имею в виду наш поход за море – было условлено с сенатом. Но, как это выяснилось совсем недавно, нам уготовили совсем иную участь, а именно: нас захотели лишить нашей законной славы и законной добычи на полях сражений в Малой Азии. По хитроумному замыслу Мария, туда должны были быть посланы другие войска, а нас с вами – тех из нас, кто не был бы жестоко покаран, – решили обратить в прислужников больших и мелких тиранов. Так задумал их главный тиран Марий. Но мы-то с вами хорошо знаем, что народ наш, никогда не знавший тирании, никогда не приемлет ни одного тирана, под какой бы личиной он ни выступал. Не далее как позавчера нам было сделано наглое предложение. Его нам привезли те два военных трибуна, которых вы справедливо побили камнями, как они и заслужили. Мне кажется, что ответ они получили достойный. И этот ответ несомненно услышан в Риме.

Какова наша цель?

Нам нужно, поскорее встретиться с Митридатом. Я совершенно уверен в одном: он будет в наших руках и вместе с ним – несметные богатства. Эти богатства должны принадлежать римскому народу и, разумеется, его доблестному войску. Кроме того, все войско должно получить такое обеспечение земель, чтобы вы, ваши дети и внуки ваши и правнуки были довольны. Чтобы, вспоминая поход, вы видели перед собой ваши поместья. А иначе к чему этот поход?

Дальше.

Теперь я подхожу не то чтобы к самому главному, – об этом главном я уже сказал, – но к самому важному в настоящее время: мы должны, мы обязаны устранить главное препятствие на нашем пути. Это главное препятствие в Риме. Вот именно туда и должно быть нацелено все наше оружие – тяжелое и легкое. Все наши мысли, все силы наши должны быть направлены на разрушение той плотины, которая поставлена на нашем пути в Малую Азию. Эта преграда не только вполне преодолима, но легко доступна

разрушению. Посмотрите, сколь несметны наши силы, сколь многочисленны мы и сколь грозно наше вооружение. Наши сереброкрылые знамена не знают поражений. Подлые политикины в Риме будут сметены с нашего пути – и нас ждет богатство Митридатова царства.

Итак: впереди Рим. Сметем же подлых тиранов и их главаря Мария. Принесем римскому народу славу и богатство! Приумножим славу наших предков! Победа наша обеспечена! Я верю вам, а вы, надеюсь, верите мне. Вперед, на Рим!»

Сулла кончил. Он говорил с достоинством, являя в каждом слове непреклонную волю. Верили ему солдаты? Да, верили! Доверяли ему начальники войска? Да, доверяли! Верил ли сам Сулла в свои силы? Да, верил! Мог ли он рассчитывать на свое войско, на победу, или его слова были простым самовнушением? Нет, он рассчитывал твердо на свое войско. Тем более что прорицания – частное и официальное – внушали великую надежду. А счастье, как известно, до сих пор ни разу не покидало Суллу.

Какое впечатление произвела его речь на войско, на его начальников? В своих «Воспоминаниях» Сулла утверждал, что все были полны решимости идти на Рим. Иного выхода, утверждал он, не было. Это понимали все, писал он.

Снова протрубили трубы, и войско двинулось на Рим. Точнее, по направлению к Риму. На север. По Аппиевой дороге.

Сулле подвели белого коня, и он показал такую сноровку, садясь на него, что ему могли позавидовать молодые. За ним последовали ближайшие помощники, а также и Буфтомий. Прекрасная Филенида следовала за войском в более удобном экипаже, чем военная телега из обоза.

6

Войско двигалось довольно быстро, но не очень. Сулла полагал, что не столь уж важна нынче быстрота шага, сколь важно сохранить силы перед последним броском на Рим. Он справедливо считал, что один или два дня ничего ровным счетом не решают. Впереди лежала хорошо знакомая дорога, – можно сказать, вполне проторенная им, – через Капую, Синуэссу, Таррацину, Арицию и Альба-Лонгу. Предполагалось, что близ Альба-Лонги будет разбит военный лагерь. Оттуда можно будет угрожать одновременно Остии, Тускулу, Пренесте и самому Риму. Находясь в Альба-Лонге, легко держать инициативу в своих руках.

Меры предосторожности были приняты чрезвычайные: далеко впереди шли просто дозоры, за ними следовали дозоры усиленные, которые передавали сведения о врагах основным, главным дозорам. Так же усиленно охранялись фланги и тыл. За обозом следовал аррьергард, способный вести бой вполне самостоятельно.

Растянулось войско на много стадиев. Оно шло молча. Песен петь не полагалось, а маршевой музыки тогда не существовало. Зрелище было внушительным и мрачным. Скопление тысяч и тысяч людей,двигающихся в общем строю, одним своим видом способно было обратить в бегство довольно многочисленное вражеское войско. Серебряные знамена, увенчанные орлами, ярко сверкали на солнце. Облако пыли стояло над дорогой, как бы двигалось вместе с легионами, составляло с ним единое целое. Оттого еще больше ужаса внушала вся эта сила жителям Кампаньи и Лациума.

Войско полностью было укомплектовано не только пехотинцами, но и всадниками и, как уже говорилось, тяжелыми орудиями – главным образом метательными. Старые гвардейцы шли рядом с кавалеристами, и это, несомненно, усиливало боеспособность когорт и манипулов. Даже обозная прислуга, конюхи, маркитанты, погонщики мулов, врачи, жрецы и те были подтянуты – выглядели молодцевато. Никто бы не ошибся, если бы, взглянув на эту армию, сказал, что она непобедима, что нет в настоящее время силы в Римской республике, способной сломить ее. Лучше всех это понимал сам Сулла. Он ехал позади второго легиона, окруженный надежными сателлитами и преторианцами. Находясь в середине войска, Сулла одинаково мог управлять авангардом и арьергардом и не менее успешно – флангами. И пешие и конные части постоянно находились возле командующего, и Сулла был в курсе всего, что делалось во всем войске.

Он ехал внешне спокойный, даже улыбающийся. Легким жестом ободрял случайно сбившегося с шага бывшего воина. Сулла неукоснительно придерживался замечательного, с его точки зрения, правила: не стеснять воина без особой нужды, не пугать его показной строгостью, если цель – дисциплина – может быть достигнута иными путями. Неимоверная строгость, царившая в римских когортах, была известна во всем мире. Усугублять эту дисциплину Сулле не хотелось. И он, несомненно, поступал правильно. Это подтвердили дальнейшие события, которые начались здесь, в Кампанье, продолжались в Греции и Малой Азии и вновь завершились на этом же самом месте, словно бы замыкая сакраментальный пифагорейский круг.

Погода стояла не особенно жаркая. На ярко-синем небе блистали белые облачка, подобно динариям, увеличенным во много тысяч раз. С моря дул прохладный бриз. Солнце грело спину. Среди облачных динариев маячил тонкий серп луны.

На коротких привалах маркитанты разносили вино, оливы и пресные лепешки. Солдаты шутили и смеялись.

Не обходилось дело и без игральные кости: присев на корточки, солдаты испытывали свое игрецкое счастье. Разве это плохо – выиграть несколько сестерциев? Не беда, если и придется достать из кошелька даже несколько динариев: на то ведь и игра!

Доморощенные поэты, улучив минуту, сочиняли стишки для красавиц, которых пошлет им судьба в огромном Риме. Не было еще случая, чтобы кто-нибудь пожаловался на недостаток женских чар в римских кварталах. Ежели тебя обойдет стороной возвышенная любовь со стишками, слезами расставания и поцелуями, то наверняка не минует тебя другая, которая достанется за верные динарии – настоящие солдатские деньги. А ежели Рим не сдастся добром? Тогда, считай, и женщина – твоя военная, бесплатная добыча, если даже военачальники и начнут притворными речами осуждать тебя... Дело только в личной предприимчивости: лопухам не стоит рассчитывать на что-либо путное – пусть они лучше уступят место более энергичным и сметливым. Ведь война есть война!

Однажды Сулла сказал: «Если ты идешь в бой, а перед этим умастил себя благовониями и надушился духами, привезенными с Кипра, – лучше возвращайся к своему очагу и не позорь себя неминуемым поражением. Только тот, кто весь в поту, кто весь душою своею и помыслами на поле битвы, – тот одерживает победу. И никто другой!»

Говоря откровенно, это же самое – не раз – говорилось до него. Едва ли стал бы возражать против этой мысли и сам Александр Македонский. Или Ганнибал. Или Ксеркс. И еще кто-нибудь, кто взялся за меч хотя бы раз и понял, в чем смысл выигранного или проигранного сражения с точки зрения военного искусства.

Однако Сулла придавал своим словам совершенно определенный характер: это, по существу, была инструкция, твердо претворявшаяся в жизнь. А не разглагольствование какое-нибудь, предназначенное для потомства, – так сказать, красивое словцо.

Это его качество военачальника, как полагали его друзья, отчетливо выявилось еще тогда, в Югуртинскую войну. Б то время как Марий пытался решить войну, словно сложную индийскую игру на расчерченной доске с фигурками военных, причем решить, сидя в своей палатке, – Сулла все разом перенес на поле боя. И надо сказать, неплохо решил дело с Югуртой, пленив его. Сулла доказал, что жалок тот полководец, который отсиживается все время в своей палатке...

Сулла не обольщался: Рим есть Рим: он не раз ставил многочисленное вражеское войско, идущее на него, в безвыходное положение.

Речь сейчас идет не о пустопорожном споре в сенате. Не о соревнованиях в красноречии. Стоит вопрос о жизни или смерти. Именно так, если говорить откровенно! Вопрос, как это видно всякому зрячему, просто шкурный. Речь идет о твоей шкуре. В более широком смысле – это может быть и шкурой римского народа, всей Римской республики. Да, именно так, и только так, стоит вопрос!

Сулла подозвал к себе семейографа и продиктовал свои мысли относительно шкуры слово в слово.

– Сохрани эту мысль, – сказал он. – Пригодится она.

– Я все записи складываю в заветный сундучок, – сказал семейограф.

(Он имел в виду походный сундучок с надписью: «Воспоминания». Сулла завел его тотчас по достижении пятидесяти лет...)

При всех обстоятельствах очень нелегко иметь дело с Римом, если даже сам ты римлянин...

И чем больше думал об этом Сулла, тем сильнее крепла в нем решимость одержать вверх над Марием. Это не просто, но – Сулла уверен – вполне достижимо. А почему бы и нет? Он приподнялся и посмотрел вперед. Потом посмотрел назад. Несметное число воинов. Непреоборимая сила, если только умело распорядиться ею.

Он повернулся к Фронтану и приказал:

– Лагерь разбить в одной миле от Альба-Лонги.

– Пройдя город?

– Именно!

Войско неумолимо двигалось вперед. Навстречу своей судьбе. И судьбе великого Рима.

Сменилась первая стража – об этом известили благозвучные рожки. Ординарец передал караулу пароль на сегодняшнюю ночь. Часовые окликнули друг друга. Лагерь приходил в себя после утомительных дневных работ по устройству рвов, насыпей, постановке палаток, приведению в порядок немудрящего солдатского скарба.

До сна еще оставалось время. Было тепло. Небо казалось зеленоватым, и луна одиноко паслась на этой зелени, словно овца на крутом травянистом холме. Именно такой представлялась сегодня вечером серебристая луна Гнею Алкиму. Он лежал на плаще лицом вверх. Смотрел на небо долго, долго, и, чем дольше смотрел, тем выпуклее казалось оно и тем круче склоны его, по которым гуляла одинокая луна.

Гней Алким – молодой воин второго года службы – так увлекся сферой небесной, что не замечал, как с него не сводит глаз центурион Децим, под началом которого он служил. Децим сидел на большом камне и проверял, хорошо ли наточен его меч, прочны ли ремни на ножнах, нет ли изъянов на щите. Центурион полагал, что, если оружие в полном порядке, это уже немало само по себе. Это значит, что жизнь твоя достанется врагу совсем не даром. Если достанется вообще. Вот уже десять лет не выпускает он из рук тяжелый разящий меч! Любимый меч. А какой же это центурион без любимого меча? И все эти десять лет Децим – рядом с Суллой. Полководец его любит, ценит его. Центурион – прежде всего исполнитель воли начальника. Чем точнее выполняет приказы свыше, тем более он нужен начальнику и республике. Центурион не забивает себе голову разными там благоглупостями, если хочет получать награды и продвигаться по службе. Если угодно – центурион существо бездумное. Нигде, ни в одном военном уставном свитке об этом не пишется прямо, что называется в лоб. Однако за шесть веков выработался тот самый тип – идеальный тип центуриона, – который будет служить вечным примером для потомков.

Гнею Алкиму было что-то около двадцати пяти лет. Центурион Децим был старше лет на пять, на шесть. Два шрама на шее Децима уже сами по себе кое о чем свидетельствовали. Да на бедре шрам от нумидийского дротика. Да в паху след от кривого ножа повстанца-гладиатора. Одним словом, Децим может и не открывать рта – его раны без слов говорят о его доблестях и о славе.

Сулла знает Децима не только как центуриона. Децим для него – легко читаемый свиток.

Достаточно услышать две-три фразы из уст центуриона, чтобы немедленно определить, с кем имеешь дело, насколько ушел этот человек от зверя, который бродит по лесам. (Нельзя сказать, что очень далеко.)

Децим не мог понять, почему Гней Алким так долго смотрит на луну. Что там, на ее лике? Ведь это время прекрасно можно было бы употребить на что-нибудь дельное – поточить меч или отремонтировать башмаки. Для воина Гней немножко нежен. Что его потянуло сюда? Неужели он не мог откупиться? Солдатская жизнь такая: если ты служишь – служи, если просто проводишь время – уходи домой, под тунику своей жены или матери и не лезь в бой.

– Послушай, Гней, – говорит центурион.

Гней Алким поворачивает к нему лицо, полное тревоги.

– Что там на небе? – Децим вот-вот расхохочется.

– На небе? Луна.

– А еще?

– Небо.

– А еще?

Гней молчит. Кто его знает, что там, на небе? Греки утверждают – эфир. Один философ с Сицилии уверял, что там – кристалл. Хрустальный свод.

– Я спрашиваю неспроста, – продолжал центурион. – Целый час ты глядишь наверх. А может, больше. И вид у тебя грустный... Меня подмывало послать тебя на копку рва, чтобы ты не бездельничал понапрасну.

– Думал, – признался Гней. – Думал и грустил.

– Думал? – Центурион расхохотался. – Грустил? О чем же? Что это за нежности такие: думал! А что же, в таком случае, будут делать Сулла или Фронтан?

Гнею показалось, что Децим шутит. Но ничего подобного: центурион был вполне серьезен. Он говорил искренне: в самом деле, что делать Сулле, если будет думать каждый солдат?

– Даже я, – важно сказал Децим, – не разрешаю себе такой роскоши. У нас есть кому думать! Если спит Сулла – думает Фронтан, если спит Фронтан – думает Руф. Если уснул весь лагерь, а ты стоишь на часах, то и в этом случае не следует тебе думать. Найдется начальник, который возьмет на себя труд и станет думать за тебя.

Теперь пришел черед удивиться Гнею.

– Ты все это взаправду? – спросил он Децима.

– Как ты можешь в этом сомневаться?! Римский легионер говорит только правду!

Гней Алким, казалось, знал своего центуриона. Но, по-видимому, не столь уж глубоко. Между тем Децим тщательно вытер меч льняной тряпкой и осторожно вложил в ножны. Он это проделал с большим чувством, с большой любовью к этому холодному металлу. В эту минуту не думал ни о чем и ни о ком.

– Я нашел некий камень на берегу речушки, которую переходил вброд, – сказал Децим. – Это было вчера. Я сказал себе: «Вот прекрасное точило, которое придаст твоему мечу вид зеркала и остроту самого острого ножа гладиатора». Я вернулся на несколько шагов назад и поднял этот камень. Вот он!

Децим показал Гнею серый, продолговатый камень, а потом осторожно спрятал его в мешочек, точно это был слиток золота.

Децим поучал:

– Если каждый день посвящать часок чистке и точке меча, то будешь обладателем лучшего в мире оружия. Такой меч будет служить всю жизнь.

– А если два?

– Что – два?

– Я говорю, если два часа кряду чистить и точить меч? – Гней спрашивал весьма серьезно, то есть настолько серьезно, что центурион даже растрогался.

– Это было бы просто здорово! – сказал он горячо. – Представляешь себе? – встал утром, наточил меч, позавтракал. Сел ты обедать, а предварительно поточил меч, покрыл его тонким слоем масла и вытер клочком шерсти или куском шерстяной ткани. Уверю тебя: ты себя почувствуешь счастливейшим в мире человеком!

Гней внимательно слушал Децима. Он спросил:

– Тебе это удастся?

– Нет, – Децим сокрушенно вздохнул. – Тебя дергают со всех сторон: и туда сбегай, и за тем присмотри, и в полководческую палатку сходи, да на претории побудь, да не забудь за часовыми приглядеть. Где тут возьмешь два часа?!

– Да, это не жизнь, Децим. Ты человек слишком занятой.

– Это правда. Но я не ропщу. Вполне доволен своей судьбой. – Он мечтательно вперил взор в самую землю, которая у него под ногами. – Жизнь моя точно спелый плод: вся полна соков... Утро мое начинается со звуков тубы или пения рожка. И я уже чувствую себя человеком: тебя разбудили! Значит, ты нужен кому-то. Значит, кто-то беспокоится о том, чтобы ты не проспал, чтобы не заспался, чтобы не отяжелел от лишнего сна. А потом твой слух ласкает команда: «вставай», «вправо», «влево», «копать ров», «выкатывать катапульту». Словом, всяких команд – что соловьиного пения в садах палатинских. И так весь день: «шагом», «бегом», «скорее», «живее», «смелее». В ушах твоих все это звучит восточной музыкой. Потом ты завтракаешь, потом обедаешь, потом ужинаешь, потом ложишься спать. Одним словом, у тебя не остается времени на размышления! А сестерции, а динарии, а ассы сами сыплются тебе в мошну. Ибо ты – на государственной службе, ибо ты – на часах у республики, ибо враги трепещут при виде твоём!.. А повышение? А награды? А серебро и золото, которое вешают тебе на шею, на грудь? А золотистые ленты на рукавах?.. Нет, брат, солдатская служба тем и хороша, что ценится она, что в почете она!.. Я уж не говорю о богатой добыче после победы. Об увенчанном лавровым венком триумфаторе, когда ты шагаешь рядом с ним и купаешься в блеске славы его... Нет, брат, нет и не может быть ничего лучше судьбы удачливого воина. Его ждут чины и награды. Под его властью когорты, целый легион, целое войско! Он шагает вверх по военной лестнице. Перед ним открыты дворцы и все двери всех дворцов!

Нарисовав перед своим подчиненным такую чудесную картину службы в легионе, Децим встал с камня, широко расставил ноги и подбоченился. Он был здоров – даже слишком! – бодр духом – даже слишком! – доволен жизнью – даже слишком доволен!..

Гней Алким почему-то подумал, что слишком здоровые и слишком бодрые, если они подобны Дециму, вредят республике. Их здоровье и бодрость не идут на пользу Риму. Скорее наоборот! Разве мало плачет женщин? Разве мало сирот? Разве мало смертей? Разве мало крови?

Когда все это Гней высказал в мягкой и краткой форме, Децим очень удивился. Поразился, можно сказать.

– Послушай, – вскричал Децим, – зачем же ты пошел в солдаты?

– У меня не было иного пути.

– Как это – не было?

– Очень просто, – сказал Гней. – Отец погиб во время похода в Галлию. Мать умерла от горя. Я остался один, без кола, без двора. У меня не было другой дороги.

– Возможно, – недоверчиво произнес Децим, – прослужив в войске, выиграв несколько сражений, ты можешь рассчитывать на землю.

– Наверное.

– Это уж точно! – сказал Децим. – Вот вернемся из Малой Азии – сам увидишь, что будет!

– А что?

– И земля! И семья! И сестерции в мошне!

– Да, я верю! – сказал Гней.

– И я! – согласно сказал Децим. – Всей душой верю, ибо нас ведет не кто-нибудь, а сам Сулла!

Его лицо просияло. Глаза его сверкали радостью. Центурион глубоко верил в Суллу.

Гнею, наверное, надоело лежать на земле, Он встал, отряхнул сухую траву со своего плаща. И бросил как бы невзначай:

– Если бы не этот Рим...

Это было сказано тихо, как бы про себя. Но Децим встрепенулся. Он подошел вплотную к солдату, положил ему тяжелую руку на плечо.

– Что ты сказал? – спросил он строго.

Гнею стало не по себе.

– Ничего особенного. Сам себе сказал.

– Что именно?

– Не помню уже.

Этот центурион глядел на него волком. Та, capitoлийская волчица, которая из металла, существо добрейшее по сравнению с этим волком по имени Децим.

– А ты вспомни, – прошипел центурион.

Гней растерялся:

– Я не помню.

И Децим напомнил:

– «Если бы не этот Рим...» В каком это смысле понимать?

– Мне кажется...

– Что тебе кажется, Гней?

– Я думаю...

– Опять это самое – «я думаю»! Я говорил тебе, что это пустое все! Ты не должен думать!

Лоб Гнея покрылся легкой испариной. Что надо этому солдафону? Ведь ясно же: одно дело воевать против Митридата, а другое – против Рима.

Децим не спускал с него сердитых глаз.

– Это все понятно, – пробурчал он.

– Я подумал, Децим, что лучше бы сразу на Митридата.

– А!

– Хорошо бы в Малую Азию! С ходу!

– А!

– Этот Рим, Децим, совсем ни к чему... То есть он помеха нам...

– А!

– Вот и все!

Центурион сплюнул, отошел на шаг.

– Ну и скользкий ты тип! – проворчал Децим. Он сделал несколько шагов в сторону, но воротился и прошипел: – Советую тебе, Гней, поменьше думать и получше точить меч. Не сегодня-завтра он пригодится. Ты меня понял?

Молодой воин проглотил слюну.

– Понял, – сказал он.

– Без Рима нам не обойтись. Понял? Без того, чтобы не сокрушить Мария, нам не обойтись. Приказываю тебе не думать, но служить исправно.

– Слушаюсь! – проговорил Гней.

– Не думать, но служить! – повторил Децим.

– Слушаюсь!

Децим помолчал. А потом добавил наставительно:

– Если этот старикашка останется в Риме – никакой Малой Азии нам не видать...

Гней пробовал оправдаться:

– Я сказал тебе: это ужасно, что римляне берут Рим...

– Ну и что с того?

– Я подумал: такого не было от века.

– Ну и что с того?

– Не было, подумал я. И взгрустнулось от этого.

Центурион смачно сплюнул и выругался.

– Не было, так будет, – заключил он. И, уходя, сказал: – Не думать, но служить!

– Слушаюсь!

Децим погрозил пальцем Гнею и удалился утиной, грузной, устрашающей походкой.

Гней занял его место на камне. Это был валун – гладкий, пестрый: местами темный, почти черный, местами красноватый, местами белый. «Надо же, такой разный, такой разноцветный, а спаян воедино». Гней Алким погладил камень, и на ум пришло сравнение с Римом: так много разного народу, а все вместе точно этот камень. Какая же сила цементирует людей? Солдат пригляделся получше: и действительно, каждая крупинка – белая, красная, черная, желтая – как бы отдельно, и в то же время вырвать их, оторвать их одну от другой невозможно. И невольно спросил себя: а сладко ли крупинкам в этом массивном валуне? Не страдает ли каждая из них?

Вдруг ему почудилось, что страдает каждая крупинка. Страдает невероятно от этого жестокого, цепкого цемента. Что цемент этот должен быть невыносим. Зачем он нужен? Кто его придумал?

Гней Алким сказал себе: Децим слишком разгневан. Что он собирается делать? Мстить Гнею? Или забыть обо всем, что было здесь говорено? И почему он придал столь большое значение замечанию о Риме? Разве это не правда? Разве не странно, что Рим хотят взять приступом сами римляне? Это же противоестественно!..

Мимо проходил воин из одного манипула с Гнеем.

– Спать не собираешься? – спросил он весело.

– Пока нет, – ответил Гней.

– Мечтаешь?

– Мечтаю.

– О ней?

– О ней.

Воин остановился. Раскачиваясь на ногах, словно бы пританцовывая, почти пропел:

– Кто она? Кто она? Скажи мне...

У него, кажется, был голос. Его родители прибыли в Рим с предгорьев Альп. Полноправный гражданин – квирит, – белокурый, по-видимому, знал цену своей глотке. И он уже спел по-настоящему:
Мечтает о красавице воин,
Щит и меч держа в руках.
Воин мечтает, воин влюбленный!..

Белокурый солдат высоко подпрыгнул и смешно присел.

– Ну? – сказал он. – Скажи что-нибудь, Гней.

– Скажу, что ты весел...

– А почему бы и нет! Не сегодня-завтра пойдем в бой.

– Тебя не смущает, что это твой родной город?

– А какая разница, Гней! Слушай, я начинаю ржать вместе со своим мечом. Не довольно ли?

– Пожалуй, довольно.

– Наведем порядок в Риме, а затем – эгей! – прямо на Митридата!

Гней не очень понимал этого молодцеватого воина. Думал о чем-то своем и о том, чего хотел от него Децим...

Молодой солдат обнял Гнея. Сжал его крепко.

– Бей! Круши! Громи! – закричал он. И, отпустив, побежал. Словно бить кого-то. Словно крушить. Словно громить.

Небо стало темным. А луна – светлее. Гней постоял немного и побрел в палатку.

Рим снова направил к Сулле своих военных трибунов. Марий и сенат вполне оценивали военную силу, расположенную в лагере близ Альба-Лонги. Не вести переговоров с

Суллой не разумно. Никакого удовольствия, разумеется, от этого не могли ожидать ни сенат, ни тот же Марий.

Противоестественность наступления римлян на Рим ощущали многие в «вечном городе». В каком свете предстанет республика перед миром, если римляне не могут уладить добром внутренние разногласия? Одно дело, когда на Рим идет Ганнибал, и совсем другое – когда городу угрожает свой собственный полководец. Можно представить себе, какую это вызовет радость при дворе Митридата, или где-нибудь в Армении, Вифинии, Киликии, или в тех же Афинах. Или на Рейне. Или на беспокойном Севере Галлии, в отдаленной Испании. Да нет, что там рассуждать – наступление Суллы на Рим надо предотвратить, даже ценою некоторого самоуничтожения.

Так полагали на Палатине. И такую линию поведения принял Марий – правда, не без давления сената и ближайших друзей. «Надо смотреть на вещи трезвым взглядом, – убеждали его. – Ныне военная сила, с которой нельзя не считаться, находится в руках Суллы. И нет никакого резона делать вид, что это не так». – «Послушайте, – отвечал Марий, – вы не очень точно представляете себе, на что идете, затеяв переговоры с этой лисой. Никакого мира с Суллой быть не может! Либо вы пойдете к нему в полное услужение – постыдное и низкое, или он вас раздавит своим кованым башмаком. Середины он не знает». Сенат и друзья советовали Марию: «Возможно, что в этих твоих словах и есть доля истины, но только – доля. Едва ли римский народ примирится с Суллой, который начнет давить его башмаком. Этого не будет никогда, пока жива республика!» Марий говорил: «Если это потребуется для его честолобивых замыслов – Сулла удушит республику». Поскольку это казалось чудовищным, сенат полагал, что столь суровая оценка Суллы идет от личной враждебности к нему Мария.

Прибытие римских трибунов в Альба-Лонгу было уступкой Мария сенату.

Трибуны Брут и Сервилий прибыли в лагерь в пышных одеяниях, обшитых пурпурными лентами, в новой обуви, в сопровождении ликторов, несших фасции. Военные трибуны были облечены большими полномочиями, ибо в Риме справедливо полагали, что только такая делегация может успешно разговаривать с Суллой. Последний должен понять, что с ним желают вести переговоры весьма серьезно, что Рим придает им огромное значение и в соответствии с этим посылает достойных лиц, облеченных полным доверием и могущих маневрировать по своему усмотрению.

И Брут и Сервилий люди немолодые – обоим за сорок лет, образованные, искушенные в дипломатических делах. Они, по всей видимости, были вправе рассчитывать на успех. Если только, – и это многие подчеркивали в Риме, – если только Сулла не сошел с ума, если осталось в нем чувство реальности и патриотизма. Ибо ни один истинный римлянин не должен идти на заведомый позор. А таким позором явится сражение римлян под стенами собственного города...

Сулла встретил трибунов в самом затрапезном виде: заспанный, непричесанный, с мешками под глазами. После ночной пирушки он выглядел помятым, бледным. Его голубые глаза сделались водянистыми, злыми, как бы ничего не видящими. Его не первой свежести туника несла на себе следы чрезмерных возлияний. Да и соусы оставили на ней след. Одним словом, Сулла и пальцем не пошевелил, чтобы показаться более опрятным, чтобы подостойней встретить римских посланцев.

На предложение Эпикеда сменить тунику Сулла заметил, что не намерен метать бисер перед свиньями из Рима. Эпикед пожал плечами и не стал увещевать своего господина.

Вполне возможно, что Сулла и был прав. Полководец заметил слуге, чтобы его слышали и другие приближенные:

– С людьми, которые топчут республику и ее традиции, я намерен разговаривать в том виде, которого они заслужили.

Когда военные трибуны вошли в палатку, Сулла спросил их, не поздоровавшись:

– В чем дело?

Сервилий поклонился подчеркнуто почтительно.

– Я не иностранный правитель, – грубо сказал Сулла, – и не нужны мне эти ваши идиотские почести. Обойдусь без них! Я простой солдат, сердце которого обливается кровью при виде безобразий, творящихся в Риме. Друзей моих там избивают, сбрасывают с Тарпейской скалы, мучают в Мамертинском застенке. Унижают на каждом шагу людей из самых знатных, старинных родов. Это – величайшее преступление против великого римского народа. Разве таких правителей заслужил народ? Для того ли существует Рим вот уже шесть веков, чтобы на Палатине и на Капитолии правили старые шлюхи вроде этого Мария? Ответствуйте мне, для того ли?!

Сулла кричал, размахивал руками, топал ногами, ругался последними словами. Он не дал и рта раскрыть Бруту и Сервилию. Сулла повторял:

– Для того ли?

Голос полководца был слышен далеко за пологом его палатки. Его военачальники внимали ему с почтительной улыбкой, между тем как римские посланцы в холодном спокойствии стояли перед ним. И молчали. Молчали, молчали, молчали. И это особенно бесило Суллу.

– Молчите?! – кричал он. – В рот воды набрали?! А что у вас, собственно, за душой? Что вы можете сказать в свое оправдание или в оправдание тех, кто вас послал сюда? Что?!

Эпикед подал Сулле чашу с холодной водой и тот с размаху бросил ее на землю.

– Вы почему явились сюда? – продолжал Сулла, неистово напрягая голос. – Для чего? Чтобы почтить приветствием мое войско? Чтобы выразить ему свое уважение? Как бы не так! Вы явились для того, чтобы хитростью и лестью ввести нас в заблуждение, чтобы лишить нас чести воевать с Митридатом и добыть славу для Рима и для себя, богатство – для Рима и для себя. Вот зачем вы явились! Передайте вашему старикашке, что мы не продаемся за деньги, не поддаемся лести и не верим лживым словам! Человек, который задушил республику, оплевал древние наши обычаи, залил кровью улицы Рима – кровью лучших сынов народа! – не имеет никакого морального права предлагать мне что-либо, кроме своих извинений. Это вам ясно?

Брут сказал спокойно, с достоинством истинного римского патриция:

– Ты можешь приказать своим солдатам убить нас, как это сделал совсем недавно в Поле...

– Я никому не приказывал, – перебил его Сулла.

– Допустим. Я повторяю: ты можешь убить нас здесь, в Альба-Лонге. Это твое дело. Но прежде, я полагаю, надо выслушать нас. Ибо свидетели боги: мы не успели еще и рта раскрыть, а ведь мы явились с разумным предложением.

– С разумным? – усмехнулся Сулла и спросил Фронтана, стоящего справа от него: – Ты им веришь?

Фронтан сказал:

– Ни капельки.

– Видите! – злорадно произнес Сулла, обращаясь к посланцам.

– И все-таки, – заметил Фронтан, – я бы их выслушал.

Сулла уставился на него водянистыми глазами. Не шутит ли этот военачальник? Вполне ли серьезно это он?..

– Да, – произнес Фронтан.

– Ну что ж... – Сулла уселся на скамью. Небрежно бросил: – Подайте скамьи трибунам...

Римляне не обращали никакого внимания на этот высокомерный тон, на желание Суллы унижить их, нанести им преднамеренное, заранее рассчитанное оскорбление.

– Так что же вам надо? – прохрипел Сулла, глядя куда-то в сторону.

Брут сказал:

– Мы бы желали, чтобы сейчас на этом месте возобладал рассудок над страстью. Страсть в политике, доведенная до злобы, – плохой советник. (Сулла скривил губы.) Мы уполномочены сенатом...

– ...и этой старой шлюхой, – добавил Сулла, скрипнув зубами.

– ...сенатом, – невозмутимо продолжал Брут, – сделать тебе продуманные, достойные предложения. Эти предложения не должны, разумеется, ронять чести и высокого авторитета Римской республики перед всем миром. (Сулла, казалось, едва сдерживает себя, чтобы не расхохотаться.) Рим при всех обстоятельствах – насколько это во власти его сынов – должен сохранить свой непоколебимый авторитет. Народы мира должны в нем по-прежнему видеть монолит, а не организм, снедаемый противоречиями и подтачиваемый изнутри тяжелым недугом.

Сулла не выдержал:

– Послушай, как твое имя?

– Брут.

– Послушай, Брут, ты разговариваешь со мной, как с персидским правителем. Ты не хочешь понять, что я плюю на церемонии. Я – солдат, мне важно существо дела, а не

риторика. Для словесных упражнений лучше всего отправиться в Афины, в Академию. Там теперь только и болтают за неимением подходящего дела и вследствие полной импотенции. Ты меня понял или нет? Философия не для меня. Понял?

Брут выдержал паузу и продолжал:

– Конечно, вы можете убить нас...

Сулла сказал:

– Никто не собирается вас убивать. Кому вы нужны, между нами говоря?

Брут изложил предложения Рима, которые сводились к следующему: надо покончить дело миром, всякое военное столкновение поведет к междоусобице, а это выгодно только врагам Рима; любые законные требования Суллы будут удовлетворены; вопрос о командовании экспедиционным войском должен быть решен благоразумно, к общему согласию и на благо республики.

– Все? – спросил сквозь зубы Сулла.

– Пока – все, – ответил Брут.

Сулла оборотился к Фронтану:

– Ты желал услышать то, что слышал только что?

Фронтан молчал.

– Разве не ясно, что эти господа с Капитолия морочат нам голову? Они полагают, что у нас задницы вместо голов. Покажи им, Фронтан, где у нас головы и где задницы.

Фронтан доподлинно точно продемонстрировал анатомию своего тела.

– А теперь ясно? – спросил Сулла римлян.

– Вполне.

– Извините нас за грубость, но мы – солдаты, – сказал Сулла. В его глазах начал гаснуть ярко-голубой оттенок.

– Нам все ясно, – сказал Сервий. – Мы не в обиде, ибо мы пришли не затем, чтобы обижаться.

– А зачем же?

– За ответом на наши предложения.

– Но ведь такие предложения означают, что вы имеете дело с побежденными...

– То есть?

– А очень просто! – Сулла сжал кулаки. – Можно ли вовлекать нас в переговоры, не обещая ровным счетом ничего?

– Как так – ничего? – удивился Сервилий.

Сулла выставил кулаки напоказ:

– Вот – мы. А вы хотите, чтобы мы расслабили пальцы и подали вам руку. И тогда вы зажмете нам пальцы деревянными, неумолимыми тисками, какие употребляют палачи в Мамертинской тюрьме. Вы будете смеяться, а мы – рыдать от боли. Вот что вы предлагаете.

– Это не так! – запротестовал Брут.

– А как же? – Сулла размахивал кулаками.

– Я снова повторяю во всеуслышание: все законные требования твои будут вполне удовлетворены.

– Законные! – воскликнул Сулла, и кулаки его сшиблись в воздухе. – А кто определит их законность?

– Мы вместе с тобой.

– Голосованием, что ли?

– Может, и так. Способ в данном случае неважен. У нас в этом смысле богатые традиции.

– У вас – да, – двусмысленно произнес Сулла»

– Я снова могу повторить...

– Не надо!

Сулла задумался. Медленно-медленно тер себе щеки. Тер себе лоб. Покашливал. Не глядя ни на кого.

Брут и Сервилий почувствовали, что ничего путного из этих переговоров не получится. Суллу окружали тупые, одеревенелые лица. Истые солдафоны. Готовые на все по первому приказанию своего начальника. Ссылаться в беседе с ними на высшие принципы государства, общества или личности – пустая трата времени. Это видно по их рожам – раскормленным, скотским. Взывать к их человечности и благоразумию – значит рассчитывать на милосердие льва, целую неделю проведенного в жестоком посте. Эти люди признают один закон – закон меча. Если меч острием своим приставлен к их кадыку – это одно дело. Если же, наоборот, острие упирается в глотку их противника – дело совершенно другое. Закон в их сознании претерпевает метаморфозу только и только в зависимости от направления меча. При таком положении вещей успех переговоров маловероятен. Надо надеяться, что здесь не все зависит от желания этих солдафонов, что Сулла, как бы он ни был жесток и коварен, может понять кое-что, хотя бы из самых крайних эгоистических соображений. Из шкурных, как говорят в Остии.

Сулла глухо промычал:

– А много моих друзей убивают в Риме?

Брут ответил с готовностью:

– Все эти слухи преувеличены.

– Как?!

– Были прискорбные убийства. Не без этого. Все это случается, когда возникают беспорядки. Не всегда разбирают, где правый, где виноватый.

– Ложь! – процедил сквозь зубы Сулла.

– В Риме сейчас царит порядок...

– Ложь!

– За несправедливое кровопролитие закон строго карает виновников...

– Ложь!

Римляне были тверды:

– Сенат принял строгие меры к наказанию убийц...

– Все ложь!

Брут развел руками:

– Я даже не знаю, что и говорить...

– Потому что сказать нечего!

– Я могу поклясться богами.

Сулла сощурил глаза. Он как бы мысленно рассчитывал, что лучше: выкинуть этих трибунов со всеми их потрохами за порог или выпроводить их с большим или меньшим почетом?.. Или же отдать на растерзание толпе солдат?

Его продолжительное молчание наводило страх на окружающих. Но римские трибуны, казалось, были совершенно безразличны к тому, что происходит в глубине души этого полководца. Они ждали. Они ждали его решающего слова.

А Сулла все молчал. Казалось, что полководца теперь уже ничто не волнует. Его мрачная душа мысленно находилась в Риме. Взору рисовался зеленый Палатинский холм, высокий и гордый Капитолий, где он никогда еще не был подлинным хозяином. Но сейчас, в эту минуту, как человек многоопытный, изощренный в делах хитроумных, всем сердцем чувствовал себя на высоте Капитолия. Перед ним великий город, и нет преграды, которая остановила бы его. Надо ли это доказывать? Кому-нибудь или самому себе. Видимо, нет. Он почему-то вспомнил Филениду. Много их, филенид, было, и многое бывало. Но подобной, пожалуй, нет. В этом молодом существе женского пола скрывалось нечто

особенное. Никто бы в мире не смог объяснить, что есть это «нечто». Оно тем и прекрасно, что необъяснимо. Необъяснимо, – значит, непонятно. Но непонятно – не значит плохо. Напротив, непонятное, необъяснимое очень часто бывает столь притягательным, что больше не хочется жить без этого «нечто».

Было бы смешно объяснять какому-нибудь опытному мужу, сколь прекрасна Филенида, что в ней необычного... Может, проще все объяснить, сосчитав, например, количество лет ее жизни? Это же очень просто. И в то же время – разве Сулла не знал женщин этих лет? Разве только года определяют достоинства прекрасного?

Он так увлекся своими мыслями, что поманил к себе Эпикеду и шепотом спросил его, где эта прелесть, эта душа его – Филенида?

– Она здесь, недалеко от лагеря, – ответил слуга.

– Я хочу ее видеть.

Эпикед удивился.

– Возможно ли? – спросил он. – Возможно ли сейчас?

Сулла словно бы пришел в себя. Оглядел своих собеседников. Махнул рукою. И сказал Эпикеду:

– Ладно... Передай ей слова любви. Немедленно!

И снова махнул рукою. И вперил усталый взгляд в Брута.

– Что ты сказал? – прохрипел Сулла.

– Ничего.

– Мне слышалось?

– Возможно.

Сулла мизинцем прочистил правое ухо.

– Слышалось? – переспросил он.

Брут пожал плечами, – дескать, ведать не ведаю.

– Ты что-то хотел сказать? – обратился Сулла к Фронтану.

– Нет.

– А ты? – Сулла протянул руку, словно пытался дотронуться до Сервилия.

– И я, – проговорил Сервилий решительно.

– Значит, мне слышалось... – Сулла продолжал неистово ковырять мизинцем в ухе.

Потом скрестил руки на груди. Опустил голову. И сказал едва внятно:

– Ну что, эта ваша сволочь ничего более путного не придумала?

Трибуны восприняли этот вопрос как пощечину. Видимо, их терпение истощилось. Они разом, как по команде, поднялись с места.

– Что? – усмехнулся Сулла. – Обиделись? За этого старикашку обиделись? А? – Он повысил голос: – Видишь, Фронтан, как оскорбились эти господа? Очень, очень обиделись. Разумеется, слух их привык к другим словам. Их ухо ласкали слова, которые без конца льются из уст ораторов на римском форуме, в сенате, на Капитолии. Какие воспитанные!

Сулла вскочил с места. Прыгнул к Фронтану.

– Нет, ты видишь? – кричал он неистово. – Ты видишь?

– Успокойся, Сулла, – сказал Фронтан. – Мы поговорим с ними за твоим порогом. Здесь неудобно.

Сулла поднял вверх правую руку:

– Нет, Фронтан, нет! Так не будет! Самое большее – это разорвать на них тоги... Вернее, сорвать эти пурпурные ленты. И дать им пинка под зад. Только не очень. Слышишь? Чтобы душа с другого конца не вылетела!

Его желание вскоре было исполнено. В точности.

9

Возвращение Брута и Сервилия в Рим с пустыми руками вызвало глубокое уныние всех мыслящих квиритов, а то место в их рассказе, где говорилось о надругательстве солдат над посланцами, вызвало огромное возмущение. Сенат заседал непрерывно в храме Беллоны, что на Марсовом поле близ цирка Фламиния. Проекты выдвигались различные: одни предлагали немедленно ввести чрезвычайное положение, а Суллу объявить врагом отечества; другие советовали, несмотря на все, не жалеть усилий для мирных переговоров, во что бы то ни стало уладить дело миром.

Марий колебался: ему не хотелось провоцировать Суллу на внезапный бросок на Рим. Ему казалось, что и Сулла колеблется в выборе тактики. По всему было видно, что римляне клеймили презрением нового Ганнибала, нет, не Ганнибала, хуже, ибо этот угрожает кровопролитием своему родному городу.

Все это, несомненно, говорило в пользу Мария. Однако Марий прекрасно понимал и то, что для такого человека, как Сулла, все средства оправдывают цель. Что ему до мнения квиритов? Что ему высокие идеалы республики? И какое для него имеет значение, что станут говорить о его походе против Рима историки или поэты? Ровным счетом никакого! Марий знал его, как никто другой, знал как облупленного и не заблуждался на этот счет. Военное превосходство имело в данном случае для Суллы решающее значение. Разве посчитается он при таком положении с какими-нибудь моральными соображениями? Вопрос стоит так: сейчас или никогда! Если Сулла и медлил, то не потому, что испытывал угрызения совести. Марий знал цену этим угрызениям. Дело затевалось слишком

большое, и Сулла, по-видимому, не желал рисковать. Его, как видно, устраивали только все сто процентов военного счастья.

Марий много и мучительно размышлял. Он еще больше поседел и постарел за эти последние дни. Понимал, что не должна быть допущена малейшая оплошность. Нельзя давать в руки Сулле никакого преимущества. В ответ на его разглагольствования о республике, которую, дескать, оседлали тираны, необходимо показать власть сената, власть народа. Если бы кто-нибудь мог влезть в душу Суллы, тот наверняка бы ужаснулся сходству ее с мрачным подземельем, в котором кипят самые низменные страсти. Только Марий может обо всем атом судить безошибочно. Только он по-настоящему может оценить беду, которая нависла над Римом, над всей республикой. А сенат, по мнению Мария, интересовался главным образом непосредственными последствиями открытого столкновения с Суллой и его приспешниками. И мало кто думал о судьбах самого римского народа, о будущем, на которое могут иметь самые пагубные воздействия события сегодняшнего дня.

Один из ораторов говорил в сенате: «Мужи многомудрые, взгляните на поступок Суллы глазами галла или испанца, тевтона или скифа. Что они подумают о нас, узнав, что один римлянин, собрав войско, идет походом на Рим? Разве не учтут сего ужасающего дела в Египте или в Мавритании? Даже грекосы, – проведая обо всем этом, – и те подымут голову».

Другой оратор сказал: «Я обращаю ваше внимание, о сенаторы, на главнейшую сторону сложившейся ситуации. Междоусобица всегда ослабляет государство. Если не погасить огня в самом зародыше, мы проиграем нашу кампанию в Малой Азии. Ибо Митридат попытается извлечь всю возможную для себя пользу из наших ошибок. Поход Суллы на Рим, даже едва скрываемая военная угроза Риму, есть, несомненно, грубая ошибка. Наш долг сделать все возможное, дабы скрасить неприглядность его поступка».

Из этих двух цитат видно, сколь поверхностно, по мнению Мария, оценивали вызов Суллы сенаторы и даже сенат в целом. Трагедия состояла в том, что мало кто смотрел далеко вперед, а если и смотрел, то не видел смертельной угрозы ни для Рима, ни для себя лично. Это было просто удивительно!

Когда же Марий требовал более быстрых, более решительных мер, ему мягко советовали отбросить личную неприязнь к Сулле, подняться над нею и мыслить только в государственном масштабе. Все это очень огорчало Мария. Люди – а среди них были и проницательные, казалось бы, – не могли уразуметь истинной сущности происходящего. Это не взрыв обычного тщеславия обычного полководца. Речь идет не об уязвленном самолюбии полководца, считающего, что он заслужил больше славы, более достойного триумфа. Дело значительно глубже, значительно опаснее. Будет ли время для раскаяния? Если верх одержит Сулла, то, полагал Марий, мышеловка прочно захлопнется и выхода из нее больше не будет. Многие убеждали Мария в том, что он слишком мрачно смотрит на вещи, слишком субъективен, – настолько, что сам лишает себя трезвой оценки действительности.

Марий предвидел трагедию. Так ему казалось. Он говорил; «Трагедия неминуема. Боюсь, что это будет концом республики. И чем больше Сулла твердит о демократии и корит «римских тиранов», тем страшнее становится мне».

Само собою разумеется, что Марий ненавидел Суллу. Сулла распускал слух, что Марий просто-напросто завидует его военной судьбе, что не может простить ему пленения

Югурты и многого другого. Была ли в этом доля истины? Вероятно, была. Как издревле говорили в Вавилоне, все люди – человеки. В любом римском квартале были осведомлены о том, что Сулла и Марий – это собака и кошка. А на Палатине были известны все тонкости их взаимоотношений.

Бедный Марий! Он делал все, чтобы казаться немного помоложе и покрепче. Занимался гимнастикой на Марсовом поле, играл в юношеские игры (во всяком случае, пытался), соблюдал некую омолаживающую диету, скакал верхом. Вставил себе прочные зубы, для чего ездил к какому-то прославленному врачу в Диррахии, красил волосы египетским зельем, на груди и на ногах удалял волосы особым персидским порошком, который наподобие грязи, если размешать его на воде (поэтому порошок этот называют еще и персидской грязью). И это не все: Марий покрасил розовой краской ногти на руках и на ногах, словно сквозь них просвечивала молодая, розовая кровь. В Риме знали эту его слабость и втихомолку подтрунивали.

Старинная знать, обосновавшаяся на Палатине, пыталась разобраться в развертывающихся событиях. Если бы речь шла об иноземном нашествии или восстании рабов или италийских народов, то положение было бы предельно ясным. Каждый патриций поступал бы соответственно со своими обязанностями. Они, эти обязанности, давно известны, освящены веками, передаются из рода в род. А здесь? Как поступить сейчас?

Если послушать Суллу – он всей душой, всем сердцем за сенат. У него вроде бы одна забота: вернуть сенату все права и ни в коем случае не ущемлять их. Если верить Сулле – он истый оптимат, сторонник крупной аристократии, и все помыслы его направлены на сохранение и укрепление патрицианских привилегий. Одним словом, свой человек.

А Марий? Этот не скрывает, что он – популар. Он нравится ремесленникам, крестьянам, мелкой знати. Но если уж говорить откровенно, он и крупную знать не особенно притесняет.

Наверное, все-таки предпочтительней Сулла. С точки зрения патрициев, сенаторов. Но можно ли полностью доверять его словам? Это человек своенравный, крутой характером. Кто поручится за то, что слово его не расходится с делом?

Но еще важнее другое: кто победит – Марий или Сулла? И как отразится все это на латифундиях, на виллах, на доходах? Это – главное.

Мантика была пущена на полный ход. Восточные и прочие мудрецы – нарасхват. Этруссские тайнства и премудрости ожили необычайно. Всех волнует одно: что будет? Какого образа мыслей держаться? Сулла или Марий?

Если бы можно было преобразиться в существо бесплотное и если бы пройтись по палатинским дворцам в эти дни, – много любопытного можно бы услышать и увидеть. Что только не пророчили!

Некий старец, выдававший себя за потомка известного египетского жреческого рода, гадал на свежей печени ягнят. Не каждая печень, оказывается, годилась для мантики. Бывало и так, что за вечер закалывали небольшое стадо в десять – пятнадцать голов. Прежде чем приступить к прорицанию, требовалось съесть всех животных, коих заклали. А уж потом – после таинственных возлияний – приступали к гаданию.

Разгоряченное вином воображение рисовало самые причудливые картины. Слушатели, тоже возбужденные вином, сами дорисовывали то, что почему-либо упускал прорицатель.

Вот что нагадал этот гадатель во дворце Юлиев: «Кровеносный сосуд, явственно обозначенный на гладкой поверхности печени, раздваивается. Одна жила ведет к краю, который зовется в просторечии Чистое поле, а другая – вовнутрь, туда, где начинаются желчные протоки. Это не совсем хороший признак. На этот бугорок, разделенный надвое углублениями, как бы дольками печени, взойдет человек очень желчный характером. Он будет править с этого бугорка, в котором легко признать Капитолий». На вопрос: кто же этот человек? – гадатель ответил: «Желчный характером». После чего впал в полное беспамятство.

Другой гадатель, явившийся с гор Этрурии, предсказал: «Марий разбивает Суллу. Сулла бежит на Север. Галлы его хватают, обезглавливают, и голову его торжественно преподносят Марию на форуме». Это прорицание мигом облетело весь Палатинский холм. Все было сказано столь точно, недвусмысленно, что не допускало двух толкований. Ни одно прорицание последнего времени не было столь определенным. Этот прорицатель был известен во всей Сицилии своими предсказаниями: из девяти его крупных гаданий сбылись восемь. Именно столько раз восставали рабы в течение одного года на крупных латифундиях.

А Марий не верил. Не подпускал к себе друзей, которые шли к нему с разными слухами и прорицаниями. Ему уже под семьдесят. Жизнь была прожита немалая. Не раз доверял ему римский народ консульскую власть. Он служил Риму верой и правдой. Ему несли сведения не прорицатели, но – что важнее – соглядатаи. А сведения эти были довольно плачевные: Сулла день ото дня становится сильнее его. Военное превосходство его совершенно явное. Отзывать легионы из Испании или Галлии – напрасный труд: они все равно не поспеют. Марий отдавал себе отчет в положении вещей. А сенаторы просто раздражали: каждый из них молол несусветную чушь...

Когда однажды сенаторы особенно горячо обсуждали создавшееся положение и никто не мог предложить панацеи, глашатаи вдруг известили о прибытии гонца от Суллы. И на кафедру был положен довольно большой пергаментный свиток. Он содержал послание сенату от Суллы.

Сулла писал:

«Многоопытные и уважаемые римские сенаторы! В тяжелые дни пишу я это послание: великий город, великое государство ждут нашего общего согласия на благо республики, а мы, полные взаимного недоверия и подозрительности, ищем часа удобного, дабы схватить друг друга за глотку.

Будучи предан традиционным идеалам республики, я пришел теперь к выводу, что нам действительно следует по здравом размышлении найти общий язык с тем, чтобы, избежавши кровопролития, сойтись на дороге мира. Что может сулить нам иной путь? Давайте подумаем вместе, ибо мир с надеждой взирает на нас и ждет благих вестей из этого великого и вечного города.

Подписал: С у л л а».

Марий был приглашен на заседание сената. Он прочитал послание Суллы. Перечитал его. Не проронил ни слова. Слушал внимательно выступления сенаторов. Говорить ему вовсе не хотелось. Но все ждали его слова. Наконец взошел на кафедру и задал вопрос:

– Все читали это послание?

– Все! – раздались голоса.

– Вы верите этим словам?

Наступило неловкое молчание. Сенаторы сидели строгие, встревоженные. Марий потирал влажной ладонью свой высокий, чуть нависающий над бровями лоб. Он ждал. Но сенаторы молчали.

– Я скажу за себя: я не верю этому посланию. Ни на асс не верю, – сказал Марий.

– Почему? – понеслось из зала.

– Чтобы поверить – надо знать человека, подписавшего это письмо. На словах – за вас. Дай ему власть – первыми полетят ваши головы. Ваши! Слышите?

Сенаторы продолжали хранить молчание. Чувствовалось, что Марий не убедил их в чем-либо, не доказал неискренности послания.

В конце концов, что плохого предлагает Сулла? Переговоры? Но ведь это и есть то, чего добивался сенат. Следует ли сеять сомнения, если Сулла принимает предложение сената?

Марий начал свою речь следующим образом:

– Сейчас не время для торжественных славословий, для пространных заявлений и маневрирования. Бьет час: либо мы сейчас же, немедленно примем решение и приложим все силы для его быстрейшего исполнения, либо сдадимся на милость того, кто рвется сюда и жаждет власти. Я бы сказал так: диктаторской власти. Вы спросите меня: откуда все это мне известно? Ведь в руках у нас документ, подписанный Суллой. Все это так. Но вас ничего не смущает?

– Что именно? – спросил один из сенаторов.

– Скажу что: где те люди, которые привезли это послание? Ждут ли они нашего ответа? Каковы их полномочия?

Никто не ответил на эти вопросы. А магистраты не смогли сыскать гонца, привезшего послание.

– Кто же доставил письмо? – спросил Марий.

Но так и не получил надлежащего ответа.

– Вот видите, – сказал он с укоризной. – Меня смущает это обстоятельство. И я задаю себе вопрос: а нет ли здесь подвоха, самого банального, рассчитанного на дураков?

В зале послышалось шарканье ног. Сенаторы недоуменно переглядывались: неужели Марий идет на оскорбление? Марий понял их.

– Я никого не желаю обидеть, – продолжал он. – Я не люблю, когда кто-нибудь надеется найти во мне дурака, человека недальновидного. Так можно поступать только тогда, когда перед тобою дети, а не опытные мужи. Но, кажется, нас принимают за дураков или несмышленных детей. Я не буду касаться будущих планов Суллы. Своими предсказаниями кой-кому уже изрядно надоел. Повторяться не хочу. Да и не нужно это. Я разрешу себе привести здесь рассказ одного испанца, живущего за Пиренеями. Говорят, что Ганнибал попытался склонить на свою сторону жителей горного городка. И он сказал им: «Вот вы – сильный и красивый народ. Живете по своим обычаям, и нет над вами власти ни у кого, кроме богов. И нет силы, которая могла бы подчинить вас себе, ибо доступа к вам нет. Только боги вольны над вами. Я предлагаю вам свою дружбу и с этой целью приглашаю весь ваш народ на пир. На пир по нашему карфагенскому обычаю, когда пируют за одним столом сотни и тысячи. Или вы сойдите к нам в долину, или мы явимся к вам». Предложение на первый взгляд хорошее, доброе. Нельзя его не принять. Но вот загвоздка: идти ли в долину или звать в горы, в собственный город? Одни говорят: «Не надо в город, это все равно что пустить в крепость без боя. Лучше спуститься в долину». А другие говорят: «В долину, – значит, добровольно лезть в полон. Это очень глупо – отдаваться во власть Ганнибала. Лучше позвать его в город». Поднялся спор. Победили те, которые стояли за то, чтобы Ганнибала пригласить в город. Вот и все.

– Но разве это конец рассказа? Чем же все завершилось? Миром? Дружбой?

Марий улыбнулся:

– Чем завершилось? Разве вам не ясно? Разве можно было верить слову Ганнибала? Разве не безразлично, идти ли к нему или звать его к себе? Случилось так, как предсказал один старик горец: «И в том и в другом случае – нам конец». Все вышло по его словам. Ганнибалу не пришлось даже пальцем шевелить – город был у его ног!

Марий сошел с кафедры. Но не успел он сесть на кресло с высокой спинкой, как вбежали магистраты, крича:

– Эсквилинские ворота заняты! Эсквилинские ворота заняты!

Марий изменился в лице. Он подобрал концы своей тоги, подал знак сателлитам-телохранителям и покинул храм Беллоны, чтобы командовать войском. И с порога крикнул сенаторам:

– В мечи, господа, в мечи!

Его тревожило одно: не слишком ли все поздно?

10

Что же случилось в этот день?

Сулла, приготовив послание, снарядил гонца в Рим. Но не торопился отпускать его от себя. Тем временем он вызвал к себе Фронтана и приказал ему послать двух центурионов – Гая Муммия и Люция Басила – с тремя манипулами легковооруженных к Эсквилинским воротам. Этому отряду надлежало захватить ворота и держать их свободными для прохода

войска. Держать при всех обстоятельствах, любой ценой. Этот его приказ был исполнен в точности: когда в храме Беллоны читали послание Суллы, Гай Муммий и Люций Басил уже стояли в воротах. И вскоре за ближайшими холмами показались серебряные стяги легионов Суллы...

Эти сведения доставил башмачнику Корду его коллега и ближайший сосед по имени Крисп. Корд в это время прибивал гвозди к старому башмаку. Слушая рассказ соседа, он не переставал работать. Однако междометиями давал ему понять, что слушает внимательно.

Это был толстый, чумазый мужчина средних лет. Из вольноотпущенников. О своей родине – Фракии – он сохранил весьма смутные воспоминания, ибо еще юношей был продан в рабство. Собственным горбом, прилежанием и преданностью он добился – правда, не так давно – долгожданной свободы. Его симпатичный хозяин Корд Секунд отпустил его, ознаменовав тем самым тридцатипятилетие добросовестного служения своего слуги-раба. Корд, унаследовавший это имя от господина, с детства шил башмаки. И это ремесло пригодились ему на свободе: оно давало ему вполне безбедное существование. Его молодая жена и годовалый сын были счастливы: амфора с вином, хлеб и оливы не переводились в доме. А что еще надо римлянам, которые живут не на вилле, а на пятом ярусе огромного дома?

Что же до Криспа – это был человек молодой, с точки зрения барышень его квартала – «не очень старый»: тридцать лет от роду. Из потомственных римских вольноотпущенников, не ставших в течение века настоящими квиритами – полноправными гражданами. Одно время этот Крисп занимался в гладиаторской школе. Его специальностью в двадцать лет была битва с дикими, кровожадными животными. Говорят, однажды Крисп одолел даже тигра, выступая в цирке Фламиния на Марсовом поле. Ему доводилось убивать льва вместе со своими товарищами-гладиаторами в Большом цирке – можно сказать, первом цирке среди италийских городов. На вид это не был богатырь, но сложением своим, но статью своей он выделялся среди сверстников. Ему предлагали сменить специальность бестиария на более выгодную – велита или ретиария. Ему пророчили большую будущность, широкую известность и богатство. Но Крисп заявил, что ему претит кровь гладиаторов, что он не подымет руку на человека в цирке. И без дальних слов Крисп бросил навсегда эту этрусскую кровавую игру с жизнью и смертью. И, к удивлению родных и друзей, занялся столь низменным занятием, как работа башмачника. Это даже удивительно: гладиатор и вдруг – башмачник!..

Свой рассказ о наступлении Суллы Крисп заключил следующими словами:

– Послушай, Корд, оставь шило и скажи, что делать?

Корд удивленно вскинул воловь глаза.

– Шить башмаки, – ответил он, не задумываясь.

– Как?! – возмутился Крисп, и его красивое лицо покрылось гневным румянцем. – Через час в городе начнутся бои, а ты будешь тачать эту штуковину?

– А что?

– Ведь ты же не чурбан бездумный!

– Возможно. И что же из этого следует?

– Чью сторону ты будешь держать?

Корд вынул изо рта мелкие гвозди, чтобы случайно не проглотить их.

– Ты откуда взялся? – спросил он вполне серьезно.

– От Эсквилинских ворот взялся. – столь же серьезно ответил Крисп. Его худое, длинное лицо было суровым. Густые брови над глазами тоже сурово сдвинуты. – Что же дальше?

– И все, что говоришь, видел собственными глазами?

– Разумеется, Корд.

– И ты воображаешь, что ты все еще гладиатор?

– Я хочу сражаться...

– Против кого?

– Против Мария, – сказал решительно Крисп.

– Почему – Мария? Против популяров, значит? За оптиматов, значит?

Крисп присел на порожек. По-видимому, беседа грозила затянуться. Да и стоя на ногах значительно труднее объяснить, почему следует бороться именно против Мария и его сторонников. Корд просто поражался, глядя на этого странного башмачника Криспа. Неужели Криспу надо больше других? И какое ему дело, кто с кем борется в Риме? Разве не проще сказать: да пусть разбивают себе головы эти римские патриции! Это их личное дело. Можно смело сказать, что ни Марий, ни Сулла вовсе и не помышляют о том, чтобы угодить Криспу. Крисп может быть вполне спокоен на этот счет: о его существовании не подозревает ни один, ни другой полководец. Более того, Корд может совершенно успокоить своего коллегу: если Крисп падет за смертью – Сулла не станет его оплакивать, он не прибьет к дверям Криспа кипарисовую ветвь и не примет участия в поминальном обеде на девятый день после смерти. Ну как – устраивает это Криспа?

Крисп запротестовал. При чем здесь поминальный обед? При чем кипарисовая ветвь? Если в отечестве происходит нечто серьезное, надо всем, буквально всем братья за оружие и отстаивать правое дело.

Но пессимизм Корда не имел границ. Он не понимал, например, что такое правое дело? Это просто благоглупость, которую повторяют некоторые сенаторы-болтуны. Никакого правого дела в Риме нет и быть не может! Помогать Сулле – это значит помогать знати. Это значит бороться за сохранение их латифундий, за их виллы, за их доходы. Помогать Марию – это значит тоже помогать знати, только той, которая помельче... Можно посоветовать одно, а именно: держаться подальше от этих вооруженных до зубов людей. Ни в коем случае не ввязываться в их ссору – вот высшая мудрость.

– Э, нет! – воскликнул Крисп. – Это совет не для меня. Сулла восстал против старых, которые не желают перемен в правлении. Марий все больше тяготеет к диктаторству, к тирании. Он популярен только на словах. В его возрасте правителю легче повелевать, чем

убеждать и советоваться. А Сулла моложе. Сулла настоящий мужчина. Он – за республику.

– Ты уверен? – зло спросил Корд. Он отставил свою работу в сторону.

– Уверен!

Корд замахал руками, словно отгонял от себя обнаглевшую мошкарку.

– Вранье! – сказал он визгливо. – Сплошное вранье. Если тебе надоела жизнь – можешь сбегать за мечом и броситься в самую гущу боя. Только непонятно, зачем ты бросил цирк. Ты ведь говорил, что кровь тебе надоела.

– Это разные вещи. Сулла сражается не ради потехи, а ради республики.

– Ладно, иди сражаться. А я посмотрю за твоей вдовой. Кстати, она мне очень нравится.

– Я знаю, – проворчал Крисп. – Когда ты налижешься, вечно рвешься к нам, чтобы разок ущипнуть мою Филомелу.

– Ну это ты, брат, напрасно... – обиделся было Корд. – Я же к тебе по-братски.

– Я говорю не о себе, Корд, а о Филомеле.

Корд засопел и снова принялся за работу, ворча себе под нос невнятные проклятия. Ни к чему было вести этот разговор о Филомеле, и Крисп снова вернулся к волновавшей его теме. Он сказал:

– Видишь ли, Корд, дело оборачивается странным образом. Поэтому имеет смысл немного призадуматься. Я это говорю не к тому, чтобы склонить тебя на сторону Суллы.

Корд яростно замахал на эту бессовестную мошкарку. И завизжал так, словно его душили:

– Да плевал я на всех твоих полководцев. Вот с высоты этого пятиярусного здания плевал! Что ты пристал ко мне? Что мне даст твой Сулла? У него предостаточно прихлебателей среди знати! Он что – обо мне думает?

Крисп мрачно спросил:

– А разве Марий тебя озолотил?

– Что Марий, что Сулла – мне все равно!

Корд визжал почти по-пороссячьи и обратил на себя внимание соседей. Первым долгом откликнулся на этот визг колбасник, торговавший напротив. Он пересек узкую вонючую улицу и пробасил:

– Что здесь происходит?

– Ничего, – сказал Крисп.

– А из-за чего тогда этот визг?

– Спроси у него! – Крисп кивнул на Корда, продолжавшего размахивать руками.

Во избежание кривотолков Крисп решил ввести колбасника в курс дела. Но не торопился, потому что сюда направлялся и зеленщик по имени Марцелл – довольно противный тип, который сует нос во все дела: такой высокий, худущий, лет сорока. Наверное, потомок каких-нибудь приبلудных финикиян из Остии. От него все равно не отвяжешься – придется рассказывать сначала. Лучше подождать...

В беседе, таким образом, приняли участие уже четверо. Смекалистый Крисп подумал, что один из четверых – наверняка полицейский доносчик. Им мог быть только Марцелл. Тут нечего было раздумывать. Колбасник был человек прямой, он резал правду-матку так, как резал луканскую колбасу: долго не размышляя, не примериваясь, не робея. Трудно было в нем заподозрить соглядатая. А уж о Корде и говорить нечего – его самого не раз тягали в этот самый участок, который за углом. Там молодчики все как на подбор: попадешь к ним – побреют так, что и не очухаешься. Брили там в основном при помощи розог и мокрой рогожи. Одним словом, они были мастера приводить в чувство не только воришку, но и болтливого ремесленника, недовольного действием властей.

Крисп, на этот раз особенно тщательно взвешивая слова свои, высказал мнение о том, как следует реагировать на происходящие события. Правда, на этот раз он умолчал о том, на чьей стороне следует бороться, не называл никаких имен. На Рим идут легионы (чьи – не сказал). Риму, наверное, придется защищаться. Как быть?

Корд обомлел: вот пройдоха этот Крисп, дело повернул таким образом, что отвечать на вопросы придется колбаснику и зеленщику.

Начнем с того, что ни тот, ни другой не знали ровным счетом ничего о легионах, идущих на Рим. Чьи они? Что им надо? Враги или друзья? Если враги – чьи? Если друзья – чьи? Нельзя соваться в воду, не зная броду! Одним словом, эти хитроумцы нагородили столько, что окончательно запутали дело. Первым, по мнению Корда, стал запутывать дело сам Крисп. Как выражались жулики их родного квартала, он стал ячмень мешать с пшеницей в одной миске. Столь пустопорожнее занятие могло вывести из себя настоящих ценителей спора, каковым считал себя Корд. Сам он не умел говорить красноречиво и убедительно, больше размахивал руками и визжал.

Колбасник Сестий на короткую, безрукавную тунику надел грязный, весь в кровавистых пятнах фартук, на который с большим удовольствием садились мухи. Голова его была обрита наголо, как у египтянина, усов и бороды он не носил по римскому обычаю. Его щеки – это два бурака с берегов Рейна, где любят этот овощ. Он тоже не очень доверял скелетообразному зеленщику с горящими глазами афинского торговца.

Между тем зеленщик Марцелл живо все сообразил. Он засучил рукава чистой, почти белоснежной туники и заявил совершенно определенно:

– Сулла будет мутузить Мария. Марий попытается дать под зад этому Сулле. Оптиматы схватят за горло популяров. Популяры попытаются вырвать мошонки у оптиматов. А сенаторы кинутся лизать ноги и тем и другим в надежде, что это припомнят и кое-что будет прощено. Плюньте мне в глаза, если я наврал! Я не верю ни популярам, ни оптиматам, я верю только себе.

Все трое поворотились к зеленщику. Все трое удивлены. То есть до такой степени, что ни один актер, даже сам Квинт Росций, не изобразил бы удивления столь правдиво. Но в данном случае, разумеется, и речи не могло быть о каком-либо актерском притворстве. Просто заявление зеленщика было удивительным, как по форме, так и по самой сути своей.

– Погоди, погоди, Марцелл, – сказал Корд. – Что это ты мелешь? Ты полагаешь, что ежели из Остии, то можешь запросто морочить нам голову?

Марцелл сплюнул.

– Болван, – сказал он без злобы, – понимаешь, что ты говоришь?

Этот Марцелл тоже был мастак по части жестикологии. Несомненно, в его крови было что-то восточное, как, впрочем, и в Корде. Это там, на Востоке, любят призывать на помощь словам иногда совершенно бессмысленные жесты. Там люди щедры на это дурацкое размахивание: Рим понемногу наводняется всякими заезжими людьми и вскоре, наверное, превратится в восточный базар. Крисп в этом совершенно уверен. Его самого воспитывали, разумеется, не на Палатине, но всякая исконно римская семья понимает, что неприлично мыслящему, разумному созданию, каким является человек, размахивать руками. Скупость жестов – вот благородная черта римлянина...

Марцелл продолжал:

– Когда дерутся два барана – есть прекрасное правило: третий не мешайся, не вступай в драку. А почему? Да потому, что тебе достанется и от одного и от другого. Всадят тебе в зад такую фиговину, что не скоро в себя придешь. Будешь рад сбегать за кипарисовой ветвью для себя на гроб, да не сможешь.

– Что же ты предлагаешь, Марцелл? – спросил Крисп. – Сидеть сложа руки и жрать твою спаржу?

– Вот! – Марцелл подскочил от радости. – Он меня понял! Вы слышите? Один уже уразумел!

– Так, Марцелл... Допустим, что так. Вот съели твою гнилую спаржу. А потом?

– Потом принимайся за айву, за финики, за виноград...

– А потом?

Марцелл вдруг спохватился. Прикусил язык. И побледнел.

«Я дурак, – подумал он, трепеща от ужаса, – я сущий дурак! Разве не ясно, что этот Крисп пытается вывести мои сокровенные мысли, чтобы донести потом преторам, консулам и пес знает кому еще?!.. Дурак я, дурак! Стою и точу лясы, а за мной уж приглядывает одноглазый тюремщик из Мамертинской темницы. Может, он уже за спиной?..»

И Марцелл невольно оглянулся.

У входа в его лавку стоял какой-то важный господин в сопровождении двух рабов. Видя, что лавка пуста, господин решил перешагнуть через порог.

Марцелл сорвался с места и заторопился к себе. «Слава богам! – говорил он себе. – Как нельзя вовремя послали они этого покупателя. Пусть толкуют без меня. Подальше от греха!»

Господин оказался не кем иным, как самим Муреной Непотом Целером – знатным патрицием, важным магистратом, по долгу своей службы тесно связанным с сенатом и великими сенаторами. Он жил в чудесном особняке недалеко отсюда, в конце улочки.

Зеленщик поклонился весьма учтиво.

Целер улыбнулся. Ответил легким кивком. Рабы его вели себя столь дерзко, что не соизволили даже поклониться. А высокий и статный раб, которому не было и тридцати, наклонился к своему господину и проговорил весьма негромко:

– Марцелл, зеленщик.

Это был номенклатор. Напомнив господину имя лавочника, раб отошел назад на целых два шага.

– Да, да, разумеется, Марцелл, – проговорил господин. Он при этом все время улыбался. Еще не старый, – может быть, сорок с хвостиком, – он выглядел так, словно только что вышел из парилки бальнеума: чистенький, весь светящийся изнутри, розовый, как молочный поросенок. Его серые глаза тоже улыбались. Светло-серая тога из прекрасной шерстяной ткани и бежевые башмаки выглядели так, словно только что купили их у купца Клодия, что торгует на Авентине.

Господин сказал, что знает Марцелла и отлично помнит его имя. Сначала он удивился, когда застал в лавке одну пустоту. Потом оказалось, что хозяин ее беседует со своими друзьями. Очень жаль, что пришлось оторвать Марцелла, несомненно, от интересной беседы.

– Да, – признался Марцелл, и руки его замелькали у самого носа, – беседа была, я бы сказал, жаркой.

– Вот оно как, – проговорил патриций, рассматривая плетеные корзины с овощами, расположенные полукругом для лучшего обозрения. Было заметно, что Целер не очень интересуется беседою лавочников. Все его внимание приковано к спарже. Он, видимо, очень любил спаржу, раз позволил себе явиться самолично к зеленщику. Целер сказал: – Настоящий любитель спаржи выбирает только сам. Я ее люблю совершенно бесцветную, но она и не должна быть слишком зеленой. Только собственный глаз поможет тебе выбрать самые лучшие стебли.

– Истинно так! – воскликнул зеленщик, уважающий настоящих знатоков зелени. – Мы тут поспорили немножко...

– Все зависит от овощевода...

– Разумеется, господин... Мы могли бы и поругаться. Очень даже просто.

– Толщина стебля тоже имеет значение. – Патриций-гурман наклонился над корзиной, чтобы выбрать самую лучшую, по его мнению, спаржу.

– Еще бы! – подхватил Марцелл. – Вся сладость в стебле... Да, спор был необычный.

– Какая прелесть! Это не спаржа, а сплошной источник жизни... Изумительный источник!..

– Речь у нас шла о жизни и смерти...

– Смерть? Это ужасно!.. – Патриций думал о своем.

– Я так и сказал им! – воодушевился зеленщик. – Если ты хочешь жить – сиди и молчи, ешь спаржу, закусывай медом с финиками, жуй свой хлеб.

– Фу! – сказал господин, передавая рабу отобранные пучки спаржи – бледной на вид, с едва заметными переливами зеленого цвета, можно сказать, с прозеленью на бледно-желтом стебле. – Довольно эгоистичная точка зрения на человеческое существование. Неужели все друзья согласились с тобой?

– Мы не смогли договориться...

– И это очень хорошо...

– Хорошо-то хорошо, но для кого, спрашивается. Для Мария? Для Суллы? – Марцелл так крутанул рукою, что чуть не отшиб себе длинный нос.

– Что? Что? – опешил патриций. – Что это ты мелешь? – И он выронил из рук отличный пучок спаржи. – Какие имена ты произносишь вслух, несчастный зеленщик?!

– А разве нельзя? – изумился Марцелл.

Целер подбоченился. Нижняя губа у него дрожала. В эту минуту ему хотелось знать, с кем имеет дело: с умалишенным или притворой?

Дело принимало крутой оборот. В этих обстоятельствах Марцелл решил в двух словах – буквально не переводя дыхания – сообщить суть спора.

– Когда сказали, – начал он, – что Сулла наступает на Рим...

– Что? – взревел благородный патриций. – Да как ты смеешь, собачий сын? Кто разрешил распространять эту небылицу? Не иначе как ты и есть настоящий сулланец! Или его соглядатай в столице!

И Целер схватил за плечи зеленщика, словно тот собирался бежать куда-то. Номенклатор и раб-носильщик были готовы прийти на помощь своему господину в случае нужды.

– Прошу милости, великий господин! – взмолился зеленщик. – При чем тут сулланец?! При чем соглядатай?! Вот они мне все и рассказали!

Марцелл указал на троих своих соседей, решивших не давать в обиду своего друга.

– Эй! – грубо сказал Крисп. – Что тут происходит?

– Вот он, – возмущенно продолжал Целер, – распространяет дурацкие слухи.

Крисп стал между Цедером и Марцеллом:

– Дурацкие слухи?

Целер привел в порядок свою тогу. Он сказал:

– Этот зеленщик...

– Во-первых, этот Марцелл, – поправил его Крисп.

– Этот Марцелл, если угодно, все произносит имена великие своими недостойными устами.

– Кто ты? – грубо спросил Крисп.

– Я – Мурена Непот Целер. Мой дом в конце этой улицы.

– И что с того, что ты и Мурена, и Непот, и Целер?.. – Крисп явно издевался. – Хочешь, мы разделим тебя на три равновеликие части, согласно твоему имени? Тебе же говорят человеческим языком: Сулла идет на Рим! Он может вступить в город в самые ближайшие часы. И речь идет о том, как нам быть?

Патриций побледнел. Он проговорил едва внятно:

– Разве... Разве все уже решилось?

– Да! – отрезал Крисп, хотя и не совсем понимал, что именно решилось.

Патриций попятился, подобрал тогу и, что называется, дал деру. За ним помчались его слуги.

– Не выдержал! – сказал колбасник.. И послал вдогонку ругательство, столь хлесткое, что ничего похожего не доводилось слышать даже морякам.

– Он найдет на меня стражу, – трепеща от страха, предположил зеленщик.

– Дурак, – обрадовал его Крисп, – этому господину сейчас не до тебя. Он побежал советоваться со своей сукой о том, как ему быть. Это же марианец! Разве не видно по широкой заднице?! Он живет в конце улицы?

– Да, – сказал Марцелл.

– В этом приземистом особняке?

– Да, в этом...

– А как он бежал? Прямо-таки смешно.

Корд сказал:

– Это не так уж смешно. Это скорее трагично.

Какими-то странными междометиями его поддержал колбасник.

Крисп выразил свое окончательное решение следующими словами:

– Я буду драться на стороне Суллы против Мария.

– Почему? – спросили его друзья.

– Надо менять старый веник, – ответил он. – Надо попытать счастья. Надоела мне эта дохлая жизнь.

И заторопился домой за мечом и щитом, которые достались ему от покойного отца, погибшего где-то в горах Цизальпинской Галлии.

11

В эту ночь Сулла не сомкнул глаз. После второй стражи он приказал Эпикеду принести сосуд с вином в одну двадцатьчетвертую урны. Сулла выпил его единым духом.

– Чтобы не спать, – пояснил он.

А потом вызвал к себе начальников легионов и своих ближайших помощников.

Эпикед зажег все светильники – стало очень светло в палатке. Но и чада стало побольше.

Сулла положил перед собой большой кусок пергамента с начертанным на нем планом Рима. План был не очень подробный, но вполне пригодный для тех целей, о которых собирался говорить Сулла на военном совещании.

Он смотрел на карту, и ему мерещилась мрачная бездна. Ему суждено сойти в нее и утвердиться в ней. И то, что еще вчера казалось бездной, должно превратиться в место блистательного триумфа. Для этого имеются и силы, и необходимая сноровка. А если бездна поглотит его вместе с потрохами? Ведь можно же это себе представить: Рим есть Рим, с ним всегда шутки плохи. Тебя заверяют в вечной дружбе и через мгновение всаживают нож между лопаток, кривой испанский нож. Ибо это Рим! Тебя носят на руках, поют дифирамбы, а через мгновение валят на землю и неистово топчут тебя. Ибо это Рим! Тебе говорят: «Мы верны тебе», а через мгновение изменяют, не моргнув глазом. Ибо это Рим! В Риме человек должен обладать полдюжиной глаз: два спереди, два сзади, по одному на висках. Ибо это Рим!

Сулла мысленно измерил глубину бездны. Он ясно увидел дно. Сулла все рассчитал и все продумал. А все-таки боязно, ибо те, которые в Риме, тоже что-то рассчитывают и на что-то надеются. У них тоже своя голова. Хотя этот Марий и стар, но за его спиной опыт, за спиной его – многочисленные единомышленники. Сулла очень опасался, что для борьбы с ним будут отозваны легионы из Галлии или Испании. Но этого – слава великим богам, слава Юпитеру! – не случилось. Для этого были свои причины, наверное непреодолимые для Мария. А иначе бы Марий приложил все усилия для того, чтобы обеспечить себе любую военную помощь, поскольку одной политики нынче оказалось явно недостаточно.

Все прорицания были благожелательными. Поход на Рим сулил вроде бы одну сплошную выгоду. Победа, утверждали прорицатели, ждет победителя меж семи холмов. Предстояло еще одно – официальное – прорицание, и тогда можно сказать: да или нет, поход или переговоры, победа или отступление? Однако те, кто знал немного Суллу, смело предсказывали и без прорицателей весь ход его действий...

Фронтан объявил:

– Ровно в час утра мы поведем наступление на Рим.

– Да, – подтвердил Сулла.

– В лагере остается боевая охрана во главе с начальником восьмой когорты Севером, – продолжал Фронтан. – С собою брать только оружие. За полчаса до выхода в поход – первый завтрак. Все ли ясно?

Да, начальникам все было ясно.

Слово взял Сулла.

– Прежде чем идти на Митридата, придется вступить в Рим и навести там небольшой порядок. – Он был спокоен, сосредоточен, говорил негромким, бесстрастным голосом.

После этого он изложил план атаки. Эсквилинские ворота будут свободны – поэтому сюда следует направить большую часть силы, возможно до двадцати когорт. Половина из них, ворвавшись в город, атакует Виминал и через Квиринал спускается к Марсову полю, до самого Тибра. Другая половина – десять когорт – атакует Палатин. Атака должна быть стремительной, беспощадной. Следует как можно скорее занять Палатин и только после этого направить удар против Капитолия.

Сулла неторопливо продолжал развивать свой план...

Между тем основная часть войска, двигаясь по Аппиевой дороге и овладев одними, а еще лучше двумя-тремя городскими воротами, ворвется в город. Этими когортами будет командовать сам Сулла, а теми, которые войдут в Рим через Эсквилинские ворота, – Фронтан и Руф. Фронтан поведет манипулы на Марсово поле, а Руф – на Капитолий через Палатин. Сулла поведет воинов на Авентин и Целий с тем, чтобы одна половина его отряда, идя вдоль левого берега Тибра, захватила все переправы, а другая, спустившись с Целийского холма, пошла бы на соединение с войском Руфа на Капитолий.

– Чем хорош этот замысел? – спрашивает Сулла.

Тем, отвечал сам же, что охватывает железным объятием город с севера и с юга. Железное кольцо замкнется в кратчайшее время. Противнику невозможно будет организовать сопротивление.

А каковы погрешности этого плана?

Войско, поделенное надвое, вскоре потеряет связь между двумя своими половинами. Могущие произойти изменения в боевых действиях трудно будет согласовать.

В чем же состоит задача?

Использовать все лучшее, что предоставляет этот план, и свести к минимуму его недостатки. Иными словами: надо действовать согласно договоренности, не жалея себя выполнить весь намеченный план, не допуская отступления от него.

Если, скажем, замешкается Фронтан – будет худо Руфу, будет худо Руфу – неизбежен урон для отряда Суллы. Одно поражение, одна неточность повлечет за собой другие, а в целом – угроза поражения возрастет для всего войска.

Напротив, если Фронтан проявит решимость, столь же храбро сразится Руф, легче будет отряду Суллы, которому придется брать защищенные ворота; следовательно, приблизится общая победа, и она будет неизбежна, неминуема, к общей радости. Один успех влечет за собою другой. Одно поражение определяет другое. Это надо помнить всем – от крупного военачальника до воина, до знаменосца, до трубача.

Дух дисциплинированного римского воинства царил на совещании. Каждое слово Суллы воспринималось как приказ, требующий только беспрекословного исполнения. Все понимали, что Сулла – ежели потребуют обстоятельства – проведет децимацию и бровью не поведет при этом. Но и на поощрения Сулла щедр. Он не упустит случая, чтобы поблагодарить любого, какого бы чина и звания он ни был, любого, кто заслужит в бою награду. О нем говорили так: «Он сидит в своей палатке, но отлично знает, кто чем дышит».

Сулла замолчал. Он сказал все, что требуется. Что требуется перед битвой. Об остальном позаботятся Фронтан, Руф, начальники когорт. Сейчас остается одно: выслушать прорицателя. Что он там нагадал?

Руф велел позвать Постумия. Это был человек, объехавший полмира. Где он только не бывал! На Британских островах и в Вифинии, на берегах Рейна и в Мавритании, в Афинах и в Фивах. А может быть, даже в самой Индии. Он был довольно дряхл. И это не удивительно: уж слишком много сил уходило на прорицания! Когда он приступает к гаданию, то весь трясется. Глаза его начинают гореть. Пальцы судорожно сжимаются. Лоб покрывается испариной. И так каждый раз, когда его вопрошают о чем-либо. Он читает по внутренностям жертвенного животного только ему одному открытые мысли. Постумий – официальный войсковой прорицатель.

Однако он не ограничивается, подобно некоторым, только животными. Он сверяет добытые таким образом тайные сведения с положением небесных светил. Его гадания значительно отличались от гадания авгуров, этих государственных, архиофициальных гадателей. Ауспиции Постумия крайне сложны. Вероятнее всего, что он выбрал опыт разных стран мира. Вобрав, он научился угадывать волю богов. Его мать была этрусской и, в свою очередь, наделила сына многими тайными познаниями своего народа.

Постумия ввели в палатку под руку, словно слепого. Сулла встал и торжественно поклонился ему. Все последовали его примеру. Однако старец не обратил на это ровно никакого внимания. Прошел на середину, как по шаткому настилу, и опустил голову.

Постумий был невысок ростом. Его губы шептали слова некоей магической молитвы, понятной только богам. Он долго стоял в таком положении, и все молчали вокруг. Сулла не спускал с него своих голубых глаз. Упрямые желваки шевелились на щеках полководца.

Наконец Постумий заговорил. Глухим голосом. Голосом подземелий. Голосом скал. Глубинным океаническим голосом. И с первых же слов произвел большое впечатление на всех. Его чистое, холеное лицо хорошо гармонировало с белоснежной тогой. На обнаженных ногах хорошо отшлифованы и отлакированы ногти. Каждый волос его отдавал физической опрятностью человека, большую часть своей жизни проводящего в лучших бальнеумах с отменными парилками...

Постумий сказал:

– О мужи! Дело, которое затеяли вы, есть дело, угодное богам. Великий Юпитер и достойная Беллона внимали моим словам столь благосклонно, что силы мои истощились и я пал наземь. Падая, я заметил знаки великие, знаки богов. О мужи! Благословен ваш поход. Нет силы, нет силы земной, которая способна пересилить вас. Местоположение светил небесных полностью соответствует воле богов, повелевающих всем сущим во вселенной. А вчера на небе я видел молнию, просверкавшую слева направо. Не это ли лучший знак? Идите, о мужи, без страха, вершите дела, достойные вашей доблести, вашей великой силы и настойчивости. Взойдет солнце, и оно убедится в том, что все свершается согласно воле богов, что сбывается предсказанное мною.

И старик рухнул, едва окончив свою краткую речь. Его мигом подняли на руки плечистые центурионы и отнесли в его палатку, которая была рядом с этой, военачальнической.

Торжественность все еще царила здесь. Сулла был потрясен: ауспиция превзошла все тайные ожидания.

Он сказал:

– Вы слышали?

– Да! – был ответ.

– Все?

– Все!

– Мои друзья-соратники! Будьте же достойны этой воли богов, которая священна для каждого. Пусть каждый из вас подаст великий пример служения отечеству, республике, Риму, его народу.

Он стал на колени.

Он наклонился низко-низко.

Он поцеловал эту священную землю Лациума.

Так поступил Сулла.

Великий поход римлян на Рим начался. По воле богов, через бранные труды Луция Корнелия Суллы в шестьсот шестьдесят шестом году от основания Рима.

В поверженном городе

1

Войско Суллы ворвалось в Рим.

Люций Басил и Гай Муммий со своими воинами удерживали Эсквилинские ворота до тех пор, пока не подоспели Фронтан и Руф с когортами.

И Сулла с отрядом недолго простоял у городских стен: весть о том, что враг уже вступил в северные окраины города, распространилась молниеносно, намного охладив военный пыл даже самых ярких марианцев. Непредубежденный наблюдатель мог сказать, что все идет по плану Суллы.

Весьма возможно, что этому способствовало некоторое благодушие сената, который до последней минуты надеялся на мирный исход. Однако – видят боги! – Марий предупреждал вовремя, он призывал к бдительности. Могут возразить, что это он делал не очень-то энергично. Возможно: семьдесят лет не пятьдесят лет! В его годы сердце не то, не те колени, хотя ум и опытнее во много раз. Война, несомненно, требует ума, но не меньше зависит ее исход и от решимости, от силы полководца, ведущего за собой когорты.

Многие свидетели сходятся на том, что для части марианцев эта атака Суллы явилась неожиданной. То есть о том, что Сулла недвусмысленно грозит Риму, они знали. Но не многие верили в неслыханную дерзость его. «Неужели, – вопрошали сенаторы, – Сулла осмелится брать силою свой собственный город, свою столицу?» Это и породило – но только отчасти – настроение благодушия, о котором говорилось выше.

Хочется напомнить о том влиятельном магистрате, который вдруг заторопился, когда зеленщик и его друзья сообщили ему о вступлении в город сулланских отрядов. А ведь магистрат не был просто рядовым марианцем, ему полагалось быть в курсе событий. Но факт остается фактом: магистрат по имени Целер не знал всей правды о надвигающейся опасности. Это обстоятельство потомки могут оценивать как угодно, но колесо истории уже не повернешь.

Чтобы лучше уяснить себе, что же произошло в Риме в тот злополучный день, хорошо бы на чистом листе бумаги начертить змеевидную полоску Тибра, идущую сверху вниз, то есть с севера на юг. Справа от этой полоски надо поместить Палатинский холм, почтительно окружив его шестью другими холмами (по ходу часовой стрелки); Капитолийским, Квиринальским, Виминальским, Эсквилинским, Целийским и Авентинским. Между Капитолием и излучиной Тибра следует поместить Марсово поле, а на нем – цирк Фламиния, старинное деревянное строение, и храм Беллоны. В небольшой долине между Палатином и Авентином находится Большой цирк, знаменитый на всей Итальянской земле. Кстати, здесь, недалеко от цирка, берет свое начало древняя Аппиева дорога, идущая мимо Везувия до самого Брундизия на крайнем юге Апеннин.

Фронтан со своим войском двигался от Виминала к Квириналу. Здесь его осыпали с высоких домов градом камней и стрел. И тем не менее он рвался вперед, имея конечной целью Марсово поле.

Руф не встречал почти никакого сопротивления: перепуганные патриции предпочитали выжить в своих атриумах, нежели подвергнуться смертельной опасности в открытом бою.

Иначе сложилась обстановка в южной части города. Марианцы здесь организовали сопротивление и не сдавались. Это было похоже на схватку отчаявшихся людей, решивших почти наверняка умереть и подороже продать жизнь.

А где же был сам Марий?

Центурион Децим получил под свое начало два манипула отборных солдат. На его долю выпало особое поручение. Надо заметить, что он не подчинялся ни Фронтану, ни Руфу, хотя и действовал по соседству с ними; его отряд двигался прямо к Палатину, но чуть севернее Руфа. Задача Децима была столь же сложна, сколь ответственна: изловить во что бы то ни стало Мария, не допустить, чтобы он сбежал из города. Сулла безгранично доверял своему центуриону. Децим не пожалел бы своей жизни ради победы Суллы.

У Мария не было на Палатине собственного дома – бедность не разрешала ему этого. Но он мог теперь, учитывая свое положение в государстве, поселиться на этом аристократическом холме. Поэтому-то Децим и двинулся на Палатин.

Здесь же, в одном из домов, жил дальний отпрыск рода Юлиев некий Тит. А у Тита была прелестная дочь, которую звали Коринна, – вдова, двадцати двух лет. Как-то встретил Децим Коринну в цирке на гладиаторском представлении. И заговорил с нею. Нахально. Она немного поболтала с ним, но скоро дала понять, чтобы поворачивал оглобли своей телеги в другую сторону. А в какую, спрашивается? Децим еще тогда разузнал, где живет красавица и как ее зовут.

Децим был самолюбив, упрям. Его сплюснутый нос (память об ударе рукоятью меча), низкий лоб, холодные, глубоко сидящие под бровями глаза, рассеченные губы – все это не могло пленять красавиц. Тем больше желал Децим именно ту, которая, как выражаются остийцы, отшила его. Именно Коринна имела неосторожность отвергнуть Децима. И он с горящими глазами и воспаленным лбом искал небольшой, но хорошо построенный дом у подножья Палатина. И при этом он не упускал из виду свою главную задачу: во что бы то ни стало арестовать Мария.

Недолго пришлось искать дом Коринны. Трое рабов, попытавшихся преградить дорогу, были убиты солдатами Децима у ворот.

Отец Коринны, несмотря на свои годы и болезнь (его душил ужасный кашель), взялся за меч. Матрона упала в обморок.

– Я не потерплю непрошенных гостей. Да еще столь ранним утром! – заявил Тит. Он понимал, что силы неравные, и тем не менее старческой грудью защищал свой дом.

Децим, тяжело сопя, раздумывал, что делать. Он был могуч, словно валун, по сравнению с этим хилым патрицием со смешным мечом в ослабевших руках. И он сказал:

– Пусть выйдет к нам Коринна.

Это он произнес картавя, на ужасном провинциальном диалекте, какого никогда не слыхивали стены этого уютного дома.

– Никогда! – вскричал Тит, готовясь к обороне.

– Мне нужна Коринна, – повторил Децим. Он чувствовал себя победителем: подавай ему Коринну – и все!

– Кто ты? – спросил Тит.

– Неважно, – сказал Децим. – Мы пришли сюда не шутки шутить.

– Знаю, – бросил Тит. – Лучше всего тебе вместе с солдатами убраться отсюда.

Децим прохрипел:

– Этого не будет!.. Зови сюда Коринну.

Центурион шагнул вперед, Тит замахнулся мечом. Кровавопролитие казалось неминуемым.

– Стойте! – слышалось в это мгновение.

Из распахнутой двери вышла Коринна. Она была в шелковой розовой тунике и в желтых сандалиях – такой свеженькая, словно бутон, римская патрицианка. Каштановые волосы. Черные глаза. Грудь и талия – все на своем месте. Она, разумеется, не узнала Децима. Строго спросила:

– Что здесь происходит?

– Коринна, – едва выговорил центурион, потупя взор.

Женщина внимательно присмотрелась к нему и повторила твердым голосом:

– Что здесь происходит?

– Коринна, – прохрипел Децим, – это – я.

– Кто ты?

У Коринны губы поджатые, злющие. Глаза исторгают молнии...

– Я спрашиваю: кто ты?

Децим вздохнул:

– Я – Децим. Вспомни цирк. Бой гладиаторов. Это я – Децим.

Коринна подошла к отцу, обняла его, потом поцеловала в лоб свою пожилую мать, едва пришедшую в себя от великого испуга, и сказала:

– Очень приятно, что ты Децим. Что из этого следует?

Центурион, кажется, потерял дар речи. Он думал, что при встрече с Коринной обнимет ее непременно, расцелует и потащит от нетерпения в укромную спальню. Но это, оказывается, не так-то просто. Проще войти в дом и обнажить меч...

– Что ты хотел сказать, Децим? Ты проглотил язык?

Солдат молчал. Тогда Коринна обратилась к его товарищам:

– Кто вы?

Некто долговязый ответил:

– Мы пришли сюда как победители.

– И что же? – У Коринны улыбка заиграла на губах. – Победители женщин? Или похитители обыкновенных ценностей? Кто же вы все-таки?

– Мы – солдаты Суллы.

– Прекрасно! – сказала Коринна. Она бесстрашно приблизилась к Дециму. У того перехватило дыхание от волнения.

– Мы солдаты Суллы...

– Я это уже слышала, – продолжала Коринна, переходя на игривый, полупрезрительный тон. – Что же из этого следует? Вы явились к нам домой. Ворвались! – это будет точнее. Вы убили наших рабов. Что вам надо?

Децим сказал глухо:

– Мы ищем Мария. Нам известно, что вчера вечером его видели где-то в этом районе.

– Ищите себе на здоровье! – воскликнула Коринна. – При чем наш дом? Или вы полагаете, что он здесь? Что ж, ищите!

Она гневалась. Она готова была отхлестать этих грубиянов розгами.

– Коринна, – выдавил из себя центурион, – вспомни цирк, вспомни гладиаторов. Я сидел с тобой рядом...

Децим обернулся к своим солдатам и приказал, чтобы они отошли к воротам. Они повиновались.

– Может быть, мы поженились с тобой? – спросила Коринна.

– Нет. Я все время думал о тебе.

– И что же ты надумал? Вот так ворваться ко мне? Вот так объясниться в любви?

– Да, – простодушно ответил Децим.

Коринна подумала про себя, что не зря, значит, болтали о солдатах, которых грозил привести в Рим Сулла. Значит, не пустая все это сплетня, вот они, уже здесь...

Болван Децим смотрит на нее восхищенно. При всей своей тупости. А как не быть центуриону тупым, если ему кров родной – палатка, жена – меч, а сестра – щит. Коринна все же решила, что этот солдат не так уж противен, как может показаться с первого

взгляда. В его грубых руках, в его крепко посаженной на плечи голове и железных икрах есть что-то привлекательное. Прожив с мужем три года и вернувшись в отчий дом молодой вдовой и к тому же бездетной, Коринна быстро научилась разбираться в мужской натуре. Она припомнила, что имела однажды неосторожность пококетничать в цирке с каким-то солдатом, но потом поставила его, как говорится, на место. Вероятно, это и был Децим. Но боги, боги, как памятьливы иные мужчины! И зачем они так долго берегут свою любовь? Особенно когда их об этом не просят? А что, собственно, было? Объяснение в любви? Приглашение посетить дом? Что же было?

Децим и сам толком не знал, что было. Но с тех самых пор и запала Коринна в его черствую и наивную душу.

– Ты целый год не выходила у меня из головы, – сказал Децим. И ему некуда было девать руки, а меч просто оказался ни к чему. – Я мечтал о взятии Рима больше, чем Сулла. Это для него важно, но для меня еще важнее. Клянусь богами!

И он опустил голову.

По ее знаку родители ушли в дом.

Она поднялась на мраморные ступени. Ноги ее были белее слоновой кости. Гордая осанка. Ровный нос, алые губы. Ему казалось, что сквозь шелковую тунику проглядывает каждая ее мышца – такая нежная и белая. Ранние солнечные лучи, смягчившись в листве, через которую пробивались, легли на ее плечи и грудь...

И он не смел глядеть на нее. Что-то бормотал, и ей приходилось дважды переспрашивать.

– Я ничего не хочу, – говорил он. – Я просто должен тебя видеть. Иногда. А рабы твои погибли по своей глупости. Видели же они, что идут солдаты, – ну и посторонись! Да нет же – наравались на мечи. Сами. Такая незадача...

Она сощурила глаза. Подошла к нему совсем близко.

– Я надеюсь, ты найдешь время, чтобы еще раз навестить нас. Потом. – Она улыбнулась. – Но только без этого обнаженного меча.

Он поднял меч и с размаху бросил в просторные ножны.

– Да, да, Коринна, без него.

Она взяла его руку в свою и повела к воротам. Он не сопротивлялся. Шел с нею, как ребенок.

– Ах, Децим! – Она приподнялась на цыпочки и прошептала ему на ухо: – Ах, мой Децим, я буду ждать тебя.

И подтолкнула в бок на манер девок с рыночной площади. А он, словно от этого несильного толчка, выкатился вон со двора.

На пороге дома Коринну дожидались перепуганные Тит и его уважаемая жена.

– Ушел? – спросил отец едва слышно.

Коринна бросилась на каменную скамью с изогнутой спинкой и принялась хохотать.

– Этот болван влюблен в меня, – сквозь смех выговорила Коринна.

– Кто он? – спросил отец. А мать все еще не могла отдышаться.

– По-моему, солдат. Разве это не видно?

– Да, но он командует. А за воротами их больше сотни...

– Во всяком случае, это не консул.

– Он обещал вернуться?

– Да, – бросила легкомысленная дочь. – Я ему слишком нравлюсь.

Отец сказал:

– Дела наши плохи: эти римляне ведут себя так, словно завоевали новый Карфаген.

– О боги! – зарыдала матрона, обнимая дочь, которая смекнула, что с этой поры начинается новая, полная неожиданностей жизнь. Она запела модную афинскую песню про босоножку, которая мылась по утрам в роднике, соблазняя юношей.

– Перестань! – прикрикнула матрона. – Тут такое творится, а она песенки распевает. Разве ты забыла, что в нашем доме гость?

Тит всплеснул руками.

– Тихо! – сказал он. – Если эти сулланцы задержатся в городе – нашему гостю придется не сладко. Да и всем нам...

– Да, сулланцы задержатся, – сказала дочь.

– О боги!

Тит схватился за голову. Для него тоже начиналась новая жизнь... Новая-то новая, но какая она будет? – вот в чем вопрос.

В это время в дверях появился старый человек. Это и был гость, о котором только что упоминали.

– Я все видел и все слышал, – сказал Гай Марий, ибо это был он. – Я знал, что так и будет. Сенат довел дело до логического конца. Представляю себе; сейчас громят мой дом, а сулланские ищейки вынюхивают мой след. Это был один из них!

– Дочь моя, – сказала матрона, – пойдем со мной.

И увела Коринну.

– Не выпускай ее из дому, – сказал Марий. – Болтушки сейчас очень опасны.

Он подождал, пока женщины выйдут, и продолжал:

– Я благодарю тебя за кров, дорогой друг, но стены твоего дома не могут спасти меня от этого неблагодарного зверя. Скорее я навлеку беду и на тебя, чего не желаю. Мне надо уходить. Найдется у тебя одеяние восточного торговца? Ведь ты большой любитель домашних представлений. Помнится, был у тебя подходящий наряд? А может, и борода сохранилась?

– Найдём, – пообещал Тит упавшим голосом. – Неужели все пропало, Марий?

Цвет лица Мария был желт. Мешки под глазами. И много старше своих лет, коих тоже немало, говоря откровенно.

– Неси сюда твой наряд, – сказал нетерпеливо Марий, Видя, что Тит чуть не трясется, добавил: – Тит, ты увидишь нечто. Помни всегда: Марий не сдаётся! А для Суллы даже развалины Рима не будут сладки, если этот негодяй не сможет приправить их трупом Мария.

2

Сулла находился в городе. Он продвигался со своим войском по узким вонючим улицам Рима. Всех, кто встречал их с мечом, – уничтожали. На небольших, замусоренных площадях завязывались кровопролитные бои.

Сулла лично возглавлял центр отряда. Шагал через густонаселенные места меж Авентином и Целием. И надеялся, достигнув Большого цирка, атаковать Палатин с юга и соединиться на том, на северном склоне холма с отрядом Руфа. Левый фланг его войска, огибая Авентин, пытался прорваться к берегам Тибра, а правый фланг через Целийский холм наступал в направлении Эсквилина.

Римские граждане не встречали Суллу с цветами и лавровыми венками. Напротив, сопротивление их казалось хотя и разрозненным, но столь единодушным, что Сулла поражался до крайности. И чуть не усомнился в ауспиции, которая была проведена Постумием не далее как сутки тому назад. Неужели за это время что-нибудь изменилось в царственной воле богов? Неужели военное счастье, которое никогда не поворачивалось спиной к Сулле, изменит сейчас?

Он с бешенством наблюдал за тем, как из высоченных римских зданий лились помои на головы его воинов, как бросали сверху булыжники, а женщины сыпали отборными ругательствами и грозили кулаками. Сулла не верил ни глазам своим, ни ушам. Что им надо, этим римлянам? Неужели Марий озолотил их?

К полудню продвижение войска в центре задержалось. Не удалось продвинуться ни на шаг. Никаких известий ни от Руфа, ни от Фронтана все еще не приходило. Молчал и Децим. Ничего хорошего во всем этом усмотреть нельзя. И Сулла требовал одного: вперед во что бы то ни стало!

Наконец он отдал приказ растопить несколько котлов смолы и приготовить огня на походной телеге.

– Делайте то, что делаю я! – крикнул Сулла.

Он выхватил лук и стрелу из рук своего сателлита, окунул конец стрелы в смолу, поджег ее на огне и запустил вверх. Прямо на крышу ближайшего дома. Горящая стрела взмыла вверх и, описав плавную дугу, упала на кровлю.

Сулла выпустил еще одну стрелу. Его примеру последовали воины.

– Злодеи! – кричали горожане. – Что вы делаете? Это же не Карфаген!

– Изверги! – доносилось с верхних этажей.

Сулла посмеивался.

– Кто не уверен в своем мужестве, – сказал Сулла солдатам, – тот может заткнуть свои уши, чтобы не слышать этого кошачьего визга.

Уже пылали дома. Горел целый квартал. А стрелы все летели и летели. И горожане поняли, с кем они имеют дело, пыл их немного поостыл.

– Действовать без пощады! – приказал Сулла.

И этот его приказ выполнялся неукоснительно. Столичные жители увидели и испытали на своей шкуре, сколь дисциплинированно и сколь беспощадно римское воинство. Горожане убедились на собственной шкуре, что значит римская железная когорта, возглавляемая полководцем, который не видит перед собой ничего, кроме своей цели, и глух к мольбам.

Женские крики, детский плач, проклятия мужчин смешались с густым дымом, который стлался по римским улицам. А Сулла все приказывал не жалеть стрел, не жалеть смолы для негодяев, посмеявших преградить ему дорогу.

– Все проклятия этой черни я принимаю на себя, – сказал Сулла, улыбаясь. – Продолжайте свое дело! Не жалеть никого! Двигаться вперед!

После столь категоричных приказов войско удваивало свое рвение. Закованное в железо, не знающее пощады, послушное воле полководца...

Маркитанты разносили хлеб и оливы, давали воинам хлебнуть вина из глиняных бутылей. За дополнительную плату можно было получить еще по доброй кружке красного. Сулла отказался от еды – в горло не проходил кусок: от напряжения, от волнения. Зато сосуд с фалернским один из сателлитов все время держал наготове: Сулла много пил.

Его очень беспокоило молчание Фронтана и Руфа. Кто-то из горожан пустил слух, что на Марсовом поле казнили всех бунтовщиков, что сенат объявил большую награду за голову Суллы – чуть ли не миллион сестерциев.

А дома горели. Рушились. Люди в страхе бежали к центру – Палатину и Капитолию. Войска теперь снова продвигались вперед, оставляя позади смерть, разрушения, пожары.

Сулла ежеминутно принимал донесения: такие-то когорты переместились туда-то на сто шагов, такие-то стоят на месте, в таких-то много раненых, а в такой-то убит начальник. И так далее, и так далее...

А ведь ждал он только одного донесения: Марий пойман, сенат ждет Суллу! Иное ничего не устраивало, а, наоборот, вызывало приступ бешенства.

Выслушав одного ординарца, он спросил:

– Кто тебя послал ко мне?

– Фавстик Секунд, мой начальник.

– Где он?

– Он бьется у стен вон того дома.

– У того, у четырехъярусного? – спросил Сулла.

– Да, у того самого.

Сулла подумал. И сказал медленно и тихо:

– Беги и скажи ему, что ежели через полчаса этот дом не превратится в руины и ваш отряд не продвинется вперед, – пусть шлет мне свою голову. На блюде.

– Голову? – спросил солдат.

– Да, только свою.

– Где же блюдо? – поинтересовался солдат, который отлично понимал, что приказ придется выполнять в буквальном смысле.

Сулла обратился к своим сателлитам:

– Где это оловянное блюдо?

– Из-под фруктов которое?

– Да. Оно самое!

Ему принесли блюдо с локоть в диаметре. И он передал это блюдо солдату.

– А меч, надеюсь, у тебя найдется, – сказал Сулла.

Солдат убежал к своему начальнику с приказанием полководца.

Через полчаса пылающий дом оказался в тылу отряда Фавстика Секунда, о чем сообщил полководцу все тот же ординарец.

– Значит, продвинулись? – спросил Сулла, щуря глаза и складывая губы в узкую ленту.

– Так точно!

– И намного вы продвинулись?

– На сто шагов.

– Неплохо.

– Приказано передать, великий полководец, что половина отряда погибла в бою.

Сулла удивился:

– И это приказано передать мне? Зачем?

– Не знаю, – произнес солдат.

– Наверное, твой начальник спутал меня с писцом, – сказал Сулла.

Он отдавал все новые приказы. Медленно, но верно продвигался вперед...

3

Рим был взят. Три дня убирали на улицах трупы. Три дня гасили пожары.

На четвертый день Сулла выступил в сенате. На заседании в храме Беллоны. Что на Марсовом поле.

Сенаторы встретили полководца гробовым молчанием. Впрочем, Сулла не обратил на это ровным счетом никакого внимания. Его окружали соратники. Вокруг храма расположился манипул, которым командовал Децим. В цирке Фламиния, что рядом с храмом, были размещены несколько когорт. Все это предпринималось под предлогом защиты жизни сенаторов.

Сулла хотел казаться обаятельным. Раскланивался направо и налево. Кивал своим знакомым. В нем исчезла надменность. Это был не победитель, но римлянин, явившийся в сенат, чтобы держать речь перед отцами отечества. Взошел на кафедру просто и поправил складки на тоге. Откашлялся. Улыбнулся кому-то.

Нет, это не был заносчивый победитель. Он казался мягким. Даже кротким. Словно бы никогда не давал приказа убивать римлян и жечь римские кварталы. Сулла пришел сюда, в сенат, с твердым намерением дать отчет о своих действиях высшему органу республики.

Холодный прием не обескуражил Суллу, ибо это следовало предвидеть. И он предвидел. Было бы смешно, если бы сенаторы, запрещавшие вчера атаковать Рим, встречали его нынче восторженно. Сказать по правде, Сулла не ждал этого, он вовсе не желал дешевых почестей. Он был уверен, что вполне обойдется без всего этого. Все его помыслы, все мечты направлены в совершенно другую сторону – на Восток, к армии Митридата. Здесь, в Риме, делать Сулле теперь уже нечего. Каждый лишний день, проведенный в Риме, – пустая трата времени.

Он всматривался в сумрачные лица сенаторов. Искал ответной улыбки на них. Хотя бы подобия улыбки. Неужели нет ни единого друга среди этих трех сотен прожженных политиков? Ведь были же, были! Неужели захват Рима так обозлил их? Ну что ж, не отыщутся друзья – тоже неважно. Была бы сила – друзья найдутся, приползут на полусогнутых ногах... И тем не менее, как всякий человек, он искал поддержки. Но все старания были тщетны.

Сулла начал свою речь, которую старательно записывали поочередно два семейографа – личный и сенатский.

Сулла сказал:

– О великие сенаторы! Нет большей чести для любого государственного деятеля, для любого полководца, чем выступать перед вами – воплощением мудрости римского народа. Стоять здесь, на этой кафедре, столь же лестно, сколь и ответственно. Ибо нет собрания во всем мире более авторитетного и многомудрого, нежели римский сенат.

Надо отдать Сулле должное: не будучи сильным оратором, мысли свои он выражал просто и ясно. И в случае нужды мог затуманить истинный смысл витиеватыми сентенциями. Чему-чему, но этому он выучился-таки в Риме!

Воздав должное уму и опыту сенаторов, которых презирал всей душою, Сулла говорил:

– Я глубоко тронут приемом, который оказан вами. Этот прием исключает позерство, актерскую наигранную горячность с вашей стороны. Это – прием мужей, озабоченных положением дел в отечестве. Не понять вас, не посочувствовать бремени, лежащему на вас, – значит уподобиться мулу, который не видит ничего дальше своего носа.

В Риме рассказывали, что некоторые сенаторы, слушавшие эту речь, несколько переменялись во мнении относительно Суллы. Один из них сказал: «Воистину страх – плохой советчик. Многие говорили, что Сулла прикажет разогнать сенат, что против каждого сенатора у него наготове десять солдат, коим приказано искрошить любого. На самом же деле все оказалось и проще и милее».

Другой сенатор сообщал в письме своей семье, заблаговременно выехавшей из Рима на виллу в Кампанье: «Выступал Сулла. Совсем недавно еще он жег городские дома, целые кварталы обратились в пепелища, а нынче поразил нас добросердечием и, я бы сказал, некоторой мудростью, в коей отказывали ему все его враги и, в первую очередь, Марий».

Действительно, после первых слов Суллы сенаторы вроде бы с облегчением вздохнули. Во всяком случае, спала пелена полной отчужденности и открытой ненависти. Сенаторы подумали: «Может быть, боги не оставят совсем без ума этого человека?»

Между тем Сулла, понемногу вдохновляясь, продолжал свою речь:

– Я появился в Риме вовсе не для того, чтобы присвоить власть, принадлежащую сенату. Напротив, я твердо намерен искоренить тиранию Мария. И любую тиранию вообще. Ибо невозможно представить себе нашу республику, которую народ пестовал веками, без широкой демократии, без народовластия, говоря нашим языком, без сената, без его решающей роли во всей жизни Рима, всей республики. Так думаю я, сенаторы. Вот почему я здесь, и здесь мое войско, которое всецело принадлежит сенату и будет выполнять только волю сената. Я это торжественно подтверждаю клятвою перед богами!

Сенаторы зашевелились. Их черствые души чуточку смягчились. Наконец-то растаял ледок, покрывавший сердца сенаторов. Послышалось шарканье ног, зашуршали тоги – это сенаторы поворачивались друг к другу, обменивались тайными знаками и взглядами.

И это не ускользнуло от острых глаз Суллы. Он предугадал, какое действие возымеют его слова. Он целился из лука мудрости довольно точно. Стрелы его летели безошибочно. И попали в цель. Восторга еще не было. Но в воздухе уже витало нечто, что сулило оратору некоторый успех.

– Я понимаю, – продолжал Сулла, делая вид, что не замечает каких-либо перемен в настроении сенаторов, – Марий для некоторых из вас был высоким образцом квирита. Иные – я вполне это допускаю – даже любили его. Отчего бы и нет! Я тоже, будучи у него легатом в Мавритании, любил и уважал его. Мало его знал, но уважал. Этого не вычеркнешь из жизни, подобно неудачной фразе в любовном письме. Нет, сенаторы, я понимаю тех, кто привержен Марию. В конце концов, Марий не один год существует среди нас. Верно, он не раз избирался консулом. А это кое-что да значит!

Многие порадовались этим словам. Выражение лиц изменилось. Сенаторы уже не глядели на Суллу словно волки. Погода здесь менялась на глазах у всех присутствовавших при этом. Если все еще не было слышно приветственных возгласов, то следует иметь в виду, что речь еще не окончена. Семейографы работают в поте лица своего, торопятся за Суллой, который говорит, все говорит...

– Сенаторы! – Сулла поднял правую руку, точно хотел дотронуться до потолка. – Мы скорбим о жертвах, которые понесены с обеих сторон, о разрушениях! Ведь речь идет о Риме, о нашей с вами республике, о нашем с вами народе!.. Я думаю обо всем этом, и мне порою делается очень грустно, очень тяжело на душе... Нужно, чтоб жертвы эти не оказались напрасными. Я очень хотел бы, чтобы вы поверили моим словам. Я хотел бы, – подчеркиваю это. Но не требую этого от вас. Ибо надо верить не словам, но делам. Когда дело мое будет у всех на виду, когда вы увидите, что торжествует республика, а не Марий и не Сулла или еще кто-либо другой, – тогда и скажите мне, что вы думаете обо мне, о моих словах, о моих действиях... Итак, первое наше слово и действие должно быть обращено в защиту республики, в защиту наших традиций. Невозможно отбрасывать в сторону наше шестивековое развитие и насаждать тиранию в государстве, которое всегда презирало диктатуру, тиранию. Если греки в свое время придумали демократию, то они же выдумали и тиранию. Они испытали и то и другое. Но где же эти греки? Где их государство? Они превратились в жалких грекосов, а государственность их растоптана врагами. Причем главными врагами своей государственности явились не кто иные, как они сами, греки. Вот вам, сенаторы, парадокс: народ, сгубивший сам себя! Но...

Здесь Сулла сделал долгую паузу. Он скрестил руки на груди и словно бы задумался. Это «но» на мгновение озадачило сенаторов. Через это «но» не так-то просто перейти и самому оратору, ибо не было это слово обычным. То, что следовало за ним, должно было окончательно убедить сенаторов в том, что они глубоко заблуждались. Это надо было сделать не далее как через минуту... Никак не далее!

– Но Рим – не Греция. Не для того жили и боролись наши предки в течение шести столетий, чтобы на шею римскому народу уселся некий диктатор – будь то Марий или кто-либо другой. Власть в Риме принадлежит сенату, и только сенату!

Растопил, наконец-то растопил Сулла холодные сердца сенаторов. Одобрительные возгласы слышались то здесь, то там. Отцы отечества зашевелились: им были приятны эти слова. А почему бы, собственно, и нет? Разве они не были людьми? Разве тоги, отороченные пурпурными лентами, и senatorские башмаки делали их какими-нибудь особенными? Между прочим, все человеческое оставалось с ними, ничто им не было чуждо, и дворцы на Палатине не превращали их в богов. Лучше всех, пожалуй, знал это

Сулла. И, зная это, просто презирал их. Сколько бы ни пыжились эти так называемые отцы так называемого отечества, они оставались посредственностями – в этом Сулла совершенно был уверен. Глядя на них с высоты сенатской трибуны, он как бы читал на лицах их дурацкие письмена, начертанные невидимой рукой невидимой краской. Можно поражаться одному, как это они правят Римом? Разве это не сплошной самообман? Кто поверит, что это сборище толстых, толстенных, архитолстых, жирных, лысеющих и облысевших мужчин и впрямь правит Римом! Однако самообольщение подчас бывает бальзамом: пусть думают они, что правят Римом, вовсе не надо их в этом разубеждать. Напротив, стоит укрепить их в этом мнении. Надо дать им почувствовать величие их власти, их значение во всей вселенной. Сулла едва скрывал презрение к этой кучке лентяев, которые лучшим местом времяпрепровождения считали бальнеумы, бассейны с горячей и холодной водой и невыносимые парилки...

– О сенаторы! С горьким чувством придется мне поведать вам, что Марий, вознамерившийся пробраться в диктаторы, как нам стало известно, сбежал самым позорным образом. Это точное, вполне достоверное сведение. Вместо того чтобы явиться сюда, к вам, и в честном споре доказать свою правоту, он, переодевшись в одеяние восточного купца, приклеив себе бороду, бежал из города. Да, да, бежал, как комедиант! А ведь ему доверяли консульскую власть!

Сообщение Суллы действительно поразило сенаторов. Одни из них сразу поверили, другие – нет. «Неужели, – спрашивали себя эти, последние, – Марий мог так унизиться? Неужели не хватило у него смелости явиться под покровительство сената и выступить в сенате?»

Сулла говорил:

– Нам не надо ничего. А желали мы только одного – услышать здесь голос Мария, спросить у него: зачем ему понадобился диктаторский пост? Разве римские законы не дают достаточно прав действовать смело, высказываться смело, смело бороться за свои убеждения? Нет, сенаторы, не это ему надо было! Он помышлял совсем о другом. Ему нужна была власть, он был опьянен ею. Я понял бы его, если бы у него вовсе не было власти, если бы его, консула, лишили возможности исполнять свои обязанности. Я понял бы, если бы молодость и тщеславие толкали его на захват всей власти. Впрочем, наверно, и старости свойственно тщеславие, неумеренное властолюбие. Вкус власти, однажды испытанной, не дает уже покоя всю жизнь. Но ведь всему есть предел! И седина должна сдерживать необузданную страсть, а не разжигать ее. Марий своим позорным бегством, своим переодеванием окончательно лишил себя всяческого уважения римского народа. Теперь остается ждать развязки, и она не столь уж далека.

Это мрачное предсказание сенат воспринял не без содрогания. Сулла произнес эти слова бесстрастным голосом. И тем большее впечатление произвели они.

Далее Сулла перешел к ближайшим целям римской политической и военной жизни. Он. Сулла, мечтает о людях воистину сильной воли и мудрости, о людях, которые будут избраны консулами и магистратами. Ибо надо иметь сильную оппозицию, действенную оппозицию, чтобы противостоять ее критике и вести государственное дело по правильному руслу. Сотоварищи слабые, рыхлые, лишенные горячей мысли – всегда неприятный груз для государственного деятеля. Сотоварищи сильные духом, сильные телом, имеющие собственные глаза и уши – всегда благо для государственного деятеля.

Учитывая это, Сулла призывает избирать на высокие должности испытанных людей, если угодно, настоящих врагов Суллы. Это необходимо для блага республики.

Что же до военных дел – они предельно ясны: разгром Митридата неминуем, если Рим возьмется за дело как следует. Необходимо повести войско на Восток. Войско имеется. Его следует укомплектовать, экипировать должным образом и напутствовать добрым словом.

Оратор не называл имени полководца. Все понимали, что им будет Сулла. Единственно, что надлежит срочно исполнить, – это щедро открыть сундуки государственной казны для военного похода в Малую Азию. Все же прочее – забота самого Суллы и его войска. Они не уронят чести римского оружия...

В заключение Сулла еще раз пропел дифирамб в честь Римской республики. Еще и еще раз заклеил всяческую диктатуру и любых диктаторов. Всех мастей...

– О сенаторы! – воскликнул Сулла осипшим голосом. – Я клянусь вам, что не устану работать ради нашей дружбы. Я клянусь вам, что войско мое выполнит любое постановление сената и останется верным республике!

Он закончил свою речь. Сенаторы приветствовали его если не очень бурно, то, во всяком случае, вполне пристойно с точки зрения сенатских традиций.

Сулла сошел с трибуны, направился к своим друзьям. Его приветствовал Фронтан.

– Эти господа, кажется, довольны, – сказал полководец тихо. – Идем-ка отсюда поскорее – нам надо заняться настоящим делом.

И он покинул храм Беллоны.

4

С Децимом состоялся крутой разговор. Сулла знать ничего не желал: как это могло случиться, что удрал старикашка Марий? Как он провел Децима?

Объяснения центуриона ничего, собственно, не объясняли. Да и что можно объяснить?

– Он удрал из-под твоего носа, – сказал Сулла.

– Мы осматривали все дома... Мы рыскали по дворам, словно голодные звери, – говорил Децим, глотая горькую слюну.

Сулла криво усмехнулся:

– Это все – сказки для детей!

Децим не смел возражать.

– Идиотские рассказы для несмышленишек!

Децим глотал, все глотал слюну.

– Ты эти песни пой своим шлюхам!

Слышишь? Децим опускал голову все ниже и ниже.

– Как же это он все-таки улизнул? – Сулла стал против Децима, горячо задышал ему в лицо. Центурион мысленно прощался с жизнью.

Децим попытался кое-как связать слова:

– Значит, так, я вошел в один дом. Это после многих домов. Значит, мне говорят так: кого ищешь? Я, значит, говорю так: нужен один человек... Мне, значит, говорят: может, Марий? Откуда знаете, спрашиваю? Они говорят: он удрал, говорят. Его видели, говорят, вчера вечером, а нынче, говорят, он где-нибудь в Этрурии или еще дальше. И я тут же доложил тебе...

Сулла скрежетал зубами, дважды замахивался рукой на своего солдата, но не ударил. И, злорадно улыбаясь, учинял излюбленный допрос.

– Кто ты, Децим? Отвечай мне!

– Свинья, мой господин.

– А еще?

– Болван!

– Мало!

– Каракатица вонючая.

– Мало!

– Пададь! Пададь я! Издохший осел!

Сулла улыбнулся, погрозил пальцем:

– Осел да еще издохший? Ты верно изобразил себя, на этот раз прощаю.

Он налил вина себе и Дециму. Центурион перевел дух. Смахнул капли холодного пота с кончика носа, со лба, с подбородка.

– Будь здоров, Децим!

Децим улыбнулся. Подобострастно. Как самый преданный слуга, как собака, охраняющая двор.

– Выпьем по второй, – предложил Сулла.

Вино было терпкое, прохладное. Отдавало виноградными косточками. Децим был голоден, искал глазами: нет ли чего на столе?

Сулла налил еще, выпил сам, заставил пить Децима. А солдату не до вина, хотя бы кусочек сухого хлеба в рот. И в эту самую минуту Эпикед внес огромное глиняное блюдо с отварными телячьими сердцами. Мясо дымилось. И хлеб был совсем свежий. Подрумяненный.

– Садись, – приказал Сулла Дециму. – Ешь и слушай, что скажу.

Сулла положил себе целое телячье сердце, разрезал его пополам, поделился мясом со своим центурионом. Он любил Децима особенной любовью: ему одному прощал то, чего не прощал никому. Децим был собакой, мулом и кошкой в одно и то же время. Более всего любил Сулла кошек, собак и мулов. А прочее все живое – презирал. И не столько презирал, сколько ни во что не ставил. Что человек, что былинка – одно и то же! Никто не учил его этому. В Сулле это родилось вместе с ним, в один и тот же день. Никто не возбуждал в нем гнева против людей. Гнев уместился в нем так же естественно, как сердце. И это лучше всех знал Децим. А может, и Эпикед.

– Децим, – сказал Сулла, глядя куда-то в сторону, – с этим Марием ты дал маху. И судьями тебе будут боги!

Центурион перестал жевать. Весь обратился в слух. Наклонил голову набок в знак особого внимания.

– Они тебя накажут в той мере, в какой ты это заслужил. И ты не откупишься ничем. Это уж поверь мне!

Децим не дышал. Положил руки на стол, точно хватался за него, чтобы не утонуть, чтобы не унесло его быстринной.

Сулла побарабанил пальцами, бросил на него косой взгляд. Точно целился в него из лука. Не просто глядел, но изучающе. А что, собственно, изучал? Разве не ясен этот центурион? Разве не есть он самый законченный и с военной точки зрения самый удобный тип солдата? Внимает начальству, исполняет приказы в точности, не знает пощады к врагу. Что же еще требуется от центуриона?..

– Децим, – мрачно произнес Сулла, и по спине центуриона снова побежали мурашки, – скажу тебе нечто, и ты запомни это. Запомни и доподлинно исполни.

Солдат смотрел прямо в зрачки своему начальнику. Он готов на все. Он исполнит приказание в точности. Немедленно. Беспощадно. Если даже речь пойдет о родном его отце.

– Есть тут некий народный трибун. Есть, к сожалению, такая должность. Она до сих пор сохранилась в Риме. Это прибежище для бездельников. Это придумали некогда лентяи. Но об этом после. Одного из таких трибунов звать Сульпиций. Это – изверг. Это – убийца, каких не видел свет. Попадись ты ему, и он прикажет истолочь тебя в порошок. Ты понял, – в порошок?

– Да, понял.

– Он и меня готов сожрать. Словно удав кролика. Ты меня понял?

– Да, понял.

– Сульпиций – это правая рука Мария.

– ...Правая рука, – прошептал центурион, не сводя глаз со своего начальника.

– Сульпиций – не только правая рука. Но и зачинатель всего гадкого в Риме. Он хотел убить меня во что бы то ни стало.

Центурион схватился за рукоять меча.

– Он окружил меня своими ищейками. Это было перед тем, как я прибыл в Нолу.

Децим прорычал что-то нечленораздельное. Точно собака, посаженная на цепь.

– Да, Децим, и чуть было не прирезал меня. Я был один, а их было пятьдесят, сто. А может, и больше!.. Я рассказывал вам об этом, когда прискакал из Рима в Нолу. Чудо спасло меня тогда. Ты помнишь это, Децим?

– Да, – сказал солдат.

– Децим, я приказываю тебе найти этого народного трибуна Сульпиция. Он, говорят, скрывается где-то в Риме. Возможно, даже на Палатине. Впрочем, не обязательно на Палатине. Если он скрывается, значит, у него имеются доверенные люди. Может, рабы доверенные. Лучше всего действовать через рабов. Пообещай им свободу, деньги, девиц, виллы. Что угодно обещай, но найди этого изверга. Найди его или добудь его голову и покажи мне ее. Ты понял?

– Понял.

– Послушай, Децим, делай все тайно. Не привлекай к этому делу лишних людей. Деньги тебе выдаст Эпикед. Послушай, Децим, ты должен добыть мне эту голову.

Центурион встал, выбросил вперед правую руку и провозгласил:

– Клянусь!

Потом пригубил вино и сказал:

– Пусть это вино станет для меня ядом, если я не выполню твоего приказа!

– Садись, – сказал ему Сулла. – Садись и жри себе на здоровье.

И трапеза продолжалась.

Они сидели в небольшой комнате, дверь которой выходила в атриум. Светильники ярко горели. Центурион дожевывал еду, запивал ее быстрыми, маленькими глотками вина. Он явно торопился. Наспех проглотив мясо и кусок хлеба, Децим встал, вытянулся.

– Иду выполнять приказ.

– Иди.

Солдат выбежал.

Сулла позвал Эпикеда. Он показался из-за колонны. И словно чем-то встревожен.

– Что с тобой, Эпикед?

– Ничего, господин.

– Врешь. Посмотри мне в глаза.

Эпикед вскинул черные-черные и грустные-грустные глаза.

– Болен?

– Нет.

– Плохие известия?

– Нет.

– Влюблен?

– Да.

Сулла оживился:

– Ого, влюблен! В кого же, ежели не секрет?

Эпикед таинственно улыбнулся.

Сулла сказал:

– Не надо. Не говори. Любовь любит тайны. Нет истинной любви без тайны.

– Знаю, – проговорил влюбленный слуга.

Сулла заинтересовался. Значит, Эпикед влюблен. Забавно! Такой серьезный, такой уравновешенный и вдруг – влюблен, И он задал – в который уже раз – вопрос:

– Скажи мне, Эпикед, ты не боишься женщин?

– Не знаю.

– Нет, ты мне отвечай прямо!

– Не знаю, господин.

Сулла смеялся: вот тебе и раз, боится женщин – это наверняка, – а сам влюблен! Как же это так?

– Слушай, Эпикед, а ты знаешь, что с ними делать?

– С кем, господин?

– С женщинами.

Эпикед растерянно моргал глазами.

– Ну, ну, подумай.

Слуга пожал плечами.

– Ладно, – сказал Сулла, – этому тебя научит Децим. Ты признайся мне в одном: она молода?

– Да, – прошептал слуга, краснея.

– Ну, сколько ей лет? Двадцать?

– Да.

– О боги! Как это занятно! – Сулла потирал от удовольствия руки. – Вдова? Разведенная? Девица?

Эпикед молчал. Сулла сказал:

– Ладно, не говори. Любовь любит тайны... Но запомни: если буду нужен – я с тобой. Мои деньги – твои. Мой дом – твой. Надейся на меня во всем!

Эпикед молча поцеловал руку своего господина. А господин продолжал рассыпать свои щедроты:

– Все, что пожелаешь, будет твоим. Слышишь?

– Слышу.

– Присмотри любой дом на Палатине.

– Спасибо.

– Если кто обидит – скажи мне.

– Спасибо.

Сулла прищурился:

– И при случае покажи мне ее. Если откажет, – не будет ей пощады. Слышишь?

– Слышу, господин мой.

– А теперь... – Сулла ударил себя кулаком в грудь, – а теперь зови сюда моих друзей. Где они?

– Актеры, господин мой?

– Разумеется.

Эпикед вышел и привел с собою трех актеров. С ними были девицы: одна толстушка, а две другие – помоложе – высокие и худые. Каждой из них не было и тридцати. Этакie столичные красотки, причесанные, надушенные и накрашенные по самой последней моде.

– Э! – радостно воскликнул Сулла, раскрывая объятия. – Кого я вижу? Все мои старые друзья! Дорогой Ферекид, нестареющий, неунывающий, по-прежнему забывающий свои роли! А вот и Гортензий – милый, пухленький мальчик! Милый Тукеа, который никак не может подрасти.

Говоря это, Сулла обнял каждого из актеров. Облобызал их. Потрепал за плечи. И застыл перед женщинами, ибо видел их впервые в жизни. Впрочем, Сулла пытался припомнить: не встречал ли девиц где-нибудь и когда-нибудь? И чистосердечно признался:

– Не знаком. Не видел. Не целовал. Не спал.

Толстушка успела шепнуть своим подружкам, что этот старичок довольно мил и что напрасно болтают о нем всякую всячину.

– Могу ли я познакомиться с красотками? – спросил Сулла актеров.

– О да! – сказал Ферекид.

Сулла чмокнул в губы каждую из девиц – и знакомство таким образом состоялось. Он успел при этом пощупать груди.

– А теперь я их представлю, – сказал Ферекид, лысоватый мужчина лет пятидесяти. – Вот эта, похожая на римский подрумяненный хлеб, – милейшая Атицилла. Она требует, чтобы за нею ухаживали долго, долго. – Ферекид посерьезнел до крайней степени. И внушительно произнес: – Она никогда не отдастся раньше второй стражи...

Атицилла хихикнула, сбросила с себя легкий шелковый плащ и осталась в одной розовой тунике без рукавов.

– А эта, – продолжал актер, делая вид, что сообщает сугубый секрет, – Перегринна. Моя любимая, очаровательная Перегринна. Она слишком скромна. Она слишком недоступна... – И вдруг актер застыл. Онемел.

Пегрегрина одним резким движением рук сорвала с себя тунику, и Сулла увидел прекрасное тело на исходе двадцать пятой осени. И увидел те самые груди, которые на ощупь показались двумя неспелыми кампанскими грушами.

– Похвальная скромность, – сказал Сулла, едва касаясь губами холодных сосков Перегринны. Она смотрела на него из-под длиннющих ресниц столь вызывающе, что Сулла на мгновение оробел. Оробев, он мысленно похвалил себя за то, что все еще способен робеть перед девицей.

– А третья красотка пусть представится сама, – сказал актер. – Я устал.

– Галла, – сказала девица. – Я просто Галла. Меня зовут подруги Галла-девственница.

– Ха-ха-ха, – захохотали актеры. – Это правда. Так ее зовут. За одно ее очаровательное качество!

Сулла подошел к ней, почтительно взял ее руку, погладил ладонью. Он не спускал с нее глаз. Эта римская куртизанка могла поспорить красотой с самой Юноной или греческой Афродитой. Все, как говорится, было при ней: и головка, и шея, и груди, и широкие бедра, и высокие ноги.

– Девственница? – сказал Сулла. – Деточка, это не самое худшее прозвище. Не стесняйся его.

– И не думаю! – смело сказала Галла. – Но ты у меня будешь первый... Клянусь богами!

И рассмеялась. И зубы у нее светились, точно стекло на лунном свету.

– Да, – подтвердила Перегринна, – ты будешь первый... Сегодня, разумеется.

Сулла поклонился, давая понять, что и за то премного благодарен.

Ферекид сказал:

– Делай с ними, что хочешь, а на нас не рассчитывай. Мы слишком устали. По три представления на день – римляне совсем с ума посходили: глазают на тебя и хлеба не просят. Они сыты театром! И нам не до женщин.

Его друзья-актеры подтвердили то же самое: они нынче ни на что не способны. Только могут выпить. Только поесть. Галла прикинулась несчастной:

– Каково нам, Сулла? От такой жизни – когда от тебя отказываются мужчины – с ума сойдешь.

Эпикед уже расставлял чаши и тарелки. Девицы располагались за столом по своему усмотрению. Комната наполнилась запахом благовоний, словно сюда свезли целую кипрскую лавку.

– Девушки! – обратился Сулла. – Вы слышали, надеюсь, что говорили мои друзья? Вас ждет скучная ночь в обществе одного пожилого мужчины.

– Кто он? – спросили весело девицы.

– Это он! – сказал Сулла и ткнул себя пальцем в грудь.

– А мы согласны! – ответила Перегринна.

– Это в моем вкусе, – подтвердила «девственница».

Толстушка надула губы.

– А она молчит, – заметил Сулла, указывая на нее.

Атицилла подперла руками подбородок и смешно водила глазами, причмокивая губами.

– Я ревнива, – проговорила она. – Я ревнива.

Сулла подошел к ней сзади и поцеловал ее. Она впиалась в него. Долго не отпускала.

5

Децим вызвал Коринну для беседы в сад. Он желал поговорить с нею вдали от родительских ушей. Они уселись на громадную прохладную скамью. Время было теплое: только что прошли сентябрьские календы. Зеленое небо нависало огромным шатром. Тяжелая сочная зелень ложилась прямо на плечи. Сумерки витали в саду – тихие, прозрачные сумерки.

– Я тебя люблю, – заявил Децим.

Коринна улыбалась, глядя куда-то вдаль, хотя не было здесь этой дали. Солдат говорил слишком откровенно, и, возможно, именно это и веселило ее.

Децим достал большой, хорошо наточенный меч и положил его рядом с собой. Как видно, он был далек от шуток.

– Вот, — и он указал пальцем на меч.

– Вижу, – игриво бросила Коринна. – Это называется меч? И им убивают?

– Между прочим, да!

Децим вытер ладонью мокрые губы, словно хотел их оторвать от себя.

– Значит, меч. А здесь – любовь.

И он приложил руку к своему сердцу. Она вскинула тонкие, подведенные черной краской брови. Коротко спросила:

– Где любовь, Децим?

Солдат с готовностью указал на левую сторону груди. И это ее еще больше развеселило. И чем больше она смеялась, тем больше он мрачнел. Как небо в осеннюю непогоду, потемнел лицом. Позеленел от злости. И солдат снова указал на сердце:

– Вот здесь! – И для пущей ясности сообщил нижеследующее: – Коринна, ты знаешь моего хозяина, моего вождя. Это великий Сулла. Он благоволит ко мне. А я предан ему. Горе тебе, если не полюбишь меня!

Она крайне удивилась, то есть сделала вид, что удивилась. Коринна все читала на его лице и каждое его движение и каждое слово уже знала наперед. Так что ей незачем было удивляться. Разве что для показа.

– Вот этот меч... – Децим указал на оружие. – Я им убью тебя.

– За что же, Децим?

– Если не полюбишь.

– Это твое объяснение в любви?

Солдат кивнул.

– И многих ты соблазнил таким способом?

Децим не нашелся что ответить. Она явно издевалась над ним – он это чувствовал. Даже при всей своей толстокожести.

Кровь прилила ему в голову. Он и в самом деле любил, а иначе бы ей несдобровать. Люди, которые сумели взять Рим, – необычные люди: море им по колено, все им – трин-трава! Разве победитель не имеет никаких прав? Неужели ему вымаливать любовь? В нем была солдатская гордость. Как-никак он – центурион римской армии!

– Коринна, – проговорил Децим глухим, странноватым голосом, – я, значит, люблю тебя. Ты мне, значит, нужна не как девка... А... Как бы это сказать? – Децим теребил свои волосы, не находя подходящих слов. – Я жениться на тебе хочу. Ты, значит, не смотри, что я простой солдат. Не ошибись, Коринна! Я слишком близок к Сулле. И мое желание – не просто желание простого солдата. Я, значит, хочу, чтобы это прочно втемяшилось тебе в голову... Потому, значит, что люблю тебя... А жениться не обязательно сейчас. Вернусь из похода – тогда и решай. Я жить буду на Палатине. Попомни мои слова!

Упоминание о походе несколько поуспокоило Коринну, Этот приставучий солдат способен на все. Она ухватилась за слово о походе.

– Очень хорошо, Децим! – проворковала Коринна. – Я буду ждать тебя. Возвращайся из похода, тогда и решим окончательно. Только дерись как бешеный. За троих, а то и за десятерых. А сейчас я дарю тебе свой поцелуй.

И она звонко чмокнула его. В щеку.

Бедный центурион вовсе обмяк. Он был наверху блаженства. Это здорово! Это сказочно! Такая молодая и важная дама и так нежно его целует!

Это немного сместило Коринну. Но, как женщина уже не без опыта, она решила не смеяться, а немного посочувствовать ему. А затем – понемногу – его обожание возымело свое действие: не часто приходилось ей наблюдать истинное чувство. В солдате было нечто, что при внимательном рассмотрении не могло не понравиться женщине. Эта живая глыба, как это ни странно, оказалась начиненной довольно-таки нежными чувствами. И ей, отчасти из любопытства, отчасти из кокетства, захотелось разузнать, чем она так ему понравилась.

– Не знаю, – признался он.

– А я не верю. За что же ты любишь меня? Ну за что? – она взяла его грубые руки, напоминавшие руки мясника.

Губы не повиновались Дециму. И язык тоже.

– Я слушаю, Децим.

– Лю-блю, – пробормотал он.

Было в этом Дециме что-то привлекательное, неуклюжее, чисто мужское. Он, наверное, мог понравиться ей. И она игриво подумала: отчего бы и нет?..

– Послушай, Децим: что тебя привлекает во мне? Глаза, нос, губы?

Он покосился на нее.

– И глаза... – сказал он.

– Ха-ха-ха! – Она смеялась весело, беззаботно. – А это?

Она вытянула белые, без загара ножки, какие бывают только у истинной патрицианки.

– А это, Децим? Ну, смелее же!

На ней были легкие сандалии. Все пальцы ног – наперечет. Словно мраморные. Пахнут духами. Под ногтями – алая кровь. Очень красивые ноги.

– Тоже, – прошептал он.

Децим поднялся со своего места. Сказал тяжело, точно ему сдавливали горло:

– Коринна, я вечно буду предан тебе... Я больше не могу задерживаться. Я лучше приду завтра... У меня дело. Очень важное. Я сейчас уйду.

– Куда же, Децим? В свою палатку?

– Нет, у меня есть дом друзей. Но скоро у меня будет свой дом. А ухожу я сейчас в одну харчевню.

Он, казалось, не умел лгать. Во всяком случае, ей. Просил больше ни о чем не расспрашивать, ибо это «работа». Он должен быть в харчевне. И все!

Она пожурела его:

– У тебя свидание с какой-нибудь солдатской девкой?

Децим предельно чистосердечен:

– Нет. Они будут там. Но мне нужен некий раб. Мне теперь не нужны девки.

И он ушел, тяжело, как больной, ступая по садовой дорожке.

Коринна долго смотрела ему вслед. Смотрела и тогда, когда он уже исчез. И вдруг подумала, что этот неловкий, неотесанный детина в чем-то – может, самом главном – не уступает многим патрициям. И уж наверняка превосходит ее покойного мужа. Тот был старый франт, развратник. Неужели же Децим хуже его? Чем? Почему хуже?

Коринна пошла следом за ним. В ушах ее стоял хруст: сапоги центуриона тяжело давили на щебенку. Нет, это невозможно, решила она. Такой муж? Центурион? На одну ночь – дело другое. Этот буйвол сумеет поломать-таки кости... Затискать до хруста... Это тебе не подагрический патриций, раньше времени испивший до дна всю чашу любви. Децим, наверное, может показать себя на ложе... Но быть мужем?..

Коринна расхохоталась при одной этой мысли. Приходилось уповать на меткую Митридагову стрелу.

Недалеко от Большого цирка есть харчевня. Она тесна. Вечно в ней полумрак. Даже в самый ясный день. И грязно в ней. Зато уютно. Содержит ее некий одноглазый этруск. Из бывших гладиаторов. У него красивая жена, дородная баба. Не надо ничего, кроме нее, – люди придут сюда, лишь бы поглазеть на жену харчевника.

А харчевня эта самая что ни на есть простая. Для плебеев. Частенько заглядывают сюда и солдаты и гладиаторы-вольноотпущенные. И, разумеется, рабы, идущие мимо. Забегут на минутку, истратят краденый сестерций и – давай дальше!

Децим явился сюда, чтобы отыскать среди посетителей харчевни некоего слугу по имени Гилл. Тот, говорят, появляется вечерами в часу пятнадцатом или шестнадцатом. Здесь ли сейчас этот Гилл?

В харчевне скудный свет. Чадит очаг. Громко разговаривают подвыпившие солдаты. Ремесленники принесли сюда в изобилии запах пота... Где же этот Гилл?

Децим проходит меж грубо сколоченных скамей и столов, внимательно присматривается к лицам. Центурион не вызывает ничего особенного внимания – много таких шатается здесь.

А кто это в углу? Сидит один. Над полной чашей вина. С испитым, худым лицом. Болезненно желтый. Словно недавно переболел ужасной колхидской лихорадкой.

Это, судя по описанию, и есть Гилл. Сорокалетний раб.

Децим грузно садится напротив Гилла. Снимает блестящий шлем, с которым редко расстается, словно железо это приросло к его голове.

– Дружище, – говорит он, – я знаю тебя.

Гилл непонимающе глядит на него. Пытается что-то припомнить. Но память его нынче пуста, в отличие от этой чаши с дешевым красным вином.

– Я знаю тебя, – говорит центурион. – Тебя зовут Гилл. Ты – хороший малый. И ты – самнит, так же как и я.

Гилл молчит. На лице его – рубцы. Никогда не заживающие рубцы от вавилонских плетей. Рубцы на лице: крест-накрест. Несмываемый шрам бывшего рабства. Былых наказаний...

– Верно, – говорит он хрипло. – Ты прав, солдат. Я и есть Гилл.

– Я рад, что вижу тебя здоровым.

– Да, я здоров.

– А ведь ты не знаешь меня. – Децим смешно хмыкает. На его округлом лице – дурацкое выражение, улыбка болвана. Так кажется этому Гиллу. Это обыкновенный римский центурион. Подумаешь, невидаль какая! Да здесь их, в Риме, что нерезаных кур!..

– Да, я не знаю тебя, – мрачно изрекает Гилл.

– Есть у меня к тебе дело, Гилл.

Децим требуетпряного мяса и вина побольше. Самого лучшего, какое имеется в этой вонючей дыре.

Гилл сразу же проникается уважением к центуриону. В отличие от своих собратьев, этот, несомненно, при деньгах. Уважение еще больше вырастает, когда выясняется, что часть мяса и часть вина предназначены для Гилла...

Децим вдруг почувствовал приступ голода. Ему казалось, что он съест целого быка. Разговор в саду с Коринной довольно-таки утомил его. Даже физически. Проще биться с врагами целый день, нежели вести беседу с такой женщиной, как Коринна. Для этого требуется привычка, столичная нега и болтливость. Палатин имеет свои законы. Там ценят слово больше дела. Только умей болтать, а остальное – приложится.

Кусок мяса, который хозяин харчевни положил на стол, был величиной с голову годовалого теленка. Ничего не стоило разрезать его пополам острым кухонным ножом, которым впору биться с врагами. Лучшую половину Децим поддел острием ножа и передал Гиллу. Хлеб он разорвал так, как разрывают его солдаты после длительного похода.

Гилл, напротив, отнесся к еде спокойно. Он заметил, что мясо очень горячее. Хлеб – теплый, сказал он. А вино недостаточно остужено. Оно, кажется, давно стоит в этой духоте. Не перестояло ли?

Солдат не обратил внимания на все эти тонкости: главное, что можно пожрать, а остальное – неважно. Разумеется, одно горячее, другое похолодней. Все в жизни так: на всех не угодишь!

Гилл понял, что очень нужен этому центуриону. Неспроста этот вояка нашел его, неспроста угощает. Только спрашивается: на чьи деньги? На собственные? Зачем? А ежели – нет, то на чьи? Одним словом, ухо надо держать востро, а язык на привязи. Больше слушать и меньше болтать.

Римляне говорят: «Чем больше молчишь, тем выше подынешься по служебной лестнице». А еще: «Тот магистрат умнее, который умеет молчать». Народ этот дошлый: даром что прожил долгую жизнь и завоевал полмира. Но пусть попробует этот солдат вырвать у него хоть что-нибудь: Гилл будет нем как рыба.

Этот вышколенный слуга рассуждал на свой лад очень правильно. Навидался всего. На его глазах гибли болтуны. На его глазах возвышались молчаливые дураки. Так устроена эта жизнь: человек что в лесу – он должен умело проходить сквозь чащу, где надо – пригнуться, где надо – и проползти...

Повсюду рыщут соглядатаи. Одни выведывают тайну для Мария, другие – для Суллы, третьи – для господина Сульпиция, у которого служит Гилл. И все клянутся, что служат верой и правдой Риму. Все! А так ли это на самом деле?..

Гилл приготовился к тому, чтобы дать центуриону молчаливый отпор. Будет молчать. Как рыба. Не проронит слова, которое можно использовать для доноса. Пусть начинает этот солдат – Гилл готов ко всему. Итак...

Однако Децим занят своим мясом. Он жевал с превеликим удовольствием. Даже вовсе позабыл о Коринне. А уж о Гилле – тем более. В нем жил некий зверь – прожорливый и беспокойный. Угодить этому зверю не трудно, однако совершенно необходимо. Сейчас он дожует вместе со зверем последний кус мяса, и тогда можно будет вспомнить о Гилле.

Гилл никогда не был на войне. С малых лет его заковали в цепи и заставляли работать. Позабыл, откуда родом. Не помнил своих родителей. Жил, как щенок. Щенок, который через месяц забывает обо всем, теряет вкус материнского молока и ласкается к новому хозяину. Он даже способен дружить с котенком, буде попадетсся котенок. Гилл мечтая о доле гладиатора. Но для этого был чересчур немошным, гладиатором Гилл не стал. На волю уйти не удалось. Он слышал, что многие рабы бегут в ближайшие горы, иные – в Сицилию. В Сицилии, говорят, раздолье для беглых рабов. Взял в руки нож, перерезал глотки проклятым господам – и в горы, к отважным, свободным рабам! В Сицилии, говорят, тысячи свободных рабов, может, там скоро, скоро будет свободное государство рабов. Вернее, бывших рабов! А здесь – как в клетке. Здесь ни свободы, здесь ни жизни настоящей. А разве Гилл не мечтал о настоящей жизни? Чтобы женщина рядом. Жена. Чтобы дети рядом. Девочки и мальчики. Но чтобы без господ. Чтобы без плетей, розог и кандалов.

Может быть, и впрямь податься в Сицилию? Туда уходят многие. Даже из Рима. Там, говорят, все равны. Свобода любит мечи. Там, в горах Сицилии, много мечей. Рабы сильны. У них свои когорты. Мало начальников. Много мечей. И много свободы...

Говорят, римские когорты давят там рабов. Давят, да никак не раздавят. Гилл всей душой стремится в Сицилию. Но почему-то не может выбраться из этого проклятого Рима. Рим засасывает. Здесь как в трясине: сверху тонкая, изумрудная трава, а под нею – бездонность, грязная бездонность, откуда нет выхода. Здесь идут только вниз – медленно, верно.

Рим велик. Находится место для всякого. Для сильного мира сего и для вольноотпущенника. Живут на Палатине, живут и на грязном Целийском холме. Красавицы здесь на любой вкус и за любую цену, дорогие, дешевые. Рим развратен. Рим целомудрен. Рим беспощаден. Рим добр и певуч. Рим на всякий вкус. На молодой и старый. Менять его на голые горы Сицилии? Об этом надо хорошенько подумать... И Гилл думает. Здесь. В этой харчевне одноглазого харчевника. По вечерам. За вином...

– Ну вот, – говорит Децим. У него жирные губы. У него веселые глаза. Он выпил все свое вино. И потребовал еще. Он торопит Гилла: дескать, ешь, пей, наворачывай!

Понемногу и Гилл веселеет. Он тоже человек: раз льет в себя вино – к тому же даровое, – поневоле отходит от мрачных мыслей и окунается в бурные винные струи, которые знают, куда нести свою жертву.

– А ты мне, кажется, нравишься, – говорит он Дециму.

– А ты – мне.

– Как тебя звать?

– Децим.

– Децим, ты храбрый воин?

– Да.

– У тебя есть шрамы?

– Есть. Много. В паху и на заднице.

– На заднице? Бежал, что ли?

– Нет, ко мне подкрались сзади.

Гилл криво усмехается. Проводит рукою по своему лицу – крест-накрест.

– У меня тоже шрамы, – говорит он.

– Мечом, что ли?

– Нет, кнутом.

Децим не представляет себе, как это можно кнутом. Он что, острый, как нож, что ли?

– Нет, – поясняет Гилл, – горячий, как огонь.

– Ты пей, наверстывай, – говорит Децим.

Гилл и сам знает, что надо выпить. Рабы знают не меньше господ, между прочим. Это только господа думают, что рабы ничего не понимают. Как бы не так!

– Ты мне нравишься, – говорит Децим.

– И ты – мне, – отвечает Гилл.

– Слушай, Гилл: я буду пить с тобой. Мы будем много пить. Так надо мне. Потому что, значит, вот здесь – любовь. Моя Коринна – в сердце моем. Я убью ее или заставлю полюбить меня.

– Лучше убей, – советует Гилл.

– Зачем?

– Убей. Так будет лучше. Поверь мне.

Децим удивлен. Взять и запросто убить?

– Да, Децим. Запросто.

– О боги! Что ты мелешь, Гилл?

– Убить! – повторяет Гилл.

– Кого убить?

– Твою эту... Как ее?... Коринну.

– Зачем?

– Так лучше.

Гилл упрям: раз сказал убить, значит, так надо. Но это же не доказательство. Это просто слова.

– Слова? – говорит Гилл. – А ты знаешь, что господа убивают словом? Скажут, и тебе – каюк!

Децим требует холодной воды. Побольше холодной воды. Для себя. И для Гилла. Надо остудить себя. Надо понять, зачем убивать Коринну. А для этого нужна вода. Она омывает мозги. Это полезно.

– Не буду, – говорит Гилл.

– Выпей воды.

– Не буду, Децим. Я трезв. Слишком трезв. Я лучше выпью вина.

– Тогда пей вино!

Децим тоже пьет вино. И приступает к делу.

– Гилл, – говорит он с места в карьер, глядя Гиллу в глаза, – убей одного человека.

– Кого? – удивляется Гилл.

– Одного человека.

– Коринну твою?

– Нет. Скажу кого.

– Зачем?

– Ради меня.

Гилл смотрит на него долгим взглядом.

– Хорошо, – говорит он просто, словно речь идет о том, сорвать айву или не сорвать с дерева.

– И мы с тобой будем братьями...

– Хорошо, Децим.

– На всю жизнь...

– Согласен, Децим. Я одинок в жизни. Как перст.

Как быстро согласился этот слуга. Даже не раздумывает. Вот это здорово! Впрочем, он не знает кого. Надо же сказать кого. Назвать имя.

– Но можно и не убивать, Гилл.

– Хорошо.

– Можно привести его живьем.

– Хорошо, Децим.

– Можно даже указать, где он. Этого тоже вполне хватит.

– Согласен, Децим.

Центурион настораживается: ему не нравится, что этот Гилл согласен на все. Он не раздумывает. И даже не спрашивает кого. Децим полагает, что пришла пора открыть Гиллу все.

– Вот что, Гилл.

– Слушаю.

– У меня есть деньги для тебя.

– Не брешь?

– Клянусь всеми богами!

Гилл оживляется. Правда? Деньги? И много ли? Сколько?

– Пять тысяч сестерциев.

– Это цена предательства? – спрашивает Гилл.

– Разве мало?

– Ты будешь торговаться, Децим?

– Нет, Гилл. Сколько же?

– Гм... Сколько? – Гилл молчит и спрашивает, помолчав: – Кого я должен предать?

Надо рубить. Надо рубить наотмашь. Только так! И Децим рубит:

– Сульпиция!

Нет, Гилл не подскочил от удивления на грязной скамье. Не ахнул. Не вздрогнул. Нет, он даже и бровью не повел. Наверное, и раньше догадывался. Будто ему уже предлагали это.

– Сульпиция! – повторяет Децим.

– Слышал, – промычал Гилл.

– Твоего господина.

– Тридцать тысяч, и я укажу, где он, – говорит тихо Гилл. – Я приведу тебя, и ты возьмешь его голыми руками.

– Согласен, Гилл.

– Голыми руками...

– Идет, Гилл!

– Как птичку в гнезде...

– Очень хорошо.

Гилл пригубил вино. Еще раз. И еще раз. Он говорит:

– Я не спрашиваю, по чьему приказу ты действуешь...

– Ты умница, Гилл.

– И не хочу знать!

– Еще пять тысяч за это!

– Не хочу думать, что над тобою Сулла.

Децим остолбенел.

– Не бойся, Децим! Мы же теперь как братья.

– Это правда, Гилл.

– Я укажу, где он.

– Когда, Гилл?

– Завтра. В это время. Здесь же.

– Хорошо, Гилл.

– Деньги завтра же, Децим.

– Разумеется.

– На бочку! – Гилл хватил кулаком по столу.

– Идет, Гилл!

Децим встает. Что-то онемели ноги. Или ударило слегка в голову это вино?

– Гилл, а ты знаешь, Гилл, что полагается за нарушение слова?

– Знаю.

– А за болтовню?

– Тоже знаю.

– Я ухожу, Гилл. До завтра. Вот деньги для одноглазого. А эти для тебя. Здесь пять тысяч. Прощай, Гилл!

Гилл даже не поднял головы. Ничего не сказал.

6

Грязная римская улочка. Мы ее уже знаем немного: здесь живут башмачник Корд и зеленщик Марцелл, колбасник Сестий. Здесь же их лавки.

Сумерки уже вползли в эту улочку. К грязи с тех пор, как мы были здесь, прибавилось немало полуобгорелой мебели да застывшие уголья и серая зола, которых не успели еще убрать.

Башмачник Корд зажег светильник. Разогнул спину и вышел на порог, чтобы подышать воздухом и чуточку поразмяться. К нему подошел зеленщик Марцелл. Он уже запер лавку и собирался на свой чердак – пора на покой.

М а р ц е л л. Прохладный вечер, Корд.

К о р д. Пора уже быть ей, прохладе-то.

М а р ц е л л. Дожди идут в меру. В Этрурии и Кампанье – богатый урожай на фрукты. Между тем в Мавритании – засуха. В Нумидии – засуха. Финикийские засахаренные фрукты поднялись в цене.

К о р д. Моли богов, чтобы хлеб не вздорожал.

М а р ц е л л. Говорят, он скоро будет бесплатный.

К о р д. Опять бредни новоявленных гракхов! Я терпеть не могу брехунов. Кто слышал, чтобы хлеб валялся на прилавках, как булжники? Совсем бесплатный! Опупел ты, что ли?

М а р ц е л л. Сулла обещает бесплатный хлеб...

К о р д. Кто?

М а р ц е л л. Сулла.

К о р д. Это тот самый, который вчера сжигал город? Погляди вокруг, сколько золы...

М а р ц е л л. Хлеб, говорят, будет совсем бесплатный...

К о р д (с ехидством). А зелень?

М а р ц е л л (серьезно). Платная!

К о р д. И спаржа за деньги?

М а р ц е л л. И спаржа.

К о р д. А петрушка?

М а р ц е л л. Тоже платная.

К о р д. А мавританская трава?

М а р ц е л л. Как и всякая зелень – платная.

К о р д. Почему это так? Объясни мне. (Иронически.) Хлеб – бесплатный, а петрушка – платная?

М а р ц е л л. О!

К о р д. Что «о»?!

М а р ц е л л. То, что слышал! Зелень поднимется в цене. Вот увидишь! Я скажу почему. Зелень требует тцания великого и ума. Зелень требует рук. Зелень без воды сохнет. Над каждой грядкой надо потеть. А хлеб?

К о р д. Что хлеб?

М а р ц е л л (пренебрежительно). Хлеб сеют преимущественно люди глупые. Они идут за плугом, погоняют буйволов или быков. Сеют – и хлеб вырастает.

К о р д. Без хлеба ты подохнешь. А без твоей мавританской зелени вполне обойдутся.

М а р ц е л л. Ты вперед не забегай. И не перебивай меня...

К о р д (ворчливо). Ладно, дуй себе дальше!

М а р ц е л л. Хлеб нужен всем. Как и вода. Тот, кто даст бесплатный хлеб, – тот заслужит любовь.

К о р д. Любовь? Чью?

М а р ц е л л. Народа.

К о р д. Ты или слишком уж умный, или круглый дурак. При чем тут народ? Его спрашивают? Он кому-нибудь нужен? Народ – быдло! Понял?

М а р ц е л л. Значит, и я?

К о р д (резко). Да, и ты!

М а р ц е л л. А ты сам?

К о р д. Что – я сам?.. (Чуть не крича.) Я сам первый осел! Я – мул несчастный! Баран! Ты думал, что я себя пощажу? Скажи, думал?

М а р ц е л л (прислонился к стене, почесал кончик носа). Раз мы с тобой бараны, ослы и прочий домашний скот, то о чем нам говорить? В глубине души я верил, что я человек. Или подобие человека. Ты меня начинаешь убеждать совсем в другом.

К о р д. Я же не со зла.

М а р ц е л л. А все-таки хорошо – бесплатный хлеб. А? Пошел к булочнику – буханка у тебя в руках. Без особых проволок, даже «спасибо» можно не говорить. А можно и сказать, от этого тебя не убудет.

К о р д (смеется). Какой же ты еще слабый и маленький! Тебе бы только мечтать! Впрочем, все мы такие. Я же сказал – быдло! О чем мечтаем-то? О буханках! Лишь бы желудки набить! Жратвы бы побольше! А как же душа?

М а р ц е л л. Это еще что такое?

К о р д. Душа, что ли?

М а р ц е л л. Да, душа.

К о р д. Я, значит, маху дал. Душа, верно, ни при чем. Мы же быдло!

М а р ц е л л. Ты никогда не отличался мягким характером. Но нынче ты что-то очень и очень не в духе.

К о р д. Да, во мне все горит. От гнева. От бедности нашей. От нищенства, я бы сказал.

М а р ц е л л. Недаром ушел от нас Крисп.

К о р д. При чем здесь Крисп?! Он – человек беспокойный. Он взял оружие и примкнул к победителям. Знает свое дело. Далеко пойдет. Помяни мое слово.

М а р ц е л л. Он давно был за Суллу. Потому что этот, говорят, за народ. Обещает большое богатство, говорят. Когда пограбит Митридата.

К о р д. И ты тоже надеешься на это богатство?

М а р ц е л л. Как и все!

К о р д. Значит, так: быдло надеется, и ты надеешься?

М а р ц е л л (безо всякой обиды). Угадал.

К о р д. Этот Крисп придет со щитом или его принесут на щите. Такие не любят середины.

М а р ц е л л. А может, приползет на брюхе?

К о р д. Всякое может случиться.

М а р ц е л л. А все-таки он длинноногий. Знает, что делает. Пошел не к Марию, а к Сулле.

К о р д. Дурак ты, Марцелл! Ты же только что сказал: он давно тянулся к Сулле.

М а р ц е л л (с ехидством). Тянулся! Может, Сулла – бог, и Крисп это угадал первым из нас.

К о р д. Бог не бог, но тебя может препроводить к праотцам. И даже глазом не моргнет. А может и помиловать. Разве это не бог? У него своя компания. Он – за богатых! За знатных; когда он говорит «народ», он думает только о них, а не о нас.

М а р ц е л л. Как глупы все эти земные боги! Сидят на нашей шее, да еще считают себя благодетелями. Настоящие боги не сидят на шее и не путаются у тебя в ногах. Я так скажу: будь ты бог или не бог, но не мешай жить людям!

Корд смачно сплюнул.

По мне, был богом Апулей Сатурнин. Слышал про него?

Корд мычит.

Слышал, говорю?

К о р д. Ну и что потом?

М а р ц е л л. Он сочинил закон о дешевом хлебе. Вот это да! И Сулла обещает, говорят...

К о р д. Крисп вернется со щитом...

М а р ц е л л. Ты его уважаешь. Плюешь на него, но там (ткнул себя пальцем в грудь) ты его уважаешь.

К о р д. Может быть. Я редко кого уважаю.

М а р ц е л л. Давай пойдем к своим старухам и к детям, а эти – сильные мира сего – пускай наводят порядки. Ломают себе шеи. Наше дело – сторона.

К о р д (вздыхнул). Я давным-давно говорю это. Пошли. Я закрываю лавку.

М а р ц е л л. Погода портится...

Корд гремит огромным засовом.

7

– Ну? – сказал архимим Полихарм. – Что говорил Буфтомий там, в Ноле?

Сулла подтвердил, что предсказание прорицателя сбылось. Что очень этому рад. Что рад тому, что Буфтомий нынче в гостях у него и что он может оказать гостеприимство Буфтомию здесь, в Риме.

Сулла крайне любезен, крайне радушен.

– Эта ночь наша, – сказал Сулла. – И никто нам не помешает провести ее так, как хотим.

Кроме Полихарма и Буфтомия были здесь уже знакомый нам Милон, ваятель Басс Камилл, два маркиганта, Африкан и Оппий, и еще некая поэтическая бездарность, которую представил Полихарм.

– Гениальный поэт, – сказал архимим. – Его долго отовсюду гнали.

– Кто же его гнал? – спросил Сулла.

– Разумеется, Марий.

– Марий? – Сулла обратился к поэту: – Отныне твоя муза будет свободной. Ты будешь петь на свой лад, и никто не посмеет обижать тебя.

Поэт схватил руку своего благодетеля.

– О великий! – тонким голоском вскричал поэт, целуя руку. – Сколь целебны твои слова! Сколь они милы моему раненому сердцу!

– Будет, будет, – снисходительно сказал Сулла, заметив слезы на глазах служителя муз. – Как твое имя?

– О великий! Оно еще столь безвестно, что стыдно даже произносить его. Но что поделаешь! Такова судьба гонимых, презираемых, угнетенных певцов... Мое имя едва ли что-нибудь скажет тебе...

– А все-таки, милейший, назови себя.

– Вакерра, о великий, Вакерра – твой слуга.

– Нет, не слыхал, – сказал Сулла. – Но это ровным счетом ничего не значит. Я, говоря по правде, мало знаю поэтов... Что такое служитель муз? Сегодня он в тени, а завтра – глядишь, соперничает с Гомером. И начинает жить в веках, подобно Гомеру.

Вакерра был польщен.

– О! – воскликнул он. – Сразу видно знатока! Великие люди, о Сулла, всегда любили поэзию. Они оказывают ей свое внимание. Спасибо тебе, о Сулла!

Поэт снова схватил руку полководца и прильнул к ней. Горячими губами. В благодарственном поцелуе.

– Ладно, ладно, – промолвил Сулла.

– Я был гоним, о Сулла! Но теперь я вижу свою гавань. Я чувствую руку того, кто оборонит меня от злых людей. Марий пытался погубить мою музу. Он...

И вдруг поэт перешел на стихи. У него, впрочем, хватило ума декламировать нечто совсем не длинное. В стихах Сулла прямо не упоминался, но что-то туманно говорилось об «отважном, спасшем Рим от тирании». И Сулла вполне мог принять это на свой счет.

– Милейший, – решительно заявил Сулла, – отныне покровителем тебе будет моя восточная армия. Там, где будет мало моей помощи, там встанут мои баллисты и катапульты. – Он подумал. – Вот что: есть у меня на примете одна вилла. Она недалеко. Здесь. Под Римом. Вернусь с победой – и она станет твоею.

Все слышали это обещание. Актеры горячо аплодировали. Архимим сказал:

– О Сулла, твоя щедрость воистину безгранична. Тебе благоволят боги, а ты благоволишь, словно бог, своим маленьким друзьям.

Сулла поцеловал актера в губы. Чмокнул на всю комнату.

Нынче красные пятна на его лице выделялись резче, чем обычно. Это бывало с ним в моменты радости или в моменты гнева. Полководец громогласно объявил, что эта ночь принадлежит ему и его друзьям, что не желает заниматься делами, не хочет ни о чем думать. Веселья, вина – вот чего жаждет его душа!

Маркитанты, богатеющие возле легионов, сообщили Сулле сегодняшнее меню. Он слушал их весьма серьезно, делал замечания, одобрительно кивал. Полководцу понравилось почти все, но выразил пожелание, чтобы гостям был предложен еще один сорт вина. Не сказал какой. Дал понять, что урну с этим вином внесет в свое время Эпикед, все распробуют его, и тогда, только тогда, если оно понравится, – оно будет предложено пирующим. Африкан и Оппий живо согласились с ним и, в свою очередь, предложили некий сюрприз: блюдо, которое почитается в Колхиде и которое большая редкость.

– Прекрасно! – сказал Сулла. – Но торопитесь же, моим гостям явно неймется.

– В соседней комнате столы ждут нас, – сообщил Африкан.

– Чудесная весть! – вскричал Полихарм.

Африкан провел гостей и хозяина в соседнюю комнату, приспособленную под триklinум. Столы и лежа вполне умещались, и было достаточно простора и для слуг, разносящих блюда.

На столе вместе с яствами стояли лампы о многих свечах. Они освещали стол ровным, желтоватым светом. Им в этом содействовали весьма усердно четыре светильника, стоящие в четырех углах. В бронзовую коринфскую курильницу были подсыпаны крупы финикийского ладана – в комнате стоял легкий аромат, точно в храме Юпитера. Оппий щедро полил головы и руки гостям кипрскими духами. И комната наполнилась смесью ладана и духов, тем легким дурманящим запахом, который хорошо знаком великосветским кутилам.

Закуску Африкан придумал отменную: копченый сыр, приготовленный над огнем, мягкий сыр из этрусской Луны и сыр из Требулы, смягченный в воде. Сыры были положены на ярко-синие глиняные тарелки. На голубых тарелках – ровно нарезанный керкирский лимон. И тарелочки – совсем маленькие, глубокие – с маслинами. На четырехугольных блюдах лежала скумбрия под острым гесперийским рассолом, а меж рыб ярко желтели яичные желтки в голубоватых обрамлениях белка. Ярко алели на столе гранаты из поментских садов.

Римский гурман – даже самый привередливый – назвал бы закуску тонкой, превосходной. Но Африкану мало этого: вот еще и холодное мясо козленка, отваренного в молоке по колхскому правилу. Оно манило гостей. Куски козлятины были положены на яркую мавританскую траву, которая хороша и сама по себе, но особенно приятна с холодным мясом. Истинным ценителям пиршеств была предложена также менапская ветчина, нарезанная тонко.

Плоды персикового дерева могли служить прекрасной приправой к ветчине, если плоды эти мелко порезать и положить на нее и вместе с нею отправлять в рот. Но и этого казалось недостаточно великому знатоку Африкану. Тарелки с жареными утиными шейками и грудками прибавляли особенные краски – неповторимые, ласкающие взор. Но – о боги! – разве есть предел чудесным желаниям маркиганта? Африкан велел изжарить десять кусков филе от десяти годовалых телят. Вместе с соком граната и лимона, вместе с теплым пшеничным хлебом они доставят пирующим истинное наслаждение. Однако закуска без дичи – не закуска. Африкан велел поставить на стол три десятка жареных и остуженных дроздов, каждую птицу окружив ожерельем из не очень спелых слив. Что такое холодный дрозд с кисленькими сливами? Закуска богов, ответят римские полуночники. Так оно и есть!

Сулле достаточно было бросить на стол мимолетный взгляд, чтобы оценить вкус и рвение Африкана и Оппия. Он подождал, пока выскажутся гости. Актеры сказали: все это для богов и они, гости, не смеют прикоснуться к еде. Ваятель промычал, словно корова при виде сочной травы. А поэт схватился за голову.

– Я онемел! – сказал он, смешно дрыгая то одной, то другой ногою.

– Отчего же ты онемел? – спросил Сулла.

Поэт прочитал стихи, растягивая слова, произнося их нараспев:
Если смерть мне будет приговором судей бессердечных —
Я закуски такой попрошу – и в царство теней отбуду
С радостью превеликой...

Сулла похвалил поэта. Дело не в слоге, а смысле, сказал полководец. В самом деле, закуска, поскольку это могут судить глаза, не слишком тонкая и не слишком грубая. Чересчур большая утонченность в пище скорее приличествует пирующим матронам. А грубая закуска – под стать ремесленникам, каким-нибудь там башмачникам или зеленщикам. Или мусорщикам, наконец. Истинный аристократизм заключается в соединении тонкого вкуса с грубоватым, крестьянским. Например, дрозда или перепела следует жарить со специями и достаточно долго на огне. А вот филе телячье – лучше всего по-крестьянски – с кровинкой в середине.

Оппий заметил: объяснить лучше, что есть истинная закуска, – просто невозможно. Сулла выразился, как поэт.

– Лучше! – сказал поэт.

– Куда же лучше, Вакерра?

– Как бог!

– Это – дело другое.

Сулла выразил пожелание поскорее возлечь на ложа и вкушать от пищи, рекомендованной Африканом и Оппием.

– Друзья моя, – сказал он, – я не прочь поговорить об еде, но ведь еще лучше вкушать ее. Не правда ли?

С этими словами он занял почетное место за столом, которое было указано Оппием. Эпикед принес урну с вином. Сулла приказал:

– Воду холодную или теплую – убрать. Мы обойдемся сегодня чистым вином.

– Эвоэ! – воскликнул на греческий манер Вакерра.

Сулла поблагодарил богов за добрый ужин и попробовал скумбрии. Попробовав, закатил глаза и завизжал. Подражая поросенку. Это очень развлекло гостей и ободрило их: они набросились на еду.

Эпикед к закуске припас бузы из прекрасного аттического меда и суррентского вина. Вместе с вином он подал гусиной печенки.

– Паштет из гусиной печенки? – изумился архимим.

– Он самый, – отвечивал Африкан, рассчитывавший на этот эффект.

– Откуда он? – продолжал изумляться актер. – Неужели гуси привозные?

– А как же? – сказал маркитант. – Лучшие гуси, которые дают прекрасную печенку, разводятся в Иллирии. Правда, и наши неплохи, если лациумские.

Актеры остановили свой выбор на бузе. Возможно, потому, что она быстрее, чем вино, ударяет в голову. Архимим признался, что это не пир, если не чувствуется вино. И

чувствоваться оно должно не где-нибудь, а именно в голове. Буза льется прямо в сердце, откуда и попадает в голову. А уж потом, для омовения внутренних органов, можно принять даже целую урну вина.

Сулла предпочел вино, а не бузу. В больших порциях. Вскоре за столом стало весело, говорливо. Кто-то вспомнил женщин, посетовал на их отсутствие. Однако маркитанты заявили, что нынче пир мужской. Не надо, чтобы кто-нибудь мало-мальски связывал речь: пусть она льется бурным потоком.

Сулла поддержал эту идею.

– Время от времени, – пояснил он, – надо встречаться мужчинам между собой. Поговорить по-мужски. Выругаться. Это очищает.

– Верно! – поддержал ваятель. – Ежели некогда на Лесбосе женщины предпочитали общество без мужчин, то почему бы и нам не остановить свой выбор на чисто мужской компании? Почему бы нам не предпочесть ее женской?

Поэт не согласился с ним. Вакерра высказался в том смысле, что женский визг порою облагораживает мужское собрание. А почему бы и нет? Глядишь: там беленькая лодыжка, тут розовое колено, а там еще кое-что. А шейка? А губки?

Ваятель его высмеял. Вакерра, сказал он, рассуждает, как землепашец, всю жизнь идущий за плугом. И не представляет себе, что есть нечто...

– Что значит «нечто»? – перебил поэт. Буза немножко возбудила его. Он время от времени ложится на живот и дрыгает ногами.

– Нечто? – Басс Камилл терпеливо пояснил: – Я имею в виду именно нечто. Разве мужчина порой не затмевает женскую красоту?

За столом поднялся шум. Одни кричат – да, другие – нет. Сулла слушает их и усмехается. Пьет себе вино. Очень это интересно, к какому все-таки выводу придут спорщики?

Сулла пил вино и закусывал сыром. Кусок копченого сыра, кусок сыра, смягченного водою, и – глоток вина. Нет закуски лучше в целом свете! Это только надо понимать. Маркитанты, например, понимают. Только так и напиваются настоящие лациумские питухи. А те, которые набрасываются на мясо, на дичь, на скумбрию, мешают бузу с вином, мед с лимонным соком, – просто обжоры. Им все равно, что с чем и что когда. Безразлично, в каком порядке. Вот, скажем, хлеб... Его надо обязательно съесть, если хочешь пить и не пьянеть. Вернее, не очень пьянеть. И ни в коем случае не закусывать фруктами. Они имеют свое назначение за столом. Это десерт. Но если много выпил – отказывайся от десерта. Пить вино – искусство. Да еще какое!...

Ваятель попросил Суллу разрешить спор.

– Я не в состоянии, – сказал полководец. Он наблюдал за тем, как лампа отражается в его чаше: золотой блеск на темно-алой поверхности вина! – прелестное сочетание! Но, полюбовавшись, сказал все-таки: – Любовь к женщине и любовь к мужчине зависят от натуры. И та и эта любовь имеют свои достоинства.

Затем он обратился к поэту:

– Скажи мне: сколько ты собираешься жить?

– Я? – Вакерра задумался.

– Скажем, семьдесят, – подсказал Сулла.

– Допустим...

– Пусть даже сто!

– Допустим!

– Сопоставь эти сто с вечностью.

– Сопоставил.

– Что получил?

– Ничего!

– Вот видишь, – сказал Сулла торжествующе, – ничего! А ты возлежишь за столом и размышляешь: нет, без женщин нельзя, с мужчинами скучно. А в могиле, скажи, не скучно?

Сулла улыбался. Ему было приятно, как задрожал этот поэт при слове «могила».

– Вот вам, господа, замечательный пример: человек привередлив, ему не эту, а другую подавай любовь, ему не этих, а других собутыльников приглашай! А что получается на проверку? Что получается, спрашиваю.

Казалось, Сулла сердится. И на самом деле он сердился и просто-напросто негодовал при мысли о том, что так мало остается жить, а тут еще заставляют выбирать любовь не по твоему желанию, а по чьей-то прихоти. Чего еще нужно этим дуракам, которые завтра навсегда сойдут в могилу. А сегодня они еще кочевряжатся и лезут к тебе со своим вкусом! Люби кого хочешь. Хотя бы козла!

Веселая компания решила, что мужская любовь имеет свою прелесть... Сулла не без основания вдруг подумал, что ему подыгрывают, что с ним безоговорочно соглашаются, памятуя его связь с актером Метробием. Ну что ж? Он не будет отрицать: Метробий был и остался его другом. Настанет день, и каждый, кто злословит по адресу Метробия или Суллы, будет держать ответ. Суровый ответ! Сулле тычут в глаза не только милого Метробия. Его попрекают бедностью. Разве не напоминают Сулле о его прежней римской квартире? Мол, такую квартиру мог снимать любой вольноотпущенник. Всех замолчать не заставишь. Да, пока еще не заставишь...

Рим не такой город, который молчит. Рим злословит постоянно. Рим столетиями морочит голову себе и другим. Рим раздувает.

Рим из комара делает льва ливийского. Женские языки в Риме и того хуже. Разве не поют песенку, слова которой состоят всего-навсего из трех имен?

Илия,

Элия,
Клелия!

Это три имени жен. Первой, второй, третьей. И со всеми – развод! Один конец. Потому что так нужно было. Присобачили к трем именам дурацкий мотивчик, который породили афинские лавочники. И получилась песня про Суллу. Пусть поют! Сулле ни холодно, ни жарко... Если уж говорить правду, Илия, Элия и Клелия – все, вместе взятые, не стоят и мизинца красавца Метробия! Если угодно, Сулла все это может высказать вслух, где угодно, хоть в сенате. И вообще он плевал на так называемое общественное мнение. Пусть точат языки за закрытыми дверьми, на супружеских ложах. Сулле ни холодно, ни жарко.

– За любовь! – провозгласил Сулла. – И пусть каждый придает этому слову свое значение. А кто нас осудит, – их и я, и все мы...

Тут он запустил такое ругательство, что остийские моряки диву бы дали. Африкан добавил кое-что еще и от себя. В стиле испанских морских разбойников, развращенных до крайней степени. В Риме говорили, что хуже выгребной ямы воняет только язык испанских морских разбойников.

Ругань окончательно развеселила мужчин. Каждый поднимал чашу и пил напиток, который ему по сердцу. Кто-то вспомнил про музыку: будет ли нынче музыка?

Оппий успокоил: будет в свое время. Ведь пора еще детская, до рассвета, наступающего теперь около двух часов утра, – целая вечность.

Актеры буквально обжирались. Буза усиливала их аппетит.

Африкан приказал убрать все со стола, подать свежие салфетки и чистую посуду. Наступил черед для горячего. Что еще придумал Африкан?

Эпикеду помогали трое рабов – молодых, расторопных. Повара приготовили горячее только что: оно, таким образом, было, что называется, с пылу с жару.

Хлеб тонкий, особой выпечки, из крупчатой муки – белой как снег. Такой хлеб обожают в Дамаске. Финикийцы тоже подают его к столу. В праздничные дни. Только одним этим хлебом можно насытиться. Точнее, это хлебные лепешки...

Вот поданы на серебряных блюдах пулярки и каплуны под лимонным соусом. На них перья, и кажутся они совершенно живыми. Но это – лишь наряд, который легко снимается. Все кости выбраны загодя, мясо изжарено так, что кожица будет похрустывать на зубах. Однако оставлено в этом птичнике свободное место. Пирующие гадали: для чего оно предназначено? Чье царственное место среди пулярок и великолепных каплунов?

Наконец разрешилась и эта поварская загадка. На огромном блюде с потолка опустился павлин. Кто отдал его в руки повара? Актеры, казалось, натурально пожалели его. Они охали и ахали. Архимим прослезился – сказалось количество принятой бузы. Сулла успокоил его: компания выше всего, дружба превыше всего! Павлин жил на чердаке и слетел сюда в назначенный час...

Павлиньи перья переливались цветами радуги. Сверкали глаза его на ярком свету – Эпикед зажег специально для этого случая еще несколько свечей на коринфских подсвечниках.

Появилось фалернское. Бузу убрали. Вопреки протестам актеров: их убедили, что буза неприлична в присутствии его величества павлина.

Сулла – пока заново сервировали стол – беседовал с ваятелем. Речь шла о том, чтобы изваять бюст Суллы. Это нужно во всех отношениях: для сегодняшнего дня и будущих времен. То есть совершенно необходимо. У ваятеля имеется для этого уникальный кусок мрамора. Он бережет его для Суллы, и только для Суллы. Ибо кто есть Сулла? Спаситель республики. Кто есть Сулла? Друг всех художников. Кто есть Сулла? Друг всего народа. Нет, нельзя откладывать работу над бюстом до будущих времен. Жизнь превратна, человек – не камень.

Сулла сказал, смеясь, что вполне гарантирует ему еще лет сорок жизни. И себе тоже. Так что дело не столь уж спешное. Лучше всего позировать после восточного похода. Тогда все будет ясно. На душе станет покойней...

– На твоей душе, Сулла? – воскликнул ваятель.

– Да, на моей.

– Не верю, Сулла! Ты не из таких! Ты из непоседливых и беспокойных.

Сулла поцеловал его в лоб и пообещал сделать для него не совсем обычное.

– Что же? – полюбопытствовал ваятель.

– Увидишь сам. И скажешь мне спасибо.

Ваятель поцеловал полководцу руку в порыве особой благодарности, которую не выразить словами.

– Помяни мое слово, – сказал Сулла важно и обратил свой взор на павлина. Оппий вонзил длинный и острый нож в грудку чудо-птицы. На острие оказался самый лакомый кусок, и этот кусок Оппий преподнес Сулле. Сулла поблагодарил его, поднял высоко чашу и выпил за друзей. Он сказал, что высоко ценит их любовь. И в свою очередь оплатит им сторицей. Кто может сказать, что Сулла не держит своего слова? Ну, кто? Сказано – сделано! Таков закон, которого всегда придерживается Сулла. Он начнет с тех, кто возлежит за этим столом. Что надо, например, Африкану? Пусть скажет он, что надо?

Африкан засмутился. Но не очень.

– Одна небольшая вилла на Квиринале меня вполне бы устроила.

– Ты ее получишь, – сказал Сулла, как о деле решенном. – Вернемся из похода – и вилла будет твоя. – Он обратил взор на актера.

Полихарм, как говорится, не растерялся:

– О великий Сулла! Дали бы мне пятьдесят тысяч сестерциев, и я бы знал, что с ними сотворить.

Сулла и это решил в одно мгновение:

– Пятую долю ты получишь завтра. У Эпикеда. А остальную часть – по возвращении из похода.

Актер бросился целовать ноги своему покровителю. Тот был изрядно пьян и не возражал против пылкого проявления любви и благодарности.

– А ты, Оппий? Почему ты молчишь? Или тебе ничего не надо? Скажи – не надо?

Оппий плотно сжал губы, словно боясь их раскрыть.

– Молчишь?! Как рыба?! – кричал Сулла, прихлебывая вино.

– Мне ничего не надо, – сказал Оппий. – Я бы хотел вечно лицеизреть тебя, как сегодня.

Сулла уставился на него изумленным взглядом. Помолчал. Прищурил глаза. Поднял кверху палец.

– Оппий!

– Я здесь.

– Оппий!

– Слушаю тебя, о великий!

Сулла привстал, выкинул вперед правую руку, точно собирался принести клятву. И сказал весьма мрачно:

– Вы не знаете меня... Не пытайтесь возражать... Вы ничего не знаете... Вы глядите на меня кошачьими глазами. Бараньими глазами. Буйволовыми глазами... Вы – словно дворняжки. Виляете хвостами. А меня совсем не знаете!.. – Сулла перевел дух, потому что слова теснились в его горле беспорядочно, мысль обгоняла слова. – Я не совсем тот... Это говорю я, Сулла! Попомните мои слова! Пусть каждый из вас выскажет свою просьбу. Ну, мечту, что ли. И я заявляю: да будет так! Философию и все такое я презираю. Философы только пыжатыся, но ничего не стоят. Вспомните Аристотеля, вспомните Платона. Не знаю, как вам, но мне они не нужны. В битве они всегда были плохими помощниками.

Все хором закричали, что эти два грекоса только мозги туманят людям своим учением. Рим вовсе не нуждается в расслабляющих философиях. Разве Митридата победишь философией? Да и он плюет с высокого кипариса на Платона и Аристотеля. У него своя философия: щит и меч!

– С виду вы простые смертные, – сказал Сулла, – однако рассуждаете мудро... Словно боги...

Ваятель поднялся со своего ложа и с полной чашей направился к Сулле. Боясь расплескать вино, он пригубил его. Точно лошадь, изжаждавшаяся в знойный день.

– О великий! – произнес подобострастно ваятель. – Нет в мире ничего выше великого сердца! Оно у тебя! И глаза у тебя всевидящие и добрые. И душа у тебя добрая. Самое горячее мое желание, чтобы ты позировал мне.

Сулла пребывал в благодушнейшем настроении. Сегодня ночь посвятил он вину и дружбе. Попозировать? Да, конечно! Сколько влезет! И где угодно. Лучше всего после похода...

– О нет! – завизжал ваятель. – До! Только до!

– Хитрец! – Сулла дружески пожурил его. – Впрочем, – сказал он, – все возможно. Но первое, что следует сделать на этом пути, – выпить чашу.

Ваятель с величайшей готовностью исполнил эту просьбу. И затем разбил чашу об пол. Вдребезги!

– Молодец! – Сулла похлопал ваятеля по плечу. Так вели себя коринфские кутилы. В лучшие времена греческого величия.

Эпикед объявил, что три замечательных музыканта – самые модные в Риме – и величайшая восточная танцовщица готовы усладить глаза и уши пирующих.

Сулла посмотрел на Африкана: дескать, на самом ли деле это столь хорошие артисты? Африкан ответил:

– О Сулла! Ты будешь доволен.

– Но три, не мало ли?

– О Сулла! Я не собираюсь терзать твой слух числом музыкантов, но усладить его. Поверь мне!

– Верю, – сказал Сулла, вытирая вымазанные жиром губы салфеткой из тончайшей египетской льняной ткани.

Музыканты были сравнительно молоды. Лет по тридцати каждому. Не больше. На них – пурпурные туники без рукавов и добротные башмаки из белой кожи. Они вошли молча, стали в углу и поклонились. Один был с медной тубой, похожей на те, которые в когортах, но в то же время несколько отличавшейся от них. Второй держал костяную флейту, а третий принес большую, тяжелую арфу и поставил рядом с собой. Музыканты были красивы, черноглазы. Все трое. Как на подбор.

По знаку Африкана они заиграли. Незнакомую Сулле, но очень приятную мелодию. По всей вероятности, на некий восточный лад. Музыка на время отвлекла пирующих от яств. Низкий звук тубы, переливчатый соловьиный голос флейты и мелодичные переборы арфиста сплетались столь причудливо, что компания невольно заслушалась.

Музыканты играли легко, не надрываясь. Казалось, им это все давно привычно. Чувствовалась отличная сыгранность.

Туба звучала в четверть силы, флейта вкрадчиво-нежно, а струны арфы – переливчатым перебором. Мелодия песни как бы сама собой лилась в самую душу слушателей.

– Восток, – тихо заметил ваятель.

– Да, – сказал Сулла.

– Нас погубит Восток, – неожиданно бросил поэт.

Сулла удивленно поднял брови:

– Почему?

Поэт молчал. Сопел. Пил себе вино.

– Почему, Вакерра?

– Я так думаю...

– Но почему?

Сулле очень хотелось знать, почему и в какой связи с этой музыкой поэт вдруг пришел к выводу, что Восток губителен. И для кого? Для поэтов? Или вообще для всего Рима?

– Для всего Рима, – подтвердил поэт.

– Почему, Вакерра?

Музыка продолжала звучать вкрадчиво, дурманяще. Она совсем не мешала беседе. Понемногу мелодия овладела слушателями, и они даже стали отбивать пальцами такт.

– Тебе не мешает эта музыка? – поэт обращается к Сулле.

– Нет, – отвечает Сулла.

– Но она застала тебя как бы врасплох.

– Вначале – да.

– Вот видишь! – поэт поднял вверх указательный палец.

– Что – вижу?

– Вначале мы ощущаем в этой музыке что-то чужое. Я бы даже сказал – чуждое нам. А теперь, спустя несколько минут, она тебе не только не мешает...

– Верно, не мешает.

– ...но даже нравится, – сказал поэт.

Сулла согласился с ним:

– Очень нравится.

Поэт горько усмехнулся:

– Вот так всегда! Когда Восток учил нас есть лежа, мы – наши предки то есть – сперва возмущались. Потом возмущение утихло. Теперь же мы, их потомки, не мыслим, как это знатные, уважающие себя мужчины могут есть сидя. Мы презираем таких, честим последними словами. Я боюсь, что в каждом из нас уже течет восточная кровь...

– Тебя это пугает? – перебил поэта Сулла.

– Говоря откровенно, да.

– Почему?

– Это трудно объяснить. Мне кажется, что мы опускаемся.

– Куда? – Сулла забавлял этот поэт. – Куда, Вакерра?

Поэт смешно скривил губы:

– Даже не знаю куда. Но я начинаю ощущать свою вшивость. Я теряю частицу своей римской души. Я ее размениваю на некое подобие души. Этот процесс идет. Хотя мы не всегда его замечаем. Но чаще всего потворствуем ему. Вольно или невольно.

– Чепуха! – вскричал Африкан. – Вот я, например: на одну треть римлянин, на одну треть – нумидиец, на одну треть – вавилонянин. И что же? Я хуже тебя, Вакерра?

– Я не имею в виду отдельных личностей, – объяснил Вакерра.

– Отчего же? – возразил Африкан. – Надо иметь в виду любую личность. Что же ты хочешь – раздвигать границы республики, а самому оставаться наедине с собой? Нет! Это невозможно. К тебе приедут прекрасные женщины. Тебя обворожат иноземные кудесники. Совратят заморские мальчишки. А женщин наших очаруют бородатые, сильные персы. Вот что значит раздвигать границы республики. Так что жалобы твои, Вакерра, неосновательны.

– Я протестую! – сказал поэт. – Спор не о том, раздвигать границы республики или нет. Я веду речь о процессе, который идет в нашем обществе... Я говорю о фактах...

Здесь музыканты неожиданно возвысили голос: туба зычно взревела, флейта взвизгнула, арфа блеснула своими басовыми струнами... И все вдруг умолкло...

– Я на минутку перебыю вас, – сказал Сулла Африкану и Вакерре. – Не знаю, как соотнести эту музыку с тем, что происходит у нас, по утверждению Вакерры. Но должен признаться, что ничего подобного до сих пор я не слышал в Риме. Что это – новая музыка?

Африкан ответил:

– Это то, чем увлекается наша золотая молодежь.

– Однако послушаем дальше, – сказал Сулла.

Музыканты плавно покачивались, стоя в рост: влево, вправо, потом – назад, вперед. Создавалось полное впечатление корабельной качки. Мелодия родилась где-то далеко. Очень далеко. Но звуки довольно быстро надвигались. Они шли из темноты и тишины.

Расширяясь. Приобретая все большее и все более четкое звучание. Вдруг всем почудилось, что где-то за спинами трех музыкантов скрывается еще целая дюжина. Это было удивительно!

Из слабенькой, из нежненькой, из мягко-чарующей музыки она сделалась властной, грозной, чуть ли не угрожающей. Будто налетел шквал. Будто буря треплет паруса...

Никто из присутствующих не смог устоять перед нею: перестали есть, только слушали. С удивлением. С признательностью. И даже со страхом. Такова была сила этой музыки...

Поэт прошептал:

– Это ничего общего не имеет с песнями наших плугарей.

– Что же с того? – спросил Африкан.

– Нет ничего лучше нашей крестьянской песни.

– А эта?

Музыканты продолжали раскачиваться, невольно усиливая эффект звучания инструментов. Именно это раскачивание особенно не понравилось поэту.

– Это шарлатанство, – определил он.

– Вот это? – спросил Сулла.

– Да. Это!

– Я бы не сказал. – Сулла слушал внимательно. Очень внимательно.

Поэт замолчал. Африкан подложил ему отличный кусок пулярки, и Вакерра занялся им. Ко благу для себя. И, очевидно, для музыки.

Милон, изрядно охмелевший и успевший чуточку соснуть, предложил выпить за музыку и музыкантов. Его поддержали. И все бурно выпили. Все, за исключением поэта: он тихо тянул вино, не выказывая особой радости.

Но вот умолкла туба. Замерла флейта. И тут воистину человеческим голосом заговорила арфа. На чистейшем римском говоре, какой принят на Палатине и Капитолии. Поразительно, как этот арфист извлекал звуки из мертвых струн. Ведь чудо же!

Пальцы арфиста с невиданной быстротой носились по струнам, едва касаясь их. Звук набегал на звук, басы чередовались с тоненькими звуками. Казалось, все беспорядочно, все вне всяких правил. Но это обманчиво! Звуки были подчинены какому-то единому, направляющему течению. Они имели свои берега. Уже ни у кого не повернулся язык, чтобы в какой-либо степени принизить искусство арфиста. Поэт вынужден был признаться:

– Этот – мастер! Я полагаю, что так хорошо не играли даже в Древнем Египте.

Африкан пояснил, что арфист по имени Секунд, прозванный Нежным, есть самая значительная личность среди арфистов и других музыкантов Рима. Он не хотел бы называть, во сколько обходится одно его выступление в семьях римских патрициев, как, в частности, и сегодняшнее выступление...

– Почему, Африкан? – сказал Сулла.

– Это мой секрет.

– Ладно. – Сулла махнул рукой. – Пусть будет твой секрет. Но я бы не пожалел денег ради такой музыки. Ты просто молодец, Африкан!

Африкан склонил голову в знак благодарности за похвалу:

– Спасибо тебе, Сулла! Однако я посоветовал бы приберечь свои восторги, ибо впереди нас ждет истинное чудо искусства, какое не видело человечество ни в прошлом, ни в настоящем.

Сулла взъерошил себе волосы в знак особого восторга. И продолжал есть и пить. Понуждая всех сотоварищей по застолью к тому же.

На дворе стояла темная, звездная ночь. Было тихо. Все было так, что словно бы ничего и не случилось в Риме. Словно бы не было ни резни, ни пожаров, ни слез, ни горя. Огромный, необъятный город спал крепким сном труженика – от чердаков до подвалов. И только на Палатине горели огни в особняках – здесь поздно ложились заядлые кутилы. По улицам ходила стража: Сулла умел глядеть в оба, в особенности когда кутил с друзьями...

Между музыкантами и столом было достаточно места для танцовщицы. Поэтому, когда появилась она, никому не пришлось сходить со своего места, даже музыкантам.

Это была смуглая девица лет двадцати, подстриженная на египетский манер, грудь ее и живот оголены. Бедра и ноги ее, просвечивавшие сквозь тончайшую, воздушную ткань шаровар, блестели наподобие хорошо отшлифованного мрамора. Ее талия, ее ноги, ее шея были созданы предельно гармонично.

Однако самым большим чудом в ее облике оказались глаза и губы. Глаза богини, глаза серны с Гиметтских гор, глаза волшебные, излучавшие так много света, которого не в состоянии излучить новейший из светильников. И губы... Это губы, в отличие от глаз, совершенно бесстыжие, накрашенные сверх меры, чрезмерно щедро, нерасчетливо. Так казалось. Но через несколько минут к ним привыкли, и они превратились в источник столь жадной страсти, что при этом невозможно было и думать о любви. Это казалось кощунством. Любовь и губы ее – несовместимы. Но опять же это только казалось. Потому что через несколько минут, приглядевшись, все почувствовали, что страсть губ и любовь этих глаз не только совместимы, но и неразрывны.

Когда заиграла музыка, когда танцовщица подняла руки кверху, словно ломая их в горе, когда глаза ее наполнились слезами, а живот задвигался в ритме танца, поэт вздохнул и повалился на ложе, не в состоянии более любоваться ею. Это сверх его сил!

Все жадно смотрели на нее. Пожирали глазами. Сулла точно превратился в изваяние. Он смотрел, сощулив глаза. Затаив дыхание. И никто бы не определил в точности – нравится ему этот танец и эта танцовщица, сотканная из эфира, или нет.

Музыка и танец слились воедино. Эпикед по наущению музыкантов устроил так, что они оказались в тени, и только танцовщица кружилась, вся освещенная яркими светильниками. Точно луна на темном небе в месяц квинтилис.

Наверное, это было великое искусство, если дюжина мужчин с различными вкусами и разных возрастов оказалась во власти его.

А чудо природы – танцовщица продолжала заламывать руки и плавно переставлять ноги так, чтобы живот ее – золотая чаша – оставался все время на свету, все время на виду.

– По-моему, это Восток, – сказал Сулла поэту, не сводя глаз с танцовщицы.

– Самое удивительное, – сказал поэт, – что танцует восточный танец наша, римская девица. Чистокровная. В этом и заключается весь ужас.

– Ужас? – Сулла усмехнулся. – Это – ужас?

– Само по себе – да.

– Не понимаю тебя.

– Это красиво. Не спорю, – сказал поэт. – Но это не наше. Не римское.

– Возможно, – согласился Сулла. Он подумал, что поэт глуп. Очень глуп. Неужели и стихи его столь же глупы? Но вот вопрос: нужен ли поэту ум? А этой красавице, танцующей восточный танец? Может, и ей ум не так уж необходим?..

В это время к Сулле подошел Корнелий Эпикед. Он нагнулся над своим господином и шепнул на ухо:

– Тебя хочет видеть Децим.

– Децим? – Сулла привстал. – Что ему надо?

– Не говорит.

– Он не может подождать до утра?

– Нет. Не может.

Сулла спустился с ложа, разыскал свои сандалии на полу и пошел к двери, нетвердой походкой.

– Децим! – позвал Сулла.

Из темного угла атриума к нему направился центурион. Остановился в двух шагах и замер. Сулла не видел его лица. Не мог понять сразу, с доброй или дурной вестью явился его любимый центурион.

– Говори, – сказал Сулла. – Что там еще стряслось?

– Сульпиций... – начал было Децим.

– Что Сульпиций?! – Сулла схватил солдата за плечи и отвел в сторону, подальше от чужих ушей – туда, за колонну.

Децим помолчал немного, а потом сказал вполголоса:

– Он убит.

– Сульпиций?

– Да, он.

– Кем?

Децим молчал.

– Кем, спрашиваю? – нетерпеливо повторил Сулла.

– Его слугой по имени Гилл.

– Кто тебе сказал об этом, Децим?

– Сам Гилл.

Сулла скрестил руки, прошелся взад и вперед по пустому и гулкому атриуму. Поднял голову кверху: над ним – высоко над ним – сквозь красивые четырехугольные проемы в кровле сверкали холодные звезды. Ему показалось, что они единодушно свидетельствуют о поступке некоего Гилла.

– Когда? – бросил Сулла.

– Совсем недавно.

– Ночью?

– На исходе второй стражи.

– Это достоверно?

– Гилл принес с собою голову. Она там. За порогом.

– Что? – Сулла отошел на шаг. – Нет! Не надо сегодня! Я верю тебе... – Постоял, потер руку об руку, еще раз полюбовался на звезды. – Децим...

– Слушаю, мой господин.

– Децим, ты хочешь побыть с вами? В той комнате знатная музыка и очень дорогая танцовщица.

Децим стоял смирно, послушный, готовый выполнить любой приказ.

– Если только смею... – нерешительно начал центурион.

– В чем дело, Децим?

– Я бы хотел уйти.

Сулла развел руками:

– Я не держу. Ты совершил великое дело. – И снова повторил: – Я не держу.

Децим попятился и вышел из атриума.

Сулла глубоко вздохнул: свежий воздух был очень приятен. И сказал громко той, особенно ярко сияющей звезде:

– А ведь грозился убить меня... И чуть было не убил... Этот Сульпиций...

Махнул рукой и направился к пирующим; эта танцовщица задела душу его и плоть.

8

Днем Сулла совещался со своими военачальниками и друзьями. Недавно в Рим прибыли Долабелла и Торкват. Их мнение высоко ценил Сулла. Поспешил в Рим и Цецилий Метелл Пий из Лигурии.

Сулла очень рад встрече с ними. Обсуждается важный вопрос: когда идти на Восток? Дождаться ли полного умиротворения в Риме или не принимать очень близко к сердцу здешние дела.

Оппозиция здесь была довольно серьезной. Возглавлял ее, притом открыто, Луций Корнелий Цинна. Сам по себе Цинна казался не столь опасным. Но за ним стояли могущественные силы. Выход мог быть таким: или подавить эту силу, или не принимать ее в расчет, то есть делать вид, что не принимаешь в расчет. Долабелла – мужчина в соку, рубака и авантюрист – даже не задумывался: гнать с глаз долой Цинну, пусть занимается своей мышью возней. От нее ни холодно, ни жарко. Попросту числить его мокрицей. Вот и все! В Риме обожают силу. Здесь ее боготворят. У кого же сила? У Цинны? Нет! У сената? Нет! Вот у кого: у Суллы! Стало быть, из этого надо и исходить.

Сулла спросил у своих соратников безо всяких обиняков: принимать в расчет Цинну или не принимать? Решили единодушно: не принимать! Сулла внес в это решение существенную поправку: не принимать как военную силу, но попытаться переиграть ее политически. Эта формула была не совсем ясна, тем не менее все сошлись на ней. Военные не очень-то почитали политику. Что касается Суллы – он придерживался несколько иного взгляда: не пренебрегать политикой, всемерно использовать ее в своих целях как подкрепление военной силе.

Никакие ухищрения римских политиканов, говоря откровенно, уже не пугали Суллу. Его легионы стоят железным строем. Одолеть их – дело совершенно безнадежное в настоящее время. Но войско живет одной мыслью: Восточным походом. Это надо понимать. Алчущее богатства войско нетерпеливо. Откладывать поход почти невозможно. Сами набегающие, как волны, события, сама ситуация диктуют условия, вернее, подстегивают. Отказ от Восточного похода равносильен гибели, но и промедление тоже опасно. Поэтому

не стоит влезать в сенатские дразги, не стоит окунаться в вонючую политическую жизнь, которой сейчас – грош цена. Солдаты смотрят на Восток. Туда, и только туда надо смотреть и военачальникам, если они желают себе победы...

Долабелла, например, целиком стоял за это. Поддержал Суллу безоговорочно. Он сказал:

– Или мы разобьем Митридата и вернемся со щитом, или мы погибнем. Все равно где: там или здесь!

Долабелла поливал грязью сенат и выживших из ума сенаторов. Если кому-нибудь угодно, он им всем поотрывает головы, как цыплятам, за одну ночь.

– За одну ночь? – серьезно спросил Сулла и задумался.

– Отчего бы и нет? – горячо продолжал Долабелла, блестя черными глазами и почесывая голову пятерней, как грузчик на рынке. – Чего бояться? Народного суда? – Он расхохотался. – Победителей, как известно, не судят. А мнения римских болтунов? Разве они дорого стоят? Болтуны тотчас прикусят язык. Кого бояться, спрашиваю?

Суллу слушал молча и все думал, думал, думал.

Торкват и Пий не во всем соглашались с Долабеллой, чей норов хорошо известен: дай ему власть – и он вырежет всех, кто в чем-либо перечит ему. В том числе кое-кого из своих друзей.

Фронтан и Руф торопили с походом.

Суллу сказал, как бы возражая Долабелле:

– Мы забываем, что живем в республике.

– Почему забываем?

– Твои рецепты смахивают на диктатуру, Долабелла.

– Я не ученый, – проворчал Долабелла. – Меня не интересуют названия. Я не знаю, с чем жрут диктатуру.

– А все-таки, – сказал Сулла, – мы живем не на острове. Над нами сенат и римский народ.

– Что? – расхохотался Долабелла.

Суллу повторил.

– Дорогой Сулла, – сказал Долабелла, – я лучшего мнения о тебе, чем ты сам о себе! При чем здесь сенат и народ?

– Мы часть его, народа. – Сулла, казалось, говорил весьма убежденно.

– Так что с того, что – часть?

Сулла сказал, что Марий, ныне позорно скрывающийся, попытался растоптать республику. И что же? Он наказан за это. Так будет со всяким...

Долабелла перебил Суллу.

– Ерунда! Чепуха! Чушь! – кричал он. – Когда, в какие времена народ правил Римом? Или сенат, скажем?

Сулла пожал плечами.

– Вот видишь, Сулла! У тебя не повернется язык сказать, что народ и сенат когда-нибудь правили. Это все фиговые листочки на греческих статуях!

– Нет, это не так, – слабо возразил Сулла.

– Нет, именно так! – Долабелла обвел всех ликующим взглядом. Понимал, что прав. Подозревал, что понимает это и Сулла. Понимает, но делает вид, что не понимает.

Фронтан не согласен с Долабеллой. Пий тоже. А Долабелла машет на них рукой, – дескать, заткнитесь, у вас в голове туман, недомыслие, наивность!

Сулла набрал в рот воды – молчит. Прислушивается и к тем, и к этим. Пусть болтают – решать придется ему. И никому другому. И тем не менее Долабелла говорит не очень-то глупые вещи. Если порассудить как следует, в его словах есть нечто. Надо бы пораскинуть мозгами на досуге. Он, этот Долабелла, не такой уж дурак, чтобы не считаться с ним. Верно, он способен на все. Но тот, кто не способен ни на что, – пусть тихонько сидит себе дома!

После обеда заявила депутация сената: три пожилых сенатора. Сулла не знал их имен. Да и не очень домогался близкого знакомства с ними. Он принял сенаторов очень вежливо, усадил их на скамьи – удобные, со спинками. Велел принести фруктов, холодной воды. Однако сенаторы от всего отказались: дали понять, что весьма взволнованы, опечалены, расстроены. И тому подобное...

Сулла догадывался, в чем дело. Вообще говоря, он ждал их. Но почему-то полагал, что явятся они ранним утром. Опоздание приписывал совещаниям, которые наверняка проводились в сенате, прежде чем депутация направится к Сулле.

Начал тот, немножко сутулый, розовощекий старик в великолепной тоге и прекрасной сенаторской обуви. «А я тебя почему-то никогда не слышал», – подумал Сулла.

Розовощекий сделал глубокий вдох – он, несомненно, волновался – и сказал:

– О Сулла, мы направлены к тебе с единственной целью: выяснить, что известно тебе об убийстве Сульпиция?

Сулла помрачнел. Да, он слышал об этом. Сожалеет о его смерти. Почему? Да потому, что был врагом его, Суллы. Слишком непримиримым. Слишком жестоким. Именно поэтому сожалеет о смерти Сульпиция особенно сильно...

Ибо что скажут в народе? Дескать, Сульпиций был врагом Суллы, дескать, чуть не убил Суллу в свое время, а теперь – когда сила на стороне Суллы – Сульпиций наказан. Кем?

Разумеется, Суллой! А кем же еще? В этом заключается самое неприятное, ибо нет ничего пагубнее, чем путь мстительности. Что получится, если стать на этот пагубный путь?

– А вот что, – говорил Сулла сенаторам, – ты мстишь мне, я – тебе, вражда нарастает, как лавина. В этом случае римское общество, Римская республика превратится в стадо враждующих животных. Кто возьмет на себя смелость свергнуть республику в столь неприглядную анархию? Кто?

Сенаторы единодушно ответили, что никто из здравомыслящих квиритов.

– Верно! Стало быть, убийство Сульпиция в то время, как одержана полная победа над ним и его единомышленниками, – вредная нелепица. Вредная прежде всего для меня. Только болван, только сосунок политический может пойти на столь подлое убийство. Так в чем же в действительности дело?

Сулла рассказал сенаторам все, что знал. Да, ему доложили, что Сульпиций убит. Кто убийца? Его раб. Имя его Гилл. В чем причина убийства? Насколько удалось установить, она в следующем: этот самый Гилл затаил злобу против своего давнишнего господина. Против Сульпиция... Он будет наказан по заслугам! Это мое твердое слово.

Сенаторы поразились:

– Разве он пойман?

Сулла расхохотался.

– Конечно, пойман! Неужели вы думаете, что я могу оставить безнаказанным это преступление?

Сенаторы развели руками: совсем об этом представления никакого не имели, все иначе было передано им.

– Я понимаю, – сказал Сулла, – мои недруги готовы всю вину свалить на меня. Готовы использовать это подлое убийство... Признайтесь, готовы?

Розовощекий соглашается с ним. А тот, который худой и бледный, похожий на состарившуюся ломовую лошадь, говорит:

– Да, свалить на тебя готовы. Но ведь и факты вроде бы на их стороне.

– Факты? – Сулла хохочет. – Какие факты?! Простите меня, сенаторы, разве клевета – это факты? С каких таких пор клевета стала называться фактами?

А третий сенатор – такой толстый, такой жирный, как боров, – поддакивает:

– Да, да, кто-то пустил слух: Сульпиций убит по приказанию Суллы.

Сулла хохочет пуще прежнего: ну, зачем ему смерть Сульпиция? Ну, зачем? Разве он враг самому себе? Видят боги, он одержал верх над врагами республики и сената еще при жизни Сульпиция. Так зачем ему эта смерть, которая на руку лишь его противникам? Зачем?.. Сулла выбрасывает с силой вперед обе руки и спрашивает: зачем? Он заглядывает поочередно в глаза каждому из сенаторов и трагически вопрошает: «Зачем?»

Сенаторы переглядываются и вроде бы тоже спрашивают себя и друг друга: «Зачем?» Они не могут ответить на этот вопрос.

Кажется, Сулла понимает, что это убийство ему теперь невыгодно... Но, с другой стороны, факт остается фактом: Сульпиций убит именно после победы Суллы. Конечно, то обстоятельство, что убийца задержан и что он является слугою Сульпиция, несколько меняет дело.

Сулла заложил руки за спину и стал перед сенаторами. Долго морщился, шурил глаза. Пятна на бледном лице его сделались пунцовыми. Зрачки превратились словно бы в воду.

– Идите и скажите сенату: Сулла накажет убийцу. И не далее как сегодня. Тарпейская скала ждет негодяя. Я не могу допустить, чтобы в Риме, пока я здесь и пока кое-что значу, рабы убивали знатных квиритов. Республиканский Рим будет образцом правопорядка и справедливости.

Сулла позвал Эпикеда. Приказал ему привести Децима.

Центурион явился. Стал почтительно в сторонке. Он был в полном вооружении. В блестящем шлеме. Со всеми нашивками. В левой руке – легкий щит, отливающий медью. Вид этого молодцеватого центуриона не слишком порадовал сенаторов. «Этот способен на все», – подумали они разом, не сговариваясь друг с другом.

Сулла обратился к центуриону:

– Децим, я приказываю тебе в присутствии этих высоких господ: доставь Гилла, убийцу Сульпиция, на Тарпейскую скалу, вручи его палачам и дождись, пока его сбросят со скалы. Мы не можем равнодушно взирать на то, как рабы и слуги поднимают меч на своих господ.

– Будет исполнено! – твердо сказал Децим, и у сенаторов не осталось никакого сомнения в том, что все именно так и будет.

– Децим, – продолжал Сулла, – дождись там сенатского магистрата, чтобы он мог удостоверить по всей форме, что негодяй заслуженно наказан. – Потом он попросил сенаторов: – Пришлите, пожалуйста, доверенного к закату солнца. На Тарпейскую скалу.

Сенаторы были ошарашены. Они встали как по команде, поблагодарили Суллу за справедливое решение. Они обещали все сообщить сенату.

Сулла проводил их с почетом до порога. Но вдруг задержался. В дверях. Сенаторы даже вздрогнули. Но Сулла улыбался им радушно, дружески.

– Я бы хотел сообщить сенату еще кое-что, – сказал он мягко. – Вы, разумеется, знаете, что после Сульпиция есть у меня в Риме непримиримый враг. Знатный враг. Могушественный враг. Это Луций Корнелий Цинна.

Сенаторы кивнули; глупо было бы отрицать, что не отрицал даже сам Цинна.

– Так вот, – говорил Сулла, в эту минуту весьма довольный собою, – я желаю, чтобы вместо сбежавшего консула Мария, который бегством сам себя лишил этого высокого звания, был избран другой. А именно: мой заклятый враг Луций Корнелий Цинна.

Греческие поэты любят выражение: как громом пораженный. Об этих римских сенаторах только так и можно было бы сказать. На некоторое время у них даже язык отнялся.

– Как?! – воскликнул сенатор со свинячьей мордой. – Цинну? Луция Корнелия Цинну?

– А почему бы и нет! Я хочу, – объяснил Сулла, – чтобы у меня были сильные противники. Мне нужна оппозиция – понимаете? Я не желаю, чтобы мне смотрели в рот. Чтобы заискивали передо мной. В государстве, в его верховном правлении обязательно должны присутствовать две противоборствующие силы. Такова природа республики, которую мы должны всемерно поддерживать. Ясно ли я выражаюсь?

– О да! – хором ответили сенаторы.

– Поэтому-то я и прошу, чтобы в консулы баллотировался мой кровный враг Цинна. Такова моя просьба к сенату. Далее, я желаю, чтобы Марий был объявлен, как того он заслужил, врагом отечества. Ясно ли я выражаюсь?

– О да! – сказали сенаторы.

– О Сулла! Все, что мы слышали здесь, – удивительно. И мы не сомневаемся в том, что сенат пойдет навстречу твоему желанию.

Сулла был доволен. Очень доволен.

– Я жду решений сената, – сказал он.

Сенаторы сквозь благодушный тон его голоса уловили звон металла: «Я жду решений сената»... Почти что приказ... Однако Сулла покори́л их. Все, что сказал Сулла об убийце Сульпиция, и все, что сказал о Цинне, – по меньшей мере удивительно и никак не вяжется с тем, что приходилось слышать о Сулле раньше.

– Очень прошу сенат: избрать консулом Цинну!

И простился с сенаторами.

Те ушли озадаченные. Мнение их о Сулле совершенно переменялось.

А Сулла подозвал Децима и сказал:

– Позаботься о том, чтобы этот Гилл, когда ты приведешь его на скалу, уже ни о чем не мог проговориться.

9

Вскоре после ухода сенаторов Сулла приказал послать глашатая к Цинне и сообщить ему, что с минуты на минуту в гости к нему прибудет Сулла. И чтобы глашатай тут же возвращался и сообщил ответ Цинны.

Дом Цинны находился на противоположном конце Палатина.

Пока глашатай бежал туда и назад, Сулла облачился в новую тогу, надел новую обувь. Приготовили носилки с парчовыми занавесками. Сателлиты заняли свои места. Двенадцать ликторов с фасциями стали впереди шествия. Специальный отряд из преторианской гвардии кольцом окружил носилки.

Пока шли приготовления, вернулся и глашатай; он сообщил, что Цинна ждет Суллу.

Сулла сошел с лестницы, занял свое место в носилках, и его понесли. Лег на подушки и задумался.

Он вспомнил свою молодость. Она не была особенно сладкой. Можно быть знатным, но не очень богатым. Есть вольноотпущенники, которые превосходят богатством и роскошью Юлиев, Корнелиев и прочих патрициев. Служба под началом Мария в Югуртинскую войну – далеко не мед. Все бывало в ту пору: и успех, и неудачи, и награду, и унижения. А как Марий попытался присвоить себе лавры Суллы? Разве Югурту пленил Марий? Да этот Марий просто топтался на одном месте! Если бы не Сулла, тот бы до сих пор сидел в Мавритании...

А чем отплатил Марий? Завистью? Неблагодарностью? Клеветой? И тем, и другим, и третьим. Говорят, Марий спас его, Суллу, от гнева Сульпиция. Верно, спас. Видно, испугался расплаты. Тем хуже для него: расплачиваться все равно придется...

Его объявят врагом отечества. Не очень-то приятное звание. Даже если не удастся изловить Мария, все равно он наплачется где-нибудь на чужбине. А то, что Марий враг отечества, – в этом нет и не может быть сомнения!.. Во всяком случае, для Суллы!..

Вот Сулла на вершине власти. Но мало взять большую власть. Ее надо удержать. Сейчас в этом главная задача. Что такое Цинна? Букашка! Мокрица! Землеройка! И тем не менее Сулла идет к нему как бы на поклон! Ничего, Сулла все стерпит. Так надо. Только так! А кто сомневается в правильности его поступка – тот пусть приходит через год, через годик. Через годочек... И поговорит на эту тему...

Цинна принял Суллу сдержанно.

Цинна высок ростом. Сулле и это в нем не нравится. Цинна благороден лицом. Это настоящий римский патриций. Сразу видно: не обжора, не пьяница, не развратник. Свободно говорит по-гречески. Начитан. Умен. И достаточно энергичен. Нет, хороший, достойный противник. Ничего не скажешь...

– Послушай, Цинна, – говорит Сулла, развалясь в глубоком кресле (это новейшей моды скамья, обитая шелком, под которым – морская трава), – тебя и меня считают непримиримыми врагами...

Цинна слушает молча. С достоинством.

В таблинуме, роскошно обставленном, они одни. На треногом столике из ливанского пахучего кедра – вино и вода, мед и сладкие финики.

– Я – человек реалистический. Это слово нынче модное, но оно мне нравится. – Сулла пригубил вино. – Да, мы с тобою, наверное, враги. Но что значит «враг» в нашей

республике? Это человек, который думает иначе, чем ты. Да, да! Неужели из-за того, что мы по-разному смотрим на вещи, должны быть врагами, в прямом смысле этого слова? Нет и тысячу раз нет! – Сулла угрожающе поднял руку. – Враг наш – это грекос. Наш враг – испанец. Наши враги в Малой Азии и на Рейне. Вот где истинный враг!

Сулла ждал, что скажет на это Цинна. Тот кивнул.

– Это так, – подтвердил Цинна тихо.

– Я рад! Я рад! Цинна, мы с тобою расходимся не во всем. Думаю, что в главном – в защите республики и ее законов – мы едины!

Цинна кивнул. Но не так чтобы очень решительно. Эдак слегка. И кивок вроде бы, и не кивок. Согласие и не согласие, Сулла не всегда обращал внимание на подобные мелочи. У него в голове свой ход мыслей... Поэтому и сейчас не обращает...

– Час тому назад, – продолжал Сулла, – я предложил сенату избрать консулом тебя...

Цинна чуть не подпрыгнул от удивления. Чего-чего, но такого он не ожидал от Суллы. Предложить Цинну в консулы? Цинну, своего заведомого врага. Цинна проглотил, как говорят самниты, огромный глоток слюны. От охватывающего его волнения. Все увеличивающегося волнения.

– Сулла, – проговорил он, – ты это серьезно?

– Я? – в свою очередь удивился Сулла. – Как ты можешь?.. Я говорю вполне серьезно. Мало этого, я намерен провести предложение это в жизнь. Со всей настойчивостью!

Цинна с трудом верил своим ушам. «Лгун ты, Сулла, и большой ты хитрец! Что ты задумал? О боги, дайте мне силу и ума побольше, чтобы проникнуть этому негодяю в душу! Чтобы узнать, что на уме у него. Что на сердце у него! Ведь неспроста же явился этот могущественный человек ко мне. А может быть, он уже не у дел? Может, войско изменило ему?»

Однако Цинна не был бы истинным римским патрицием, если бы отверг такое предложение. Напротив, поблагодарил Суллу. Напротив, дружески, сердечно попросил его вечной дружбы, предлагая взамен свою вечную дружбу...

«Что лиса, что змея, заговорила другим языком? – сказал про себя Сулла. – Что же ты задумал? Зачем ты предлагаешь мне свою вечную дружбу? Чтобы тут же, за моей спиной изменить мне?»

Цинне хотелось получше разобраться в побудительных причинах, заставивших Суллу выставить его кандидатуру. Он понимал, притом отлично, что, если Сулла не захочет того, не быть Цинне консулом! Это яснее дня, яснее ясного, как говорят остийские моряки. Разумеется, Цинна нужен Сулле. Но, наверное, и Сулла нужен сейчас Цинне. Можно отвергнуть дружбу Суллы в припадке самолюбия. Можно отказаться от его предложения. Но что же это даст? Разве не найдут другого консула? Жаждающих в Риме всегда предостаточно, – лишь бы избрали!..

Словно бы читая мысли Цинны, Сулла сказал:

– Ты вправе спросить, Цинна, почему Сулла приперся ко мне с таким предложением? С предложением, которое многим покажется неожиданным.

Цинна не скрывал; да, это ему очень хотелось бы знать.

– А потому, Цинна, что нельзя стоять за республику и занимать в то же время позицию диктатора. Потому что – противостоит. Это мог делать Марий. Позволить себе такую роскошь я не могу. Я желаю упрочить древнеримские традиции. Я желаю следовать дорогой дедов и отцов. И к тому же призываю других, в частности тебя. Если следовать до конца этому благородному принципу, надо безусловно отказаться от кровавой вражды, вызванной причинами политическими. Надо проявлять терпимость в отношении своих противников. Кажется, не я первый говорю это. Перикл следовал тому же принципу. Перикл и наши предки. Я хочу, чтобы такой великий политический, государственный деятель, как Цинна, стоял рядом со мною и спорил со мною. Чтобы в споре этом рождалась истина.

Нет, Цинна не верил своим ушам. Он это так и высказал вслух и заставил Суллу повторить все сначала – слово в слово...

– А теперь ты доволен? – спросил Сулла.

– Да.

– Ты веришь мне?

Нет, все-таки Цинна не верил. Просто не мог поверить. Это было бы сверхъестественно. Неоправданно. Глупо с его стороны. Но не был бы он истинным римским патрицием, если бы не солгал. Он сказал:

– Да, верю.

Сулла протянул ему руку.

Цинна пожал руку. Не веря. Цинично.

Сулла был доволен. Цинна – тоже. Но этот, Цинна, ждал еще чего-то. Не может же быть, чтобы Сулла так, за здорово живешь, бился за кандидатуру Цинны. Возможно, слово «бился» здесь не совсем уместно. Ибо в сенате немало его сторонников. Но, возможно, они остались бы в меньшинстве, если б Сулла не подарил Цинне свою поддержку.

– Теперь, – сказал Сулла, – когда мы поняли друг друга, у меня к тебе большая просьба...

«Я так и знал, – подумал Цинна. – Ну-ка, что ты потребуешь взамен?»

– Слушаю тебя, – сказал Цинна.

– Цинна, ты знаешь мою набожность...

«Нет», – хотел сказать Цинна, а сказал «да».

– Я прошу об одном: мы с тобою подойдем к Тарпейской скале, и ты принесешь мне клятву.

Цинне еще раз за этот вечер пришлось страшно поразиться: клятву?! У Тарпейской скалы?! Зачем?!..

– Я – человек набожный, – повторил Сулла.

– Знаю.

– Я верю клятвам.

– Я должен поклясться, Сулла?

– Да.

– В чем?

– В дружбе.

– А еще?

– В любви к республике.

– А еще?

– Все, Цинна. Этого для меня вполне достаточно.

«Лиса, змея, сволочь, негодяй! Что тебе еще нужно? Клятвы захотел? Подавись ты ею!»

– Готов поклясться, – произнес Цинна.

– Пошли! – сказал Сулла и мигом поднялся с места.

Цинна не был большим политиком. Чаще полагался на свою интуицию. Сама по себе интуиция – вещь хорошая. Как говорят прожженные, изощренные в интригах сенаторы, вещь не вредная. Но не более. Точные сведения, знания, опыт, донесения соглядатаев – вот что всего более ценилось в недрах римского сената. Если говорить о Цинне серьезно как о политике, то следует согласиться с теми, кто считал его человеком ординарным, средним, без особого взлета мысли. Но надо отдать ему должное: Цинна умел постоять за свои убеждения и не часто менял их. Например, его неприязненное отношение к Сулле оставалось почти постоянным на протяжении многих лет.

Цинна внимательно следил за тем, как Сулла поднимается вверх. Лестница римского служебного положения довольно сложна: перепрыгивать со ступеньки на ступеньку, пропуская две или три, – вещь почти невероятная. За этим зорко следят пристрастные глаза магистратов и прочего чиновничества, не говоря уже о самом высоком начальстве. Цинна понимал – хорошо понимал! – что Сулла не простой орешек, что Сулла идет вверх медленно, но верно. Суллу не остановить обычными средствами. Цинна это давно угадал. Был момент – великолепный момент! – когда Марий мог легко избавиться от Суллы. Но Марий оказался мягкотелым, порядочным, что ли: он не дал Сульпицию расправиться с Суллой. И Марий прогадал. И Марий проиграл. Марий потерпел сокрушительное поражение. И Сулла не допустит подобной ошибки в отношении своих врагов – мнимых и настоящих.

Надвигается нечто, и это нечто перевернет вверх дном всю жизнь Рима. Надвигается глыба, которая подомнет все живое. Набирает скорость лавина, как в Альпах. Она будет хоронить людей не выборочно, но скопом, целыми тысячами. Боги посылают на Италийскую землю серп, который скосит многое и многих.

Но ежели спросить Цинну, на чем основывает эти свои мрачные прогнозы, – едва ли ответил бы он убедительным образом. Какие доказательства? Почти никаких! Какие показания свидетелей могут обличить в Сулле человека, идущего к единовластию, единодержавию? Таковых нет и в помине! В чем же, в таком случае, дело? Откуда темные предчувствия? Была ли призвана на помощь мантика? Нет! Может, были проведены соответствующие ауспиции? Нет! Просто так кажется Цинне. Но мало ли что кому кажется! Это не закон для политиков.

И все-таки Цинна не переставал повторять в последнее время сакраментальное: «Что-то будет».

«Что же будет?» – спрашивали его. Он отвечал: «Что-то будет». Судя по тону, это «что-то» было весьма скверным. И весь вид Цинны – печальный, словно на похоронах близкого человека, – подтверждал глубокое волнение, его озабоченность, которая вскоре передалась родным, ближайшим друзьям. «Что-то будет»... Но что? Лавина задавит римлян? Глыба свалится с небес?.. Что же будет?

Идя на какую-то – не очень добросовестную, по-видимому, сделку с Суллой, Цинна воображал, что, возможно, сам явится тем небольшим камнем, который удержит глыбу. Убери камень – и глыба сорвется и покатится по склону горы. Камень в этом случае – вещь немаловажная.

Клятва на Тарпейской скале имела свой зловещий смысл. Клятва у черты! За чертою – смерть. Чья? Известна чья – его, Цинны. Довольно-таки изощренно. Граничит с открытой угрозой. Да куда там; ничем не прикрытая угроза! Вот так вернее!

Цинна посмотрел с обрыва вниз, и ему стало не по себе: сколько людей – виновных и невинных – нашло здесь свой конец! Беспощадна Тарпейская скала. Внизу, у ее подножия, – острые камни. Они не дадут приговоренному к смерти продлить мгновения земной жизни. Свалился со скалы – гибель верная! Вот куда привел его этот Сулла.

«Он может позволить себе все, что угодно, – подумал Цинна. – Не побрезгует даже предательским ударом...»

Они стояли вдвоем. Никого поблизости. Их люди – в отдалении. Никто не сможет услышать слов клятвы. Только боги...

– Цинна, – торжественно начал Сулла. Мозаика на его лице обозначилась так ярко, что казалась специально раскрашенной. – Цинна! Перед лицом этой страшной пропасти, которая означает Смерть, хочу повторить свое обещание: всеми силами буду добиваться твоего избрания в консулы. Причину, почему я действую так, а не иначе, я тебе уже объяснил. Прошу только одного – клятвы верности. Не сообщничества, но лояльности в отношении меня. Ты можешь словесно изобличать все мои промахи. Но не предпринимай против меня тайных враждебных действий.

– Только и всего? – спросил Цинна, который все более и более дивился этой невиданной и странной церемонии. «И кто только ему внушил ее?» – спрашивал он себя.

– Только и всего, – ответил Сулла.

Цинна сказал:

– Допустим, Сулла, на одну минуту допустим... Ну, скажем, возьму и откажусь принести клятву... Что тогда?

Сулла спокойно, очень спокойно, с достоинством ответил ему:

– Ничего... Тогда ничего. Тебя просто не выберут в консулы... Такой случай, которым я предлагаю тебе воспользоваться, бывает только раз в жизни. А ты уже не молод, мой дорогой Цинна. Седина пробивается на висках. И не только на висках. Поклянись мне и повтори эту клятву на людях. При свидетелях.

Эта прямота, как ни говори, достойна уважения. В ней нечто такое, что не может не вызвать невольного уважения. Даже к такому человеку, как Сулла. И Цинна сказал:

– Я согласен.

– Вот за это спасибо тебе! – Сулла продолжал в торжественном, нарочито приподнятом тоне: – Я мог пригласить великого понтифика прямо сюда. Или кого-либо из понтификов, дабы придать оттенок божественности нашему договору, твоей клятве. В конце концов, мы сами могли пойти в храм к великому понтифику. Но я полагаю, что уговор двух мужей на этой скале не нуждается в особом освящении. Это место достаточно священно и достаточно мрачно, чтобы требовалось еще что-либо дополнительное.

– Это так, – согласился Цинна. – И я готов дать клятву. И, если надо, повторю в Капитолии. При свидетелях.

– Вот здесь, – сказал Сулла, – на этом месте скоро свершится правосудие... – И замолчал.

– Какое? – спросил Цинна, не выдавая вдруг нахлынувшего волнения.

– Разве не слышал?

– Нет.

– Гм... – Сулла толкнул носком башмака небольшой камешек. Он покатился к обрыву. И – полетел. Вскоре донесся оттуда, снизу, как из бездны, сухой, но явственный треск; это камень ударился о камни.

– Какое же правосудие, Сулла?

Сулла объяснил:

– Здесь казнят подлого убийцу Сульпиция.

– Вот как! – Цинна не предполагал, что услышит что-либо подобное. – И кто же это?

– Только не я! – жестко бросил Сулла.

– Я так и думал, – усмехнулся Цинна. – Кто же он?

– Подлый раб... Раб, поднявший руку на господина своего, будет сброшен с этой скалы! Я уже сообщил об этом сенату.

– Одобряю, – сказал Цинна. – Это хорошо.

– Так решил я, – подчеркнул Сулла.

Солнце клонилось к морю. Спала жара. Вокруг насколько хватает глаз – великий Рим. Дома, дома... Квартал за кварталом. И все они разделены мелкими, длинными и грязными улицами. И по всем улицам с самого раннего утра и до позднего вечера снуют люди, точно муравьи. Отсюда, с Капитолийского холма, хотя он и не очень высок, видно все, ясно все. И эти двое, беседующие у Тарпейской скалы, как бы воспарили над городом.

– Сулла, – сказал Цинна, – я готов поклясться. Но я хотел бы услышать – в чем?

– Я же сказал, Цинна.

– Нет, нет. Это общо. Я бы хотел услышать слова, которые, в свою очередь, желал бы услышать ты из моих уст.

– Что ж, изволь, – почтительно сказал Сулла.

Он собрался с мыслями. Потер лоб, словно не доставало ему мыслей. Взглянул на Палатин. Посмотрел туда, где сверкал на солнце кусочек Тибра. И сказал:

– Ну, что-нибудь вроде этого... Я, Цинна, клянусь у этой скалы, что всеми силами, всем своим разумом, помыслами буду защищать республику. Я, Цинна, клянусь в том, что, будучи консулом, употреблю все свои знания и силы на то, чтобы возвеличить республику, воспрепятствовать любой диктатуре, любой тирании, дабы традиции предков наших, дабы их высокие желания, воплощенные в республике, жили вечно. Всегда! Пока светит солнце. Как говорили древние египтяне – не эти – огородники, бахчеводы, пожиратели луковиц, а древние: вечно, вековечно. А еще клянусь...

Цинна вдруг насторожился. Он понимал, что все сказанное – не самое главное. Не это важно. Не об этом в конечном итоге пойдет речь. Кульминация наступит сию секунду. Сейчас. Через мгновение. Итак...

– А еще клянусь, – продолжал Сулла, не меняя голоса и не меняясь в лице, – что буду вечно жить в дружбе и мире с Суллой и тем самым буду содействовать процветанию Римской республики... Всё!

Сулла просиял улыбкой. Поглядел на Цинну обволакивающим взглядом и добавил:

– Не страшно? Правда, не страшно?

– Нет, – ответил Цинна, тоже улыбаясь.

В самом деле, то, что произнес Сулла, в общем вполне приемлемо для Цинны. Все, что касалось республики. Процветания. И этого самого: вечно, вековечно... И этого – борения против диктатуры. Может быть, все это и важно. Но Сулле до зарезу необходимы слова о дружбе и мире. Сулла хочет связать Цинну по рукам и ногам клятвой у Тарпейской страшной скалы. Где многие прощаются с земными делами...

– Ты не закончил клятву, – сказал Цинна.

– Как не закончил? – удивился Сулла.

– А так... Где слова о Тарпейской скале? Мы ведь стоим здесь неспроста?

Сулла рассмеялся. Он смеялся, меж тем как в глазах его стоял леденящий сердце холод. Они стали бесцветны, как вода. В Тибре вода и та поярче цвета его глаз...

– Изволь, дорогой Цинна: упомяни и скалу. Скажи, что ты... – Сулла запнулся. Его собеседник настороженно ловил каждое слово. Оговорка была бы непростительной. Даже небольшая оговорка...

Цинна помог ему, говоря:

– Ну, хотя бы что-то в этом роде: я клянусь здесь, на этой скале, которая вечно будет свидетельницей победы добра над злом.

– Вот! – воскликнул Сулла. – Именно! Ты придумал прекрасную концовку для клятвы. Мне больше ничего не нужно. Клянусь богами!

Цинна стоял красивый. На его лице, освещенном предзакатным солнцем, появилось выражение торжественности. Было оно настоящим? Действовал ли он искренне в эти минуты? Нет, нет и нет! Он и сам не верил своим словам. Он их только готов был произнести, чтобы они, слетая с его губ, тут же испарились, подобно капле воды на горячей сковороде. Он ненавидел Суллу. Он не мог не ненавидеть его.

Так что же? В чем дело? К чему этот ход, достойный артиста Квинта Росция, но никак не знатного римского патриция, уважающего по крайней мере себя? Победило ли в нем тщеславие? Или жажда власти столь велика, что Цинна идет на все, готов разыграть любую комедию? И то и другое, если угодно. И как слабое утешение, как самообман – надежда на то, что он сумеет противостоять дурным поступкам Суллы...

Да, Цинна принес клятву. Бесполезно повторять ее: она была точной копией чернового наброска Суллы. Маленькие неточности, неизбежные даже тогда, когда урок повторяет лучший ученик, – не в счет.

Сулла выслушал. Он постарался придать этой минуте как можно больше торжественности. Ему безразлично, что думает при этом Цинна. Сулла уверен, что Цинна из тех людей, которых клятва, независимо от того, при каких обстоятельствах она дана, все равно будет связывать.

Клятва принесена без свидетелей. Если не считать самой скалы и небес. Надо отдать Сулле должное – он облегчил задачу Цинне, не унизил его при посторонних, не потребовал чего-то невозможного. Даже формула «о дружбе и мире с Суллой» в какой-то степени приемлема. Именно в какой-то степени. Но и в этой форме она ничего

необычного не требует от будущего консула. Полководец, воюющий далеко от отечества, вправе рассчитывать на мир и дружбу с консулом. Это же вполне естественно...

Как бы то ни было, Цинна принес клятву. Он, разумеется, не стал бы напропалую рассказывать об этом всем, каждому встречному-поперечному. Большой для себя чести в этом не видел. Но ежели об этом узнают, причем доподлинно, с подробностями, – то в этом будет повинен только Сулла. Ибо он заинтересован в этой клятве, он находит в ней для себя выгоду. Значит, распространять ее, эту беседу и клятву на скале, будет Сулла, и никто иной...

Полководец подал руку Цинне.

– Через час... – Сулла остановил Цинну и сильнее сжал ему руку... – Через час вот с этой скалы сбросят проклятого раба, поднявшего руку на Сульпиция...

Нельзя сказать, чтобы эти слова были сказаны нежно и мягко. Страшные нотки звучали в них.

Сулла заторопился, увлекая за собой будущего консула.

– Я приглашаю тебя в свой дом, – сказал Сулла.

Цинна воспротивился:

– То же самое хотел бы сделать и я. Я уже приказал приготовить ужин. Мне привезли двух прекрасных молодых оленей из Иллирии.

– Оленей?! – Сулла от радости схватился за голову. – Идем! Я принимаю твое приглашение. А потом мы явимся в Капитолий.

И он, можно сказать, побежал к своим носилкам.

10

Он любил его. Не нежной, не братской любовью. Но сурово, по-деловому. И наверное, не мог без него: Корнелий Эпикед был для него и слугой и советчиком. Советчиком подчас молчаливым, советчиком странным, но советчиком. Они могли вовсе не разговаривать друг с другом неделями. Сулла знал, что думает его слуга, подавая хлеб или вино. Можно хлеб поднести, можно хлеб положить на стол, можно хлеб принести загодя, можно с хлебом опоздать, дождавшись напоминания господина. Вино можно наливать медленно, тоненькой струей. Можно его вылить в чашу так, что брызги полетят в стороны. Можно забыть про холодную воду. Но можно вовремя поставить на стол сосуд с горячей и сосуд с холодной водой. По-разному ходит слуга: медленно, быстро, на цыпочках, ступая всей ступней – по-солдатски, может подолгу не входить в таблинум, но может и вовсе не выходить из него. Каждое движение, каждый жест слуги, выражение его лица, слово, которое он произносит с различной интонацией, – все это важно. Все имеет свой смысл. Это тоже вроде беседы. Одобрение, осуждение или непонимание. И так далее...

Господин порою мог говорить, а слуга только слушать. Бывало и наоборот. Это тоже была беседа.

Но могли говорить оба. Беседовать в прямом смысле этого слова. Оба задавали друг другу вопросы. Отвечали на них. Недоумевали. Выясняли отношения. Это была беседа равных. И на равных. Тут уж не было ни господина, ни слуги. Спор выигрывал правый, а не сильный. Сулла мог не посчитаться с мнением слуги – на то он и был господин. Это его личное дело. Однако в споре он должен был признать себя побежденным, если проиграл его. Признай – а потом делай как знаешь. Таков был обычай у этих двух людей. Они были достойны друг друга. Несомненно, достойны!

Эти беседы порой можно назвать исповедью господина. Сулле при этом неважно, что думает его слуга. Главное – выговориться. Такое бывало довольно часто.

Да, Сулла любил Эпикеда. С давних пор. Привязан к нему. Любит его всей душой. Странно звучат эти слова, когда говоришь о человеке, который презирал даже само имя Человек. И презирал человечество. Счет людям он вел только на когорты и центурии. Женщин любил только потому, что они доставляли ему наслаждение. И Рим любил только потому, что ни в каком другом городе мира не могли бы исполниться его заветные мечты. Ни в Фивах, ни в Афинах, ни в Карфагене. Его честолюбивые помыслы связаны только с Римом. Без Рима он – ничтожество. Без Рима он – один из особей рода человеческого. Ему нужен Рим. Не может он без Рима. И точно так же не мог обойтись без Эпикеда. Слуга говорит ему все. Выдаст любую дерзость. Разумеется, наедине. Да и сам Эпикед, который тоже любит Суллу, никогда не позволит себе высказать какой-либо попрек на людях. Потому что для всех он – прах.

Мужеложество Сулла не считал пороком. И не скрывал своих чувств к любимому мужчине. Например, к актеру Метробию. И разные слухи муссировались в Риме по этому поводу. Но никто не заикался о Корнелии Эпикеде. Не потому, что был вне подозрений, а потому, что попросту не шел он в счет. Ибо был слугою, рабом, прахом. Сулла любил и уважал Эпикеда как свое сердце, как желудок, печень или ноги. Хорошо это или плохо? Об этом можно поговорить на досуге или высказать свое мнение в специальном ученом трактате. Римские писатели, мало известные миру (есть и такие), по-разному писали о Сулле и Эпикеде. И трактаты о них позабылись. Это естественно: ибо мало кто придавал значение отношениям этих людей. Эпикед не мог соперничать с Марием до своего весу в общественной жизни римлян и всей республики...

После трудного и знойного дня, поздно ночью, оставшись наедине со своим слугою, Сулла сказал:

– Некий Гилл сброшен со скалы... Мне сообщил об этом Децим.

Слуга подтвердил:

– Децим был здесь. Рассказывал, как было.

Сулла поглядел в зеркало. Какой-то прыщик на носу, что ли?

– Я не мог иначе.

Эпикед стоял в углу. В свежевыстиранной тунике. На босу ногу. Был мрачен.

Сулла перестал рассматривать прыщик, положил зеркало на место. Поднял глаза. Сказал Эпикеду:

– С ним поступили как надо, с этим Гиллом. А твое мнение?

Эпикед согласился:

– Да, так надо.

– И Сульпиция постигла вполне справедливая кара.

– Да, – подтвердил Эпикед.

– Или – или, – проскрежетал Сулла, растирая покрасневший нос. – Или они уничтожат меня, или я их.

– Это закон.

– Эпикед, принеси мне духи.

Слуга вышел и вернулся с финикийским флаконом. Подал его господину. И невзначай бросил:

– Они тебя или ты их.

– Да, Эпикед, да!

Сулла протер духами нос, встал и, прохаживаясь взад и вперед в широкой ночной тунике, говорил то ли слуге, то ли в пространство. А может, и треногому столу, на котором стоял письменный прибор, лежали кипа пергамента и папирусные свитки. Он словно бы вдалбливал кому-то свои мысли:

– Послушай, не мог я иначе. Я уйду с войском. Уйду на Восток. Мне важно иметь в тылу если не дружественный, то, во всяком случае, не очень враждебный Рим. Эта лисица Цинна, кажется, притихнет. Ведь он получает консульскую власть из моих рук.

Слуга пристально следил за ним. Не отрывая глаз. Слишком пристально.

Сулла остановился напротив и смерил Эпикеду с головы до ног... Пожал плечами и продолжал вышагивать по комнате. Заложил руки за спину. И, глядя себе под ноги, говорил, все говорил:

– Из моих рук... Консульскую власть... Это надо понимать... Это сделал я, и никто другой... Я показал им, что могу подать руку даже заклятому врагу своему. И я подал. Что? Подал, говорю... Разве это не оценили в сенате? Не оценили, спрашиваю? Если нет, тем хуже для них. Но думаю, что многие оценили. Теперь все видят, что я не собираюсь топтать республику. Напротив, я выдвигаю в консулы своего врага. Что – нет?

Сулла резко остановился. Как вкопанный. На слугу это не произвело ровно никакого впечатления. Он смотрел прямо перед собой, расслабив плечи и скрестив руки на груди. Время от времени переминаясь с ноги на ногу. Привык вот так стоять часами. И слушать часами, и говорить часами с господином.

Сулла погрозил кому-то пальцем.

– Я подал руку. Проявил добрую волю. Они-то прекрасно сознают, что я могу и прижать ногтем к ногтю. Они даже не успеют пикнуть. И тем не менее я подал. Я поступил правильно. Уйду в поход, оставив в Риме консулом своего заклятого врага. В этом есть своя особая мудрость.

Слуга вставил краткое слово:

– Ты об этом тоже говорил на скале?

Господин словно не расслышал. Подошел к треногому столу и пошуршал свитками папируса.

– Ты об этом тоже говорил на скале?

Сулла сказал:

– Не совсем. Но отчасти.

Теперь заговорил слуга. Тихо. Неторопливо. А куда, собственно, торопиться? – ночь впереди же. Его господин ночью чувствует себя лучше, нежели днем.

– Ты его уговаривал, Сулла. Ты просил его помириться с тобой. Ты отдаешь ему консульскую власть? Но ведь сенат едва ли примет другое твое предложение. У тебя просто нет иного выхода. Из безвыходного положения, Сулла, ты пытаешься извлечь для себя выгоду. Это похвально. Не думай, что я упрекаю. Обвиняю в трусости. Видят боги, это не так! Ты просил у него союза...

– Нет!

– Ты просил у него помощи.

– Нет и нет!

– Ты выторговывал себе нечто.

– Нет, нет и нет! – сердито бросал Сулла, потрясая руками. – Кто тебе сказал?

– Никто. Сам догадываюсь.

– Так вот, – Сулла сплюнул, – все это чушь! Я должен был поговорить с ним. Должен был. Верно?

Слуга сказал ледяным голосом:

– Нет, не верно.

– Что-о?

– Не верно.

– Мне не стоило с ним разговаривать?

– Не стоило.

Эпикед торчал как столб, не двигаясь. Недвижимый совсем. Словно обращенный в камень неизвестным волшебством. Он верил в Суллу. В того. Настоящего Суллу. А вот Сулла, который беседовал на скале с этим Цинной, – не настоящий. Не болтать надо, не политиканствовать, но драться. Не на жизнь, а на смерть. Настоящий Сулла не теряет времени на болтовню. Пусть этим занимаются сенаторы, которые полагают, что правят страной. Какое жалкое заблуждение!..

Сулла слушал своего слугу внимательно. Не прерывая. Потом, когда Эпикед закончил свою мысль, наступило молчание.

Стены таблинума были расписаны со вкусом. Картин не много. Но все в прекрасных тонах восковых красок. Они изображали Академию Платона. Учителя с учениками. Платона в кругу философов.

Сулла так и не удосужился хорошенько рассмотреть стены своего таблинума. Эти бородатые господа вызывали в нем чувство брезгливости. Только импотенты могут часами рассуждать о тайнах мироздания. Надо действовать, а не болтать. В этом отношении совершенно прав этот Корнелий Эпикед...

– Послушай, – говорит Эпикед, и голос его зазвучал как бы из-под земли, – не тебе трепать языком. Что тебя понуждает к тому? Разве у тебя нет силы? Она же вся в твоих руках. Или почти вся. Пусть болтают себе бабы и сенаторы. Ты же делай свое дело. Разве ты не Сулла?

Сулла уселся в двойное кресло и властно указал Эпикеду на место рядом с собой. Они оказались очень близко друг от друга – почти нос к носу. Так удобнее разговаривать – не надо повышать голоса. Можно даже пошептаться, что значительно безопаснее в городе, где подслушивают даже стены.

– Эпикед, – прошептал Сулла.

– Да?

– Скажи мне яснее.

– Еще яснее?

– Пожалуй. Я что-то перестал тебя понимать, Эпикед.

– Изволь, господин мой.

– А ты не можешь без церемоний?

– Могу.

– Я слушаю тебя, Эпикед. Говори четко. Ясно. Нелицеприятно. Сейчас тот самый благословенный час, когда мы можем поговорить по душам. Мне это необходимо.

Слуга кивнул и проговорил вполголоса:

– Я слышал одну притчу...

– Что?

– Притчу.

– Ах, притчу! Я что-то не разобрал... Понятно – притчу. Дальше?

– Эта притча, – сказал Эпикед, – египетская.

– Ого!

– Египетская. Да, да. Я имею в виду тот самый Египет. Который наши ученые называют Древним.

– Все. Теперь ясно. Слушаю, Эпикед.

– Говорят, что некий князь в давно прошедшие времена задумал сделаться богом.

– Кем? Кем? – нетерпеливо спросил Сулла.

– Богом.

– Как это – богом?

– А так.

– Разве человек может стать богом?

– Говорят, что – да. Египтяне так говорят... Задумать-то он задумал. Но задуманное, как это бывает обычно, не так-то просто осуществить. И князь начал ломать голову... На ту пору явился к нему кудесник. Пришел прямо из пустыни. Ведь там, в Египте, – пустынь сверх всякой меры. Этот кудесник, по-нашему – прорицатель, и говорит князю: «О чем тужишь, князь?» – «Хочу, говорит, быть богом...» Кудесник вовсе не удивился этому. На своем веку многое натворил: одних обратил в крокодилов, других – в гиппопотамов, третьих – в пирамиды. С богами пока что не приходилось иметь дело. Ибо не встречался ему человек, который задумал бы нечто подобное. И кудесник научил того князя. И князь сделался богом.

Эпикед умолк.

– Ну? – нетерпеливо сказал Сулла.

– Всё.

– Как всё? А самое главное?

– Главное?

– Ну да! Каким путем князь достиг своего? Что посоветовал ему кудесник?

– Кудесник? Ничего особенного...

– А все-таки?

– А как думаешь ты, Сулла?

– Я? – Сулла подумал. Но не догадался. И признался в этом.

– Ничего особенного. – Эпикед беззвучно рассмеялся. – В том-то и дело, что путь этот прост. И доступен человеку.

– Ты задаешь мне загадку, Эпикед.

– Ничуть.

– Так открой же мне тайну этого кудесника.

– Изволь. – Эпикед приблизил уста к уху своего господина. – Кудесник сказал: «Есть у тебя помощники?» Князь сказал: «Есть». – «Их много?» – «Ровно семижды двенадцать». – «А сколько народу живет в твоём царстве-государстве?» – «Пять миллионов». – «Что больше, князь: пять миллионов или семижды двенадцать?» Разумеется, князь ответил безошибочно. «В таком случае, – сказал кудесник, – сними голову». – «С кого?» – воскликнул князь. «С твоих помощников. Найдешь себе других. И тогда те же пять миллионов признают в тебе бога. Они убоятся твоего гнева сильнее, чем гнева Осириса...»

Сулла спросил:

– И князь послушался?

– Да.

– И сделался богом?

– Да.

– Те пять миллионов затрепетали в страхе, Эпикед?

– Разумеется!

– Удивительно! – Сулла почесал затылок.

– Ничего удивительного, Сулла. Проще простого, Сулла.

– Ты думаешь?

Сулла искоса поглядел на слугу, чтобы определить получше: много ли веры полагать словам его. Откуда взял этот Эпикед странную притчу? На самом ли деле она из Египта? Там сейчас только прекрасные овощи и никаких богов! Но прежде, говорят, бывало...

– Послушай, Сулла, что бы случилось, если бы ты слегка подтолкнул этого Цинну?

– Как это подтолкнул, Эпикед? – возмутился Сулла.

– Не горячись, господин мой. Не горячись... Тебе не нравится слово «подтолкнул». Ладно. Заменим другим. Скажем так: если бы ты ему помог прыгнуть?..

– Кому? Цинне?

– Да!

– Откуда?

– Со скалы.

– Я об этом не подумал, Эпикед. Я позвал его для беседы.

– Можешь не врать. По крайней мере, мне.

– Вру, – сознался Сулла.

– Так я и знал!

Сулла уронил голову на руки. Закрыв веки. Засопел. Ход мыслей этого Эпикеда ясен. Действительно, не стоит все усложнять. К чему клятвы? Выборы консула? Тарпейская скала все решает значительно проще. Быстрее. Вернее...

Сулла поднял глаза на слугу, тот торжествовал. Зловещая улыбка сияла на его щербатом лице. Глаза метали победные стрелы. И он смотрел на господина сверху вниз. Должно быть, как кудесник на того самого князя.

Сулла понемногу приходил в хорошее настроение. Пятерней расчесал редкие волосы. Спросил:

– А ты не кудесник, Эпикед?

– Я? Нет.

– Кто же кудесник в таком случае?

– Ты, Сулла!

– Я? – Сулла привстал.

– Да, ты. Это ты подсказываешь мне верный образ действий. Я читаю в тебе таинственные, недоступные другим мысли. Вижу тебя насквозь. Ты – финикийское стекло. Моя обязанность сообщать тебе то, что вижу, что читаю в тебе, в твоих глазах.

– Да? – кратко спросил Сулла. – Ну что ж, может быть, может быть...

11

К о р и н н а. Это ты, Децим?

Д е ц и м. Я, дорогая.

К о р и н н а. Поздно уже. Темно совсем. Сиди, сиди там, не прыгай.

Д е ц и м. Я же на мгновение. Чтобы взглянуть на мою ненаглядную...

К о р и н н а. Это я – ненаглядная?

Д е ц и м. А кто же еще?

К о р и н н а. Лестно. Твоя любовь прямолинейна, словно гипотенуза в треугольнике Пифагора.

Д е ц и м. Чего? Я не пойму ученой премудрости. И модные словечки не для моего уха.

К о р и н н а. Ты просто не расслышал. Это потому, что ты сидишь на ограде.

Д е ц и м (укоризненно). Ты же сама запретила прыгать в сад.

К о р и н н а. Это верно.

Д е ц и м. Может, не приду к тебе больше...

К о р и н н а (едва скрывая радость). Правда?

Д е ц и м (огорченно). Да, Коринна. Ведь я воин все-таки, и мое место на поле боя. Мы уходим на Восток. Нас ведет великий Сулла. И мы победим!

К о р и н н а. Не кричи так громко, Децим. Ведь ты не в военном лагере.

Д е ц и м (виновато). Это верно. Но, Коринна, привычка... Понимаешь? Привычка.

К о р и н н а (вздыхнув). Понимаю.

Д е ц и м. Не сегодня-завтра мы уйдем...

К о р и н н а (равнодушно). Куда?

Д е ц и м. Это военная тайна. Но, вероятно, сначала в Брундизий. Оттуда отплывем в Диррахиум. А вот что будет после – настоящий секрет. Я и сам того не знаю.

К о р и н н а (зевая). Я буду вспоминать тебя...

Д е ц и м (разочарованно). Ты зеваешь, Коринна?

К о р и н н а. Извини меня. Я дурно спала ночь.

Д е ц и м (с тайной надеждой). Думала?

К о р и н н а. Да.

Д е ц и м (умоляюще). О ком, Коринна? Ну, о ком?

К о р и н н а (помолчав). О нас с тобою.

Д е ц и м. Эвоэ! Я так и подумал.

К о р и н н а. О том, что ты уйдешь очень скоро. Далеко, далеко.

Д е ц и м (решительно). Но я вернусь. С победой! Со щитом! Я женюсь на тебе! Ты будешь моей! (Вдруг свалился со стены.)

К о р и н н а. Децим!

Д е ц и м. Ох!

К о р и н н а. Ты жив?

Д е ц и м. Кажется. (Охнув, снова взобрался на каменную ограду.) Я просто так не умру, Коринна. Вот увидишь, я вернусь! Но берегись: изменишь – убью тебя и его! Поразмышляй над моими словами. Времени у тебя будет вдоволь.

К о р и н н а (устало). Хорошо.

Д е ц и м. А теперь – прощай!

К о р и н н а. Будь храбр. Не бойся врага. Иди первым в атаку! Думай обо мне! Пригнись, я поцелую тебя на прощанье. (Целует его.)

Д е ц и м (растроганно). Прощай! Лучшего напутствия я и не ожидал! До встречи на этом же месте!

12

Консулом был избран Луций Корнелий Цинна. Сулла горячо поздравил его. Чем поразили римлян. Как своих друзей, так и недругов. Мало осведомленных во всех подробностях взаимоотношений Цинны и Суллы. Как друзья, так и враги полководца удивлены великодушием его. А враги, скорее, подавлены: уж очень ловким оказался этот Сулла. Сущим болваном выглядит во всей этой истории Цинна. Неужели он не понимает, что играет на руку Сулле, своему врагу? Это просто удивительно, непостижимо. Какая безнравственность! Какое падение чести! Какой союз добра и зла!

Все это людям здравомыслящим казалось противоестественным. Еще бы! Друг другу подали руки заклятые враги! На какой основе состоялось примирение, ежели оно вообще состоялось? Правда, второй консул будто бы неплохо относится к Сулле, даже сочувствует ему во многом, готов идти с ним в ногу. Но разве это выход из положения? Противоборствующий Цинна – большая политическая сила.

Сулла, почти год исполнявший обязанности консула, не выставил своей кандидатуры по вполне понятным причинам: он, скорее всего, не был бы избран. То, что его племянник Ноний и друг его Сервий провалились на выборах в магистратуру, послужило ему предостережением. И он сделал из этого соответствующие выводы. А в магистратуру прошли его откровенные, хотя и не столь заметные, как Цинна, враги. Вот их имена, ныне почти забытые: Кандид Секунд и Гней Север.

В этих условиях, разумеется, не стоило выдвигать себя в консулы. Оставалось довольствоваться званием проконсула и главнокомандующего Восточной армией. Последнее было важнее всех римских званий, вместе взятых.

Он сделал, что мог: протянул руку Цинне, знаменуя время примирений, одобрил избрание Секунда и Севера, всячески подчеркивая этим свои симпатии республиканскому Риму. Что еще требовалось от него? Примирение с Марием? Это совершенно невозможно. Марий должен исчезнуть с земли Италийской!

Достигнута ли нейтрализация сената? По-видимому, да. Сенат послушно произвел Мариа во «враги отечества».

Сенат утвердил Суллу командующим Восточной армией (совершенная формальность, но она все-таки необходима Сулле). В сенате тоже не дураки, они отлично понимают, что оптиматы стеною стоят за Суллу. Иметь дело с Суллой – значит иметь дело со знатью, с самыми богатыми людьми Рима...

А теперь вопрос о Цинне. В глубине души Сулла не верит Цинне ни на столечко. Не доверяет ему. Но другого выхода нет. Клятва на скале, ежели есть хоть капля совести у Цинны, кое к чему обязывает. Боги, наверное, оценят все это и примут со своей стороны меры и не оставят своей благодатью Суллу и его вооруженные силы.

Ауспиция Постумия выглядела блестяще: только на Восток, который сулит полководцу победу и триумф! Сулла очень подробно выспрашивал Постумия. Одно неблагоприятное слово, и Сулла отложил бы на некоторое время свой поход. Но ауспиция была блестящей как по форме, так и по сути своей. Даже с точки зрения самого заядлого пессимиста.

Постумий на этот раз оказался предельно точным в выражениях. Почти никаких двусмысленностей. Напротив, слова только о победе, слова о триумфе, о богатстве, о злате и серебре. Большая кровь... Реки крови... Море крови... Правда, не сказано какой: вражеской или вообще крови? Но, в конце концов, какую играет роль река или море? Важен результат. А он, по всей видимости, будет хорошим. А потери? Что такое потери? Рим за одну ночь восполнит их значительную часть. Не говоря уже о всей республике. Это не предмет истинных забот. Главное – побольше оружия, больше продовольствия и денег!

Буфтомий, независимо от Постумия, подтвердил благоприятный исход войны. Этот был более сдержан в своих выражениях. Ясно одно: пора собираться! Остаться в Риме незачем и не к чему. Все, что можно было совершить в Риме, – совершено.

В своих «Воспоминаниях» Луций Корнелий Сулла писал:

«В то время я не мог поступить иначе. Я мог бы пойти и на другие унижения. Ради того, чтобы достичь главной цели своей. Ради того, чтобы унижить после всех моих недругов. «Мы ждем от тебя беспощадных действий в соответствии с твоей силой, твоей великой мощью, а ты унижаешь себя и тем самым унижаешь нас», – говорили мне многие мои друзья из знатных и родовитых римлян. Я полагал тогда, полагая и сейчас, находясь на своей вилле в Кампанье, что поступил правильно. Кто знает, что было бы, если бы заартачился, заупрямился, словно осел, и поссорился с Цинной? Представляю себе примерный ход событий: вполне возможно, что Цинну все равно избрали бы – вопреки моему противодействию, – как избрали Секунда и Севера в пику мне. И что бы я тогда выгадал? Разве не ясно, что я оказался бы в проигрыше? Даже то, что случилось между мной и Цинной позже, не переубедит меня во мнении, что я был совершенно прав,

поступая так, как поступил. Мне надо было думать о походе, мне надо было формировать войско, собирать корабли для переброски армии в Малую Азию, накапливать в городе Брундизий продовольствие, оружие запасное и прочее. И в то же время вести дурацкую интригу с сенатом, который не переспоришь, ссориться с Цинной и тому подобное – выглядело бы совершенно по-мальчишески. Я бы не жил сейчас на покое здесь, в Кампанье, по существу держа в руках всю власть, если бы не последовал велению своих чувств!..»

Так писал Сулла в утраченных «Воспоминаниях», от которых сохранились лишь фрагменты, цитируемые более поздними авторами.

Можно усомниться в достоверности цитаты, но нельзя не признать того, что Сулла никогда не раскаивался в том, как действовал в Риме, когда вошел в него победителем, и до того дня, когда покинул его и направился в город Брундизий для войны на Востоке.

Поглощенный организацией похода, Сулла все время вмешивался в политическую жизнь через своих многочисленных друзей-оптиматов. И тем не менее она не всегда складывалась в его пользу. Нельзя сказать, что это очень угнетало его, но часто все же нервировало. Однако внешне он не выказывал никакого беспокойства.

Как-то Эпикед сказал ему перед сном:

– Не кажется ли тебе, что некие люди теряют совесть?

– Да, теряют.

– И ты молча взираешь на это?

– Как видишь, Эпикед. А что посоветуешь ты?

Эпикед постелил постель и молча стал в угол. Господин велел сесть. Но тот наотрез отказался:

– Я постою, господин мой.

Он сказал:

– Все умные люди твердят, что тебе не следует ввязываться в дразги римских политиканов. Человек, имеющий под своим началом такое войско, как твое, не должен опускаться до разговоров с этими болтунами. У тебя – свое дело. Настоящее. Большое. А у этих болтунов за душою – ничего. Вот они и чешут себе языки. От нечего делать.

Формально это не совет. Просто личное мнение слуги. А по существу?..

Сулла не нуждался в чужом мнении: хотя он все знал и все понимал сам, тем не менее человеческое любопытство кое-что требовало и для себя...

– Эпикед, представь себе... Представь себе, что сенат вынесет против меня решение...

– И что же?

– Сделать вид, что ничего не случилось?

- Да.
- И уйти за море?
- Да.
- А меня здесь будут чернить?
- Возможно.
- Поливать грязью?..
- Не ты первый, не ты последний.

Снова на Рим

1

Весна шестьсот семьдесят первого года от основания Рима, или восемьдесят третьего года до рождества Христова. Четвертый день до мартовских нон...

Сулла плывет на огромной пентере. Адриатическое море спокойно. Оно, можно сказать, уже позади. Впереди маячит Итальянская земля. Итальянское небо над нею. И город Брундизий встает, овеянный весной, словно город детской мечты.

Четыре года тоже позади, как и Адриатическое море. Все эти годы – с тех пор, как Сулла оставил Рим, своих друзей и врагов, своих льстецов и хулителей, – удача сопутствовала ему. Таким же удачным оказался и этот морской переход после множества сухопутных битв. Плыли сотни трирем – целая армада.

Он смело мог явиться в Рим во всем блеске и сообщить сенату, что Митридат посрамлен, что приобретены новые союзники, новые города, разрушены многие вражеские крепости и захвачено много ценностей – много талантов в золоте и серебре.

Он стал старше на четыре с лишним года. Почти на пять лет. Поседел, новые морщины на лбу. Немало сил положил на эту войну с Митридатом. Разве не могут гордиться римляне победами Суллы при Херонесе и под Орхоменом? Разве не решили эти два сражения судьбу всего Восточного похода?.. Суллу вполне могли бы встретить с триумфом на Марсовом поле. От этого не убудет римского сената. Напротив, может быть, кое-что и прибавится...

Отчет о Восточном походе составлен. Он диктовал его на ходу – не до писанины было. В отчете голая правда – в этом его достоинство. Что касается слога – любой сенатор-болтун напишет не хуже. А может быть, лучше. Слог – дело вкуса, в конце концов. Разве дело в нем? Сулла утверждает: человек, прежде всего, – это его дело. Что в красивости слога? Что в каллиграфии? Дело, содеянное умом, – вот это дело! Оно и камень переживет, как говорят каппадокийцы. И очень верно говорят.

Правда, Корнелий Эпикед, который, к слову говоря, тоже постарел на пять лет, не совсем согласен в этом вопросе с господином. Был меж ними как-то такой разговор. Эпикед сказал:

– Почему ты с такой гордостью говоришь о том, что слог твой не изящен? Ты вроде бы гордишься этим...

На что Сулла ответил:

– Разве я не прав? Важно, что написано, а не как написано.

Слуга возразил:

– Не совсем так. Хорошо, когда между ними гармония.

– Я не поэт! – огрызнулся Сулла.

– В этом я совершенно с тобой согласен. Но зачем же хвастать корявым слогом? Другое дело, если ты, показав образцы письменного искусства, вдруг, за неимением времени, сочинил не очень изящное. В этом случае тебя никто не осудит. Даже язык не повернется, чтобы упрекнуть тебя.

Сулла вез с собою библиотеку философа Апелликона, которая содержала сочинения Аристотеля и Феофраста. Разве привлекла его красивость слога? Пусть ответит Эпикед: красивость слога привлекла?

– Наверное, не красивость. Но эта сторона очень, очень привлекательна. Не менее важна, во всяком случае.

Сулла поднял руку, протестуя.

– Неправда! – горячо сказал он. – Главное – в мысли! Я могу с нею не соглашаться. Могу спорить с нею. Но главное – все-таки мысль. Только ради нее везу с собой это бремя образованности. А красивость? Я могу и без нее.

Эпикед сказал:

– Есть крепкая связь между мыслью и слогом, которым она изложена. А это бремя образованности – списки эти – досталось тебе очень легко. В Греции образованных людей – всего горстка. Одни неучи. Жалкие пастухи! Они не понимают, что отдают.

– Я бы все равно взял, Эпикед.

– Никогда! Народ, который ценит образованность, не уступит сочинения Аристотеля так просто. Я не уверен, что в Греции остались еще списки.

Сулла был очень доволен собой.

– Верно, – говорил он, – я приобрел нечто великое. Я отдам эти свитки какому-нибудь грамматiku в Риме – пускай себе копается.

Рабу хотелось, чтобы последнее слово осталось за ним.

– Я полагаю так: если не обладаешь слогом – не хули его, не принижай его значение.

Сулла махнул рукой...

Когда-нибудь он, Сулла, покажет, каков у него слог. Надо думать, не уступит самым ученым грекосам. Они, конечно, не перевелись еще – этот Эпикед немножко передергивает.

В данном случае, что есть отчет? Сухое, может быть, даже скучноватое изложение фактов. А факты должны говорить сами за себя...

Сулле приходилось бороться с неодолимым желанием разгромить своих римских врагов любой ценой. Но увязнуть в Риме – значит увязнуть вообще и растерять доверие войска, которое жаждет несметных богатств Митридата.

Все были уверены, – я говорю о войске, – что Сулла победит. Поэтому обмануть войско, отказаться от своего обещания повести его в поход на Восток Сулла не имел права. Тут дело не столько в чести, сколько в расчете. Восток открывал путь к упрочению власти Суллы в Риме. Потом, после победоносного похода, можно поговорить со всеми этими циннами и северами на другом языке.

Сулла настоял на том, чтобы был испрошен еще один совет у богов. На этот раз дело поручалось авгурам. По небесным светилам, по положению Зодиака они предскажут исход войны в Малой Азии. Как это ни удивительно – предсказание авгуров тоже оказалось благоприятным.

Долабелла, Фронтан, Руф и другие военачальники считали вопрос решенным. И тем не менее Сулла не спешил. То есть он готовился, но готовился неторопливо, основательно. И это злило нетерпеливых. В бой, все рвались в бой! Со стороны могло показаться, что ни один из воинства Суллы не будет убит или тяжело ранен. Столь велико желание биться, биться, биться с Митридатом!

Когорты стягивались к порту Брундизий, что на юге Италийской земли. Сюда же приплывали триремы. Их число уже перевалило за пятьсот и с каждым днем все увеличивалось. Отсюда, из Брундизия, предстояло плыть через Адриатическое море и высадиться в Диррахиуме. Это был обычный путь для тех, кто желал переправиться с Апеннинского полуострова в Иллирию или Фракию. Дальше лежал прямой путь в Афины или Малую Азию через Геллеспонт.

К Сулле приходили донесения от военных трибунов; как видно, сборы шли довольно-таки гладко. Сказывалась дисциплина великого римского воинства. Страх перед децимацией и огромное службистское рвение к наградам делали свое дело безошибочно. Все, все говорило о том, что скоро, скоро Сулла почти отбудет в Брундизий. Там его ждало войско, готовое погрузиться на боевые корабли.

Вдруг, перед самым отъездом из Рима, Суллу огорошил Фронтан. Он принес с Капитолия потрясающую новость: Цинна требует суда над Суллой, обвиняя того в игнорировании решений и воли сената. И еще в чем-то. Уже выделен суд, на который послезавтра вызывается в качестве обвиняемого Сулла. Не кто иной!

«Игнорировал решения?» Конечно, игнорировал! На то он и Сулла, а не какой-нибудь безродный вольноотпущенник или болтун популяр.

Сулла оцепенел. Он привык ко всему. Он ждал всего. Но не такого вероломства. Первое побуждение: отрубить голову Цинне и выставить ее на форум на всеобщее обозрение. Потом, несколько придя в себя, сказал равнодушно:

– Плевал на них с высокого дерева! Давайте собираться в путь-дорогу.

И попросил Децима передать привет одной молоденькой девице, которая отменно забавляла его всю последнюю неделю.

Очень точно написал обо всем этом Плутарх: Цинна «приготовил все, чтобы возбудить против Суллы судебное преследование, и выставил в качестве обвинителя Виргиния, одного из народных трибунов. Но Сулла оставил без внимания и обвинителя и суд и поспешил в поход против Митридата».

Прислушиваясь к барабану, на котором рослый раб отбивал ритм для гребцов, Сулла представлял себе, что скажут эти сенатские крючкотворы, читая свитки о Восточном походе. В них изложено буквально все, со скрупулезной точностью, начиная со дня отплытия из Брундизия, когда в первый же день во время шторма внезапно было потеряно пять кораблей, и до тех самых мартовских календ, когда войско Суллы вот-вот пристанет к Итальянской земле.

Сулле не пришлось кривить душой или подтасовывать факты. Верно же говорят: победителей не судят! Какие бы мелкие ошибки ни были допущены, результат – общий итог – сам говорит за себя.

Ни одно сражение, которое дал Сулла, не посрамило римского оружия. Очень часто приходилось биться с превосходящими силами. Вообще говоря, если бы Митридат был воистину большим (о великом нечего и заикаться) полководцем, то он сумел бы поставить Суллу в критическое, а может быть, и вовсе в безвыходное положение. Кому было легче собрать войско – Сулле или Митридату, к которому «в гости» заявился римлянин? Даже младенец скажет – кому. Стратегу не пристало отвечать на этот вопрос: уж слишком он ясен...

Сулла стоит на высоком помосте. Ветер треплет его тогу, специально добытую для торжественного вступления на землю Брундизия...

Оставим все в стороне, – достаточно проанализировать три момента похода: осаду Афин, заключение мира с Митридатов и столкновение с римлянами, если так можно назвать встречу с войском Фимбрия. Последнее требует особого объяснения, особого рассмотрения, что ли, ввиду своей необычности. Ибо это было, или могло быть, столкновением со своими соотечественниками, пришедшими не на помощь, а чтобы помешать. Но даже и это мягко, слишком мягко сказано. Консулы Цинна и Карбон не придумали ничего, решительно ничего лучшего, как послать этого жалкого Фимбрия и коварно ударить по войскам Суллы. (А до этого столь же подлую попытку сделал консул Флакк.)

Афины, этот некогда величайший город, оказал Сулле упорное сопротивление. Это было просто удивительно: на что надеялись эти, глупые, эти поглупевшие афиняне, предводительствуемые тираном Аристионом, самонадеянным и жестоким?

По-видимому, Аристион и его приближенные полагали, что само слово «Афины» произведет на римлян устрашающее впечатление. Возможно, так оно и было бы лет триста – четыреста тому назад. Но сейчас? В это время? Разве не сумасшествие запираяться в городских стенах и пытаться диктовать – ужасное нахальство! – какие-то условия самому Сулле, римскому полководцу!

В Киликии существует хорошее выражение, когда желают выставить кого-нибудь на всеобщее осмеяние. Там говорят так: «Этот человек воистину сильнее зеленой лягушки». (Такие лягушки в Азии отличаются особой голосистостью.) Сулла с полным правом обозвал Аристиона негодяем, который «не считается со страданиями обреченных горожан».

Осада и взятие Афин, несомненно, будут достойно описаны в «Воспоминаниях». Пусть историки, размышляя Сулла, кропают на пергаменте что угодно. Это их ума дело. Это их занятие. Их забота. Истинная оценка всему происшедшему будет дана им, Суллой, и только им. Ибо только таким путем можно противопоставить правду различным кривотолкам. Например, не далее как вчера Эпикед передавал болтовню о том, что якобы проход в Афинской стене, то есть слабое место, случайно открыли некие старики. Сулла долго смеялся и обещал написать все, как было. Во-первых, не старики указали слабое место, а его нашел, его определил сам Сулла. И нечего тут громоздить одну чепуху на другую. Объезжая городскую стену, Сулла увидел уязвимое место в обороне, которого не заметили ни Фронтан, ни Руф. И приказал направить основную силу именно сюда. Но посоветовал предварительно скрытно сосредоточить войско в роще, на берегу Кефиса, и оттуда ударить по стене. Однако этого было недостаточно. Следовало отвлечь внимание афинян. Не стоило особого труда организовать ложный приступ. Вот каким образом – и никаким иным было найдено слабое место в обороне афинян и пробита брешь. Надо полагать, что сенаторы, читая это место в отчете, воздадут должное Сулле, а ежели сочтут это не вполне убедительным – пусть пеняют на себя! Разговор с такими может произойти довольно-таки крутой. Но с этим еще надо повременить...

Брундизий все ближе и ближе. Кажется, ничего не изменилось за четыре года: те же кипарисы, та же гавань и беленькие домики на берегу. Та же зеленовато-голубая вода.

Инстинкт подсказывал Сулле принять некоторые меры предосторожности: все-таки целая армада, все-таки – армия на ней, хотя она не столь уж многочисленна: за четыре года убыль весьма ощутима.

Римские полководцы, которые на берегу, и сенат, который в Риме, не всегда понятны для постороннего. В них есть некоторая таинственность, как в том сфинксе, который близ Мемфиса в Египте. Сулла приписывает эту видимую простым глазом, без финикийского кристалла, таинственность идиотизму сенаторов, который они кое-как пытаются прикрыть. На это у них хватает ума. Есть в Риме еще одна категория магистратов-чиновников, которую не мешает при случае проучить. Речь о народных трибунах. Хотя они вроде бы выборные, но от этого они не менее вредные, чем сенаторы. Пожалуй, даже более вредные! Будь на то воля Суллы, – а ежели соизволят боги, будет на то его воля! – трибунов разогнал бы в двадцать четыре часа. И не посмотрел бы Сулла на традиции! Эти подлецы всю жизнь гадили Сулле. Ссылаясь на свою избираемость. На волеизъявление народа. На связь с народом. Эту шантрапу следует разогнать. Непременно разогнать. Дали бы только боги утвердиться в Риме!..

Сулла приказал морским военачальникам бросить якоря на рейде и ни в коем случае не пускать солдат на берег. Может случиться, что они поплывут дальше. А куда дальше – об этом сообщит в свое время.

Ближе всех к берегу подошла пентера Суллы. Остальные корабли почтительно выстраивались за его кормой на приличном расстоянии. Была приготовлена фелюга для сообщения с берегом, который казался пустынным. А ведь был уже четвертый час утра! Это весьма и весьма подозрительно...

Сулла снова возвращается к мыслям о завершенном походе...

Второй важный момент – встреча с Митридатом и заключение мира. С точки зрения самого Суллы, все здесь обстояло прекрасно: искусный разговор, хорошие условия для победителя, то есть для Рима, унижение побежденного и обеспечение стабильности в Азии.

Однако, по мнению сенаторов, – и это известно Сулле, – все обстояло наоборот: сговор с Митридатом, сохранение военного преимущества Суллы с расчетом на междоусобицу италийских народов, шантаж Рима. То есть налицо все условия для обвинения проконсула Суллы в предательстве. Во время похода интриги против Суллы исходили от консулов Цинны, Флакка, Карбона и прочих недобитых марианцев. После смерти Флакка Карбон продолжал черное дело против единомышленников Суллы. Цинна и Карбон оказались во главе всех сил, противостоящих проконсулу. Это они оснастили и послали в Грецию армию Фимбрия для того, чтобы погубить не Митридата, – о нет! – но Суллу. Таков тот предел, до которого докатились эти деятели в Риме...

Как-то ночью, беседуя с Эпикедом, Сулла разразился грубой бранью против этих господ. Он был немного пьян. Говорил яро. Стучал по столу кулаками. Словом, вел себя, как лев в клетке, доведенный до иступления.

Эпикед слушал с мрачной снисходительностью. Казалось, все это он уже знал и все предвидел. Более того: у него готов ответ на все недоуменные вопросы Суллы. Однако молчал до поры. Давал выговориться и господину, выгореть его страстям. В припадке бешенства Сулла клял себя за то, что не разделался с этими господами в Риме и поверил Цинне. Подлюга, наверное, думает, что обвел вокруг пальца Суллу. Черная бездна, казалось, разверзлась у самых ног полководца. И он слышал голоса, привлекающие в бездну, слышал явственно довольное похихикивание сенаторов. Что же? – кое-чего они добились. Но ведь все впереди! Понимают они, что все впереди, или не понимают? Может, они полагают, что Сулла оглох, ослеп? Разве не работают на Суллу добровольные и платные соглядатаи?..

– Гляжу на тебя, – сказал Эпикед, – и диву даюсь.

Сулла разом остыл. Как-то обмяк. Пропала вся воинственность. Хлебнул вина так поспешно, что поперхнулся. Уставился на слугу недоумевающим взглядом.

– Да, да, – продолжал Эпикед, – диву даюсь.

– Почему?

– Очень просто! Ты давно должен был понять, что те, кто верховодит сейчас в Риме, завидуют тебе. Они готовы с удовольствием вырыть для тебя могилу. И даже похоронить с большими почестями. Лишь бы избавиться...

– Это я знаю и без тебя.

– Что же с того, что знаешь?

– По-твоему, я должен был действовать в открытую с самого начала?

– Почему бы и нет?

– Гм... а я полагал, что ты понимаешь меня.

– Дело не во мне, мой господин.

– А в ком же?

– В тебе! – повышая голос, сказал Эпикед. – В тебе.

– Дальше. Я слушаю.

Слуга молчал. Он разрешил себе отхлебнуть вина. Впрочем, к этому всегда понуждал его Сулла. Полководцу требовался полуночный собутыльник. Эпикед сказал:

– Наверное, ты ошибся.

– В чем? – Сулла пил, пил, пил. Как лошадь, прикишавшая губами к холодному роднику в жаркую пору.

– Ошибка наша такая: прежде чем уходить на Восток, надо было кончать с марианцами. Разом. Беспощадно. Громоподобно. Молниеносно. Кроваво.

– Как? – едва выговорил Сулла.

– Я же сказал – как. Могу повторить. Разом. Молниеносно. Беспощадно. Кроваво.

– Не очень понимаю... – У Суллы нервно заходил кадык.

Слуга уселся напротив. Вытянул правую руку, собрал пальцы так, словно взял щепотку соли.

– Я понял, Сулла, – жестко выговорил слуга. – Мы промахнулись.

– Да?

– Определенно. Непростительную допустили ошибку.

– Ты в этом уверен?

– Да.

– Исправить возможно ли?

Слуга не торопился с ответом. Как говорят римские кутилы, сначала надо выхлебать урну вина, а потом уж соображать, что и как. По всей вероятности, это и решил проделать Эпикед.

– Закусывай, – предложил Сулла.

– Обойдусь.

– Напьешься.

– Наплевать!

– Я хочу услышать ответ. Вразумительный. Трезвый.

– За этим дело не станет.

Сулла жевал оливы. Обглаживал каждую косточку, словно кость пулярки, отшвыривал куда попало – не до них сейчас.

– Ну?

Эпикед молчит и пьет. Пьет и молчит. Он ничего не скажет, пока сам не сочтет, что настала для этого пора.

– Думаешь? – беззлобно спросил Сулла.

– Думаю...

– Ну, думай, думай!

Корабль покачивало: с киля на корму, с борта на борт. Каюта полководца отделана красным и черным деревом, медью и оловянными планками, которые выглядят почище серебряных.

– Все, – объявил Эпикед и отставил чашу.

– Что – все? – спросил Сулла.

– Хочу высказаться.

– Слушаю.

Слуга приблизился. Проговорил очень тихо:

– В тебе есть кровь, великий Сулла?

– Кровь? Думаю, что да.

– И шея?

– И шея.

– И голова, Сулла, есть на плечах? Да?

– Есть голова.

Эпикед придвинулся так, что чуть не касался носа Суллы своим носом.

– Кровь можно выпустить. Правда?

– Да, Эпикед, при желании можно.

– Набросить петлю на шею можно?

– Да, можно, Эпикед.

– Сулла, а голову раздробить дубиной можно?

– Разумеется.

– Она же у тебя не медная.

Сулла постучал себя по голове, как по спелому арбузу. Сказал:

– Нет, не медная. Обыкновенная.

– Я так и думал. – Эпикед усмехнулся.

– Дальше...

– В Риме, как видно, полагают, что тебе можно и кровь выпустить и голову раздробить.

– Возможно, Эпикед.

– Теперь я задам тебе один вопрос, Сулла, и не торопись отвечать на него. Подумай прежде. Обмозгуй, как говорится.

– Обещаю.

– Вопрос такой: если выпустить кровь народным трибунам и кое-кому из сенаторов, раздробить головы видным марианцам и их прихлебателям, – что будет?

– Что будет?

– Не торопись, Сулла. Ответишь завтра. Послезавтра. Через неделю.

– Что будет? – Сулла выпятил нижнюю губу. Глубоко вздохнул. Сощурил глаза.

– Не спеши с ответом.

– Что будет? – спросил Сулла. Ему от нахлынувшего гнева не доставало воздуха. – Что будет?

Слуга поднял руку, прося не спешить.

– Что будет? – Сулла изменился в лице.

А слуга снова обратился к вину. Вроде бы даже не слушал своего господина. Ему вроде бы безразлично, что скажет он, что ответит ему, Эпикеду.

Сулла сжимал кулаки. Косточки на кулаках побелели. И заскрежетал зубами,. Словно шакал пустыни.

– Не торопись, Сулла...

– Теперь слушай, Эпикед. – Сулла поднял кулаки. – Ты узнаешь все. Церемониям приходит конец. Если позволят боги и я снова окажусь в Риме, я... – Сулла вытянул правую руку, разжал кулак и снова сжал его. И с такой силой, точно собирался выжать воду из камня. – Вот так, Эпикед, вот так, Эпикед!..

И не отпускал цепких пальцев. А косточки на тыльной стороне руки из белых стали синими.

Эпикед все понял.

– Я их задушу, как цыплят, – прохрипел Сулла.

– Ох-хо-хо!

– Я выпущу кровь, как из ягнят...

– Э-гей! Э-гей! – подбадривал слуга, точно скифского наездника.

– Я совью из них один большой канат. И к его концу прикреплю якорь своей пентеры.

– Го-го-го! – гоготал слуга, хотя казалось, что он не смеется. Лицо его продолжало хранить печать мрачного созерцания. Щербатые щеки не двигались. Застыли.

– Послушай! – Сулла схватился за подлокотники своего кресла. – Знаешь что?.. Эпикед, я сделаю из них месиво. Вот возьму сведу их вместе, и мои центурионы с солдатами приготовят паштет. Но не из соловьиных языков и не из гусиной печенки, а из этих сенаторов, народных трибунов и прочих проституток с Капитолия!

...Сулла, стоя на капитанском помосте, был очень доволен ночной беседой с Эпикедом. Его недруги непременно получают то, что заслужили. Разумеется, в рамках республиканских традиций...

И снова полководец возвращается к памятной записке, подготовленной для сената. Так вот, значит, встреча с Митридатом. Ее пытаются охаять. Преуменьшить ее результаты. Посмотрим, посмотрим, что из этого получится...

Встреча с Митридатом произошла на берегу Геллеспонта близ города Дарданы. Отсюда до развалин древней Трои – рукой подать. Римские триремы стояли у самого берега. На азиатском берегу высадилось несколько когорт. А на том, на другом берегу маячили

знамена новых, идущих с севера когорт. И это видел Митридат, прибывший с многочисленной, великолепной свитой. Тысячи его гоплитов стояли наготове. Знаменитая конница Митридата выстроилась за спиной гоплитов. Словом, зрелище удивительное...

По сравнению с азиатами римляне выглядели куда более скромно. Железные шлемы, железные щиты, пыльные солдатские походные одеяния. Усталые, загорелые, закаленные в битвах воины. Всего несколько когорт на этом берегу... Сулла нарочито пренебрегал безопасностью, ибо знал, что Митридату деваться некуда. Он просит мира. Ему нынче нельзя без мира. Сулла нависает тучей не только над Троадой, но и над всей западной частью Понтийской империи. Если бы несведущий человек вдруг оказался на берегу Геллеспонта в этот день, то непременно сказал бы, что справа победители, а слева – на самом берегу – побежденные. На самом деле все обстояло наоборот. И Сулла не преминул воспользоваться правом победителя.

Он стоял возле своей палатки в окружении военных трибунов. А Митридат, в высоком золоченом шлеме, статный, широкоплечий, выхоленный, во всем новом, шелковом, блистательном, сошел с колесницы и направился к Сулле. Римлянин не шевельнул даже пальцем. Спокойно смотрел своими едко-голубыми глазами на приближающегося монарха. «Он расфуфырился так, – подумал Сулла, – словно приехал на победный пир». Митридат протянул руку. Улыбнулся. Произнес приветствие на латинском языке. Сулле сказывали, что Митридат – настоящий полиглот: свободно изъясняется кроме греческого и латинского по-египетски, по-еврейски, по-персидски, по-колхски. На латинском Митридат говорил так, словно родился в Лациуме – где-нибудь в Остии или Альба-Лонге. Для настоящего римлянина ему доставало некоторого изящества в оборотах речи. Но этот недостаток улавливало только изощренное ухо.

Митридат застыл с протянутой рукой. И слова приветствия застыли на его губах.

Сулла сказал громко, но бесстрастно:

– Я ничего не прошу.

– Знаю, – сказал певуче Митридат, все еще держа на весу свою руку.

– Я ничего не прошу, – повторил Сулла, – а тот, кто просит, всегда должен говорить первый.

– Что говорить? Разве не все тебе ясно?

– Нет, – отрезал Сулла.

– Если говорить откровенно, – продолжал Митридат, – виноват не столько я, как это кажется иным.

– Кому, например? – ворчливо спросил Сулла.

– И тебе в том числе.

– Это очень любопытно. – Сулла посерел лицом. Похолодел взглядом. Казалось, окаменел вовсе. Еще мгновение – повернется и скроется в палатке.

Митридат не обратил внимания на слова Суллы. Он говорил:

– Боги не всегда справедливо судят нас. Не всегда, на наш взгляд, разбираются в земных делах. Разве следовало им сталкивать меня с тобой? Что я плохого сделал тебе? А ведь именно они, великие боги, натравили тебя на меня, столкнули нас. И это глубоко несправедливо. К великому сожалению, некоторые из ваших высокопоставленных лиц не смогли уразуметь истинного положения вещей. Разве люди порою не могли бы помешать волеизъявлению богов, если воля эта не совсем устраивает обитателей земли?

– Постой, – грубо перебил его Сулла. – Твое замечательное ораторское искусство мне хорошо известно. И твоя ученость – тоже. Мне передавали, что ты знаешь персидские и еврейские притчи. И рассказываешь их, как прирожденный актер. Меня в Афинах тоже пытались учить уму-разуму на свой греческий лад. Ты знаешь, что я им сказал? Я сказал, что приехал в Афины не для того, чтобы в Академии учиться, а для того, чтобы заставить афинян соблюдать римские законы. Я должен сообщить тебе, о Митридат, что ораторы надоели мне еще в Риме, а ученые – в Афинах. Я привык иметь дело с людьми практичными. Мне сдается, что в твоём положении лучше сразу брать быка за рога. А?

– Изволь, – согласился Митридат.

– Вот и хорошо! Я слушаю тебя, о Митридат. И, как говорят самниты – очень жестокое племя в Италии, – краткое слово предпочтительнее длинного. А?

Голос был ледяной. От него веяло Бореєм. И Митридат почел за благо перейти к делу, ибо на этого истукана ничего не действует. Итак...

Митридат сказал:

– Я согласен на все твои условия. Их мне передал Архелай. Только у меня будет к тебе, если позволишь, небольшая просьба.

– Это дело другое, – обрадовался Сулла. Он пожал руку Митридату. Обнял его. И расцеловал. И пригласил Митридата, царя понтийского, в свою палатку для переговоров. Окончательных. Вместе с ним пригласил он в свою палатку царей Ариобарзана и Никомеда – своих союзников и врагов Митридата – и помирил их. Это было необходимо для того, чтобы упрочить положение Ариобарзана и Никомеда в Малой Азии. Эти не подведут Рим. Митридату волей-неволей пришлось идти на это. Скрепя сердце.

Говоря откровенно, можно было заставить Митридата принять более жестокие условия мира (Сулла признавался в этом только своему слуге). Однако Сулла не пошел на это по вполне очевидной причине, о чем, несомненно, догадывались в Риме. Дело в том, что в Элеатском заливе, севернее устья реки Каик, высадился со значительным войском полководец Фимбрий, которого Рим наделил большими полномочиями. Он угрожал столице Митридата Пергаму и мог отрезать город от области Троада, где находился царь почти со всем своим войском. Митридат пошел на мировую. Что же надо в таком случае Фимбрию в Малой Азии? Только одно: попытаться разбить Суллу. Ни больше ни меньше!

Митридат не сразу раскусил эту ситуацию – в этом Сулла был совершенно уверен. Разве нельзя допустить такой поворот – союз Фимбрия с МитридатоМ против Суллы? Можно, и очень даже просто. Сулла опередил Фимбрия. Сулла перехитрил Рим. Это ясно как день. Формально сенат мог обвинить Суллу в нерадении, в плохой службе отечеству, больших уступках Митридату. На все это теперь наплевать! Главное – Сулла сохранил войско. И,

помирившись с Митридатом, двинулся против Фимбрия. Близ Фиатир, что недалеко от Пергама, встретились два войска...

А перед этим Фимбрий передал через ординарца, что Сулле следовало говорить с губителем римских граждан в Малой Азии – Митридатом – на более жестком языке. Можно ли простить этому царю убийства десятков тысяч италийцев во многих городах Понтийской империи?

Сулла принял посланца Фимбрия весьма ласково, чем удивил его. Одарив подарками, отослал ординарца назад. Сулла просил уведомить высокоуважаемого Фимбрия о том, что готовит письменный ответ и что в ближайшие дни попросит встречи там, где это будет угодно Фимбрию.

Фимбрий удивился столь непонятно мягкому, хотя ничего особенно не выражающему ответу. А на следующее утро, проснувшись, увидел на расстоянии одной мили лагерь Суллы, обведенный рвом, полностью готовый к обороне и нападению. Это повергло Фимбрия в глубокое смущение. Он тотчас велел запросить Суллу о причине сего недоброжелательного акта. Но долго ждать ответа не пришлось: квестор Руф явился самолично в лагерь Фимбрия и попросил аудиенции. Устройство лагеря он объяснил совершеннейшей военной необходимостью на территории враждебного государства, каковым является Понтийская империя. Возразить что-либо против этого действительно было невозможно. Притом квестор в весьма вежливых выражениях просил предложить время и место встречи Суллы с Фимбрием. Последний подарков от Суллы не принял. Тогда Руф оставил их на территории лагеря – перед палаткой Фимбрия – и удалился.

Переговоры затягивались. Сулла все время просил дополнительно продлить время на обдумывание каждого предложения Фимбрия. Дни шли за днями.

Между тем воины Суллы, по наущению их полководца, подходили к лагерю Фимбрия и вели дружеские разговоры. Они затевали игры в кости, проигрывали несколько сестерциев или тетрадрахм и возвращались к себе. Понемногу завязывалась дружба между воинами двух лагерей. Сначала Фимбрий не обращал на это внимания.

Позже это стало его беспокоить все больше и больше. Но тут неожиданно явился проконсул для переговоров.

При встрече Сулла обнял Фимбрия. Вот его первые слова:

– Брат мой Фимбрий! Я виноват в том, – и за это прошу тысячу извинений, – что до сих пор не повидал тебя и не выпил с тобой хотя бы урну вина. Я очень сожалею, что между нами нежданно-негаданно встал сенат. Я люблю и глубоко уважаю сенат. Мое желание – поскорее представить на его суд свои дела и дать полный отчет о походе. Но зачем ему ссорить нас с тобой?

После этого Сулла еще раз обнял Фимбрия, и они уселись друг против друга. В палатке. В присутствии военачальников одной и другой стороны.

Фимбрию лет сорок пять. Он знатного патрицианского рода. Благородство – вот его первое и главнейшее качество. Его белое лицо скорее подошло бы к профессии ученого или поэта, а не полководца. Доверчивость, честность – вот его второе качество.

Он ответил Сулле так:

– Дорогой Сулла, я действую в полном соответствии с инструкциями, данными мне сенатом. Мне приказано вместе с тобою разгромить Митридата. Но ты уже заключил мир, и, с моей точки зрения, не самый худший для Рима. Теперь же мне приказано, договорившись с тобой, принять под свое начало твоё войско. А тебя ждет в Риме триумф. Прими это мое заявление как заявление самого сената. Притом торжественное.

Сулла откровенно возрадовался. То есть – как ребенок возликовал. Он еще раз обнял Фимбрию и сказал, что лучших вестей ему не надо, что нынче же поговорит со своими военачальниками и что через неделю приведет войско под начало Фимбрия, как того пожелал сенат. Это окончательно, и поэтому быть всему так, а не иначе.

Фимбрий с радостью согласился. Он принял подарки от Суллы. В свою очередь сделал подарки Сулле. И обнял Суллу. И услышал следующие слова:

– Благодарю вас, о боги, что все пришло к благополучному концу!

– Я нынче усну спокойно, – признался Фимбрий, краснея как бы от стыда. – Нехорошо, когда римляне подымают меч на римлян.

– Еще бы! – возбужденно отвечал Сулла. – Дайте мне чашу! Раздайте чаши всем! Вон мое вино. Его разольют мои маркитанты. И мы впервые выпьем его.

Люди Суллы мигом всех обнесли чашами фалерна. После вина предложили прекрасную дичь, которая водится здесь в это время года.

Встреча закончилась ко всеобщему удовольствию, и Сулла со своими помощниками удалился к себе в лагерь.

Через два дня Фимбрий получил письмо от Суллы. Оно было столь же кратким, сколь и выразительным. В нем говорилось: «О великий Фимбрий! Я обдумал с моими помощниками твоё предложение относительно передачи моего войска под твоё начало. Мы сочли, что это не очень удобно для нас. Поэтому мы предлагаем тебе более удачное решение этого вопроса, а именно: ты передаешь нам своё войско, а сам на лучшем, быстроходнейшем корабле, щедро обшитом медью, уплываешь к итальянским берегам и первым сообщишь о победе над Митридатом. Не сомневаюсь, что сенат вознаградит тебя за эту весть. С у л л а».

Прочитав пергамент, Фимбрий приказал трубить тревогу. Это было тотчас же исполнено. Однако все его войско веселилось с воинством Суллы, и никто не обратил внимания на сигналы. Вскоре прискакал гонец из Рима (его корабль встречали в Элее). Он подал свиток папируса. Не читая его, Фимбрий бросился на меч.

Таков был конец полководца Фимбрия, который попался в западню, ловко поставленную Суллой. «Не он первый, не он последний», – сказали люди мудрые, во всех тонкостях сведущие в делах военных и делах политических. Сам же Сулла в своих «Воспоминаниях» напишет, что это была блестящая операция, когда враждебное войско было взято в плен без единой капли крови, без посвиста стрел и дротиков. Игра в кости и хитрое слово привели к Сулле десятки покорных, готовых вместе с ним плыть через море когорт...

Корабли, все новые корабли идут в Брундизий.

Синее море... Зеленое небо...

2

Сулла ждал сообщений с берега. Легко сойти на него, но значительно труднее снова взойти на корабли. Приходилось думать, думать, думать...

На специальной быстроходной лодке был высажен Децим с несколькими солдатами. На южной окраине Брундизия.

Децим и его солдаты переоделись в обыкновенную крестьянскую одежду, чтобы не выделяться. Так и вступили в город. Не очень опрятные, с мешочками. Шею, лицо, ноги они посыпали пылью. Желтой пылью Юга.

Фронтан приплыл на Суллову пентеру за инструкцией. Поскольку предполагалась высадка в Брундизий, а она почему-то задерживалась.

– Я жду, что принесут мои соглядатаи, – пояснил Сулла.

Это было разумно. И Фронтан немедленно одобрил предосторожность. С его точки зрения, два обстоятельства в той или иной мере могли смешать все дальнейшие планы. Хотя Фронтан не был осведомлен о них досконально, но тем не менее догадывался кое о чем. Первое: армия, сойдя на берег, могла разбрестись по домам. Как быть с этим? Правда, в Диррахиуме войско принесло присягу в том, что оно без приказа не оставит Суллу, пойдет с ним до конца. Но одно дело – присяга в Иллирии, другое – родная земля, дом, семья, друзья, естественное желание отдохнуть. Другая сложность заключается в том, что по закону любое римское войско, вступившее на землю Италийскую, должно быть немедленно распущено, а полководцу надлежит прибыть с отчетом в сенат...

– Чей это закон? – с усмешкой спросил Сулла.

– Наш, – ответил Фронтан.

– Твой, что ли?

– Нет. – Фронтан даже засмутился. – Исконно римский.

Сулла запротестовал. Он попытался объяснить, что отныне закон закону – рознь. Если закон помогает марианцам – плохой закон, его следует игнорировать, делать вид, что такого не бывало никогда. Но ежели он на руку Сулле, Фронтану, Долабелле, значит, закон хорош, его следует выполнять, причем скрупулезно. Вот так!

Фронтан вначале подивился такому толкованию. В простоте душевной полагал, что закон есть закон, особенно если он римский, старинный, традиционный и так далее. Он эту мысль и высказал Сулле в несколько смягченной форме.

– Дурак, – сказал Сулла в сердцах, – тебе говорят одно, а ты твердишь другое. Скажи мне: ты ратуешь за то, чтобы распустить войско?

– Я? – растерялся Фронтан. Свежий шрам на его шее свидетельствовал о его воинской доблести, но вот об уме его, пожалуй, много похвального не выскажешь. Есть в этом начальнике что-то детски наивное...

– Да, ты!

– Разумеется, нет.

– Молодец! – Сулла хлопнул его по плечу. – Без войска ни ты, ни я, ни все мы, вместе взятые, ничего не стоим. Нас свяжут по рукам и ногам и поволокут на римский форум. И из нас сделают то, чего мы достойны из-за нашего недомыслия. Или сгноят в Мамертинской тюрьме. Или... О Тарпейской скале ты подумал?

– Нет, – чистосердечно признался Фронтан. – Я больше подумывал о наградах, которые преподнесет нам сенат.

– А это не хочешь? – и Сулла грубым жестом положил пятерню себе на низ живота.

– Нет! – и Фронтан рассмеялся.

– Смейся! Смейся! – сказал Сулла. – Только учти: чтобы смеяться так, как ты смеешься сейчас, надо иметь войско. Беречь его, холить его надо! А иначе наплачешься. Изойдешь горячими слезами. Понял?

– Понял!

– Сюда дошло? – спросил Сулла, указывая кулаком на голову (выражение и жест остийских моряков).

– Дошло!

– Вот и хорошо! – Сулла встал. – Приказ таков: ни одного солдата не отпускать на берег. И никуда не отпускать! Они все поклялись. Они будут верны, ибо ждут награды. И они ее получают. – Потом подумал немного и сказал, понизив голос: – Я не уверен, что мы высадимся в Брундизии.

– А где же?

– Об этом следует подумать. Решить сообща. На военном совете.

Сулла – в этом были уверены его помощники – умел смотреть вперед. По-видимому, у него имелись особые сведения о положении в Римской республике. Его предосторожность в Брундизии, несомненно, обоснованна. Наверное, следует дожидаться сведений, которые привезут с берега. Маркитанты, спущенные на берег, должны были просить продовольствия у магистратов. И пресной воды, разумеется, хотя в этом не было никакой надобности. В зависимости от поведения городских чиновников можно иметь соответствующее суждение... А до той поры – всем быть на кораблях. О Дециме никто не знал, кроме двух-трех доверенных лиц с пентеры, на носу которой медными буквами было написано: «Юпитер».

Маркитанты, уже знакомые нам, вернулись только к вечеру. Их сообщение подтвердило, что на берегу далеко не все ладно. Сулла доверял Африкану и Оппию. Очень доверял. У

них было прекрасное чутье. Не только коммерческое. Но и военное. Политическое. За таких маркитантов хороший полководец дорого даст...

Они вошли в каюту тихие, огорченные. Долго молчали.

– Ну? – спросил Сулла.

Африкан развел руками. Он сказал:

– О великий Сулла, ты глядел как в воду. Финикийцы любят говорить: словно все видел с неба. Потому что нет ничего выше неба. С неба все видно.

Сулла развалился в кресле, ноги положил на низенькую, обитую ослиной кожей табуретку. Он понял все, но тем не менее хотелось обо всем услышать своими собственными ушами.

– О Сулла, я все расскажу по порядку.

– Слушаю. Торопись же, Африкан!

– Я...

Сулла прервал его. Кликнул Эпикеда. Приказал тому срочно вызвать наварха – начальника «Юпитера». Когда тот вбежал и стал как вкопанный, едва переводя дыхание, Сулла сказал ему:

– С якоря сниматься. Мы плывем в Тарент. Передать приказ на все корабли. Впрочем... – Сулла вдруг запнулся. – Может,ждемся Децима?

– Он уже здесь! – отрапортовал наварх.

Сулла обрадовался:

– Прекрасно! Значит, снимаемся с якоря немедленно. Сейчас же. И – на Тарент! В Брундизии высадится только часть войска под командованием легата Пуммия. Я уже распорядился об этом. Мы будем наступать из Брундизия и из Тарента. Так будет вернее!

Наварх выскочил как угорелый, чтобы выполнить приказ. И вскоре заиграли рожки, затрубили трубы и забелели сигнальные флажки...

– Теперь продолжай, – сказал Сулла Африкану. – Садитесь. Рассказывайте не спеша. Торопиться уже ни к чему, мы плывем дальше.

Африкан сказал:

– Дело, значит, такое: по меньшей мере пятнадцать полководцев готовы выступить против тебя. Половина из них намеревалась атаковать твое войско в Брундизии. Ибо все убеждены в том, что ты высадишься именно здесь. Но этого – слава богам! – не случилось.

Легкая усмешка заиграла на губах Суллы. Он смотрел на пальцы своих ног. Решил, что не мешало бы постричь ногти. И не чьими-нибудь руками, но руками искусного цирюльника.

Сейчас, на корабле, недосуг, но в Таренте непременно следует разыскать настоящего мастера. Весьма опытного. Запаршивел вовсе в этом походе...

– Дальше, – бросил он Африкану.

– Все военные силы, которые против тебя, возглавляют консулы Норбан и Сципион Азиаген. А этот, Марий, сын Мария, особенно яро лезет в драку. Он, конечно, за отца обижен донельзя. Подлый самнит Телезин тоже с ними заодно. Да мало ли их, готовых из подворотни тяпнуть тебя за ноги! Доводы их, значит, такие: ты загубил Фимбрия, не подчинился решению сената. Но за всеми ублюдками стоит Цинна. Самолично. Хотя он сейчас и проконсул, но ведет себя так, как будто в одном лице его целых два консула. А то и три.

– Ну, эта старая курва доиграется у меня! – угрожающе произнес Сулла. И добавил: – Я так и знал. А больше и некому браться за это грязное дело. Но ничего, ничего. Они у меня попрыгают!

Африкан продолжал свой доклад:

– Народ равнодушен ко всему, словно сытый кот. Ему, говорят, безразлично, кто им понукает. Кнут один, говорят. И безразлично, в чьих он руках, говорят.

– Так и говорят?

– Да, – подтвердил Оппий, молча слушавший рассказ своего друга и время от времени согласно кивавший головою.

– Кто говорит?

– Люди.

– Люди людям – рознь.

– Верно, о Сулла, верно.

Сулла побарабанил пальцами и рассеянно произнес:

– Значит – пятнадцать полководцев?.. Значит – раздавить Суллу?.. Значит – бить прямо тут же, в Брундизии?..

Он словно бы говорил с самим собою. Как будто в каюте находился один. Так бы вел он себя и с мухами, которые на потолке или на стенах.

За бортом уже плескалась вода, возмущенная пятью рядами весел, которые поднимались и опускались в воду, как одно. Судно слегка кренилось на левый борт...

– Почему берег был пуст? – спросил Сулла. – Повымерли жители, что ли?

Африкан пояснил:

– Никому не велели показываться.

– Это почему же? И кто не велел?

– Городской сенат.

– Он тоже из марианцев? – Сулла тряхнул головою, будто хотел отбросить ее, как тряпичный мяч.

– Еще бы!

– А кто заправляет в Брундизии?

– Некий Клодий Секунд.

– Из всадников?

– Этого мы не знаем, – сказал Африкан.

Оппий согласно кивнул.

Сулла спросил:

– Что еще любопытного?

– Все! – сказал Африкан.

– Все, – повторил Оппий.

Сулла дал понять, что беседа окончена. И как только удалились эти маркитанты, он вызвал к себе Децима. Центурион похудел в походе. Был ранен в ногу. И все-таки выглядел молодцевато. Успел переодеться в свою военную одежду. Крестьянские лохмотья сброшены в море.

– Ну? Что скажешь, Децим? Мы плывем в Тарент.

Децим был мрачен:

– Очень хорошо, что в Тарент.

– Тебя обидели в Брундизии?

– Немножко.

– Чем же, Децим?

– Заподозрили во мне беглого раба. Уж и стегали меня: кто поводьями, кто кнутом... Какие-то всадники... Я уж взмолился... Чудом уцелел. Пожалели, наверное...

Сулла налил вина, предложил Дециму. Но тот отказался, сославшись на запрещение врачевателя.

– И надолго запрещено тебе, Децим?

– Дня на два, на три.

Сулла улыбнулся:

– Подхватил все-таки...

– Да.

– Где же?

– В Диррахиуме. Она была, о Сулла, точно Юнона в молодые годы.

– Хороша Юнона! – смеялся Сулла.

– О, смерть моя!

– То-то же! Децим, человек всегда платит за удовольствие.

– Это так создали боги?

– А кто же? – Сулла понемногу приходил в хорошее настроение. – Будь это в моей власти – я бы отменил все болезни, которые проистекают от любовных утех.

– Какое это было бы счастье, о Сулла! – воскликнул солдат.

– Садись! – приказал Сулла. – Пей! Она будет корчиться от вина. Эта самая твоя болезнь. Ты на нее – вина, побольше вина! Ничего страшного! – И с хитрой улыбкой: – Ну, сколько ей лет, Юноне?

– Не сказывала.

– На твой взгляд, Децим?

– На мой? – Децим сморщился. – Может, двадцать. А скорее всего, восемнадцать.

Сулла потирал руки от удовольствия.

– Так, так, так!

– Целовалась, как зверь.

– Так, так, так!

Децим знал эту страсть полководца – выпрашивать все подробности любовных походов. И сообщил некую подробность.

– Здорово! – воскликнул Сулла. – Но довольно, Децим! Здесь, на корабле, нету женщин. И я сойду с ума, ежели ты продолжишь свой рассказ...

И прильнул к вину.

В Риме следили за действиями Суллы весьма пристально. Ничто не ускользало ни от консулов, ни от сената. Цинна, вождь популяров, избранный консулом во второй раз, полагал, что успехи Суллы – это еще не успехи Рима. Это его, Суллы, личные успехи. И в этом заключается большая беда. Цинна совершенно в этом убежден. (Марий-старший, после возвращения из африканского изгнания избиравшийся консулом в седьмой раз, к этому времени уже умер.)

Мирные переговоры и условия мирного договора, заключенного с Митридатом, с точки зрения сенаторов, были, скорее, предательскими. Если уж затеяна с Митридатом война, если уж войска римские стояли, можно сказать, в двух шагах от Пергама, если уж Митридат взмолился – надо было добить его и разрушить его империю. Нечего церемониться! Митридатово племя все равно – рано или поздно – подымет голову.

Когда Цинна уступил место другим, вновь избранным консулам и перешел в ранг проконсулов, он тем не менее серьезно влиял на политику Рима. Консулы Норбан и Сципион (возвращение Суллы пришлось на год их консульства) вполне были согласны со взглядами Цинны. Врагом номер один они объявили Суллу, а себя – верными защитниками народа и непримиримыми противниками оптиматов и всех нобилей. Сторонники Суллы подвергались, разумеется, преследованиям. Они забрасывали Суллу жалобами на свою несчастную судьбу, поносили Норбана, Мария-младшего и других.

Суллу несколько раз извещали о том, что поместье в Кампанье сожжено дотла, что семья его в смертельной опасности.

Сулла приходил в ярость. И хотя вести эти оказывались преувеличенными, ярость его не проходила. Его постоянно подогревали ближайшие соратники в самом войске.

Норбан пригласил к себе Мария-младшего и Сципиона. Консулы желали согласовать действия всех полководцев, выступающих против Суллы. Норбану было лет пятьдесят. Примерно столько же, сколько и Сципиону. Марий моложе их лет на десять. Марий – коренастый, чернявый мужчина – кипел от злости к Сулле. Он рвался в бой. Ему все равно, где биться: в Брундизии, Таренте или Неаполе. Готов встретить Суллу там, где появится этот негодяй, предавший его отца и Римскую республику.

Сципион, чье полное имя было Луций Корнелий Сципион Азиаген, – высок, бледен лицом, благообразен. Весь он холеный какой-то, нежный, скорее философ, нежели полководец. Он привык к неге, изысканности, к римским баням. У него у самого в поместье такой бальнеум, что знатнейшие квириты завидуют ему. Сципион гордился своим бальнеумом больше, чем домом. В бальнеуме он проводил большую часть дня. Судите сами: это высокое одноэтажное строение. К нему ведут широкие ступени, выложенные изразцовыми плитами. Порог – мраморный, пол в прихожей и стены – тоже мраморные. Отшлифованные до блеска. Сверху – из фонаря, покрытого финикийским цветным стеклом, – падает причудливый свет. Все в прихожей радует глаз – светом, цветом и чистотою. Здесь снимают верхнюю уличную одежду и обувь. А дальше – комната еще более просторная. Она отделана дубом и красным деревом, инкрустированными северной березой. В этой комнате удобные скамьи и кресла, мягкие лежа, слегка приподнятые в головах. На деревянном сосновом полу – персидские ковры и испанские полотнища, сотканые из медвежьей шерсти. По углам – позолоченные светильники, прямоугольные столы для сосудов и столы для книг. Все здесь располагает к беседе, отдохновению от забот. Здесь небесная тишина и свет полнолуния. Здесь сидят в одних туниках, на босу ногу. Здесь пьют, читают, спорят. А далее – за плотной,

приземистой дверью, обитой медными планками, – комната, отделанная кавказским буксусом. Стены ее беловато-желтые, как предзакатный свет. Чистая, уютная, навевающая покой комната. А на стенах написаны красками любовные сцены, точнее, утех. Мастера из Вины, Неаполя и Остии расписали их. Есть сцены целомудренные, есть и бесстыжие. Они чередуются, как бы подчеркивая, что любовь земная – и то и другое. Поскольку бальнеум предназначен для мужчин – художники дали волю своему воображению, вернее, точно скопировали все, что бывает в жизни... Направо от этой комнаты – уборная с вечно журчащей водой, текущей по мраморному ложу. И здесь поражает опрятность. И наконец, огромное помещение с бассейном. Точнее, с бассейнами: для холодной, горячей и теплой воды. Причем каждый бассейн имеет пологое дно – от мелководья до такой глубины, что можно поплавать и даже понырять. А в конце, в самом конце – дверь, за дверью – парилка. В парилке белый пар. Здесь напаришься так, что кажется, кровь забьет фонтаном из любой поры. Мыло поставлялось сюда из лучших римских мыловарен: пенистое, душистое. В любое время суток бальнеум мог принять гостей. Сципион очень гордился своим бальнеумом. И наверное, бальнеум стоил того...

Норбан ни с какой стороны не похож на Сципиона: сутул, желчен, умен, непреклонен в своем решении. Невысок. Не раз налагал вето на распоряжения Сципиона, и тот не очень обижался на это. Норбан воистину первый консул этого года...

Норбан разложил на столе искусно нарисованную на пергаменте карту и показал ее Сципиону и Марию. Он сказал низким, слегка гудящим голосом:

– Вот тут, в Брундизии, Сулла не высадится. Помяните мое слово!

– А где же? – спросил Сципион.

– Может быть, здесь. – Норбан ткнул указательным пальцем в то самое место апеннинского «сапога», где «каблук» присоединен к «подошве». – Это – Тарент. Наверно, здесь. Но это не совсем точно: Сулла может изменить свое намерение в мгновение ока.

Марий-младший как две капли воды похож на отца: отвисшая нижняя губа, мясистый нос, высокий лоб. Только глаза маленькие, бегающие. Он смотрел на карту с откровенным презрением: вроде бы считал, что она ни к чему.

– Допустим, Тарент, – сказал он резким, неприятным голосом. – Что же дальше?

Консулы переглянулись, обменялись быстрыми, немymi вопросами. Норбан пояснил:

– Сулла пройдет мимо Брундизия...

– Почему?

– Да потому, что там наши легионы.

– Они же не торчат на виду у всех!

– Марий, ты не знаешь Суллу. Это – лиса. Он уже учуял кое-что...

– Еще бы! – огрызнулся Марий. – Нашкодил и, как шkodливый кот, желает избежать наказания. Но я бы пристально следил за Брундизием...

Норбан предложил выбрать место, где будет дано генеральное сражение Сулле.

– Позвольте! – воскликнул Сципион. – Почему мы говорим о сражении? Может, оно не потребуется...

– Ты так полагаешь, Сципион?

– Сулла не маленький. Он знает закон. Притом прекрасно.

– И что же? – спросил Марий.

– Он должен распустить свое войско. Тотчас по прибытии на Италийскую землю.

– Должен?! – злоратно процедил сквозь зубы Марий.

– Да.

– Эта лиса распустит свое войско?

– А почему бы и нет? – удивился Сципион. – Если каждый полководец, возвращающийся из похода, будет разгуливать по нашей земле со своим войском – что из этого получится?

– Ясно что! – выкрикнул Марий. – Эта лиса наплюет на закон и явится в Рим со всем своим войском. Вот что получится, если мы не преградим ему путь!

Сципион не соглашался с ним:

– Позвольте, что же это будет, если каждый...

Марий перебил его:

– Это не каждый. Это – Сулла! Понимать надо!

Норбан молча слушал их. Сципион понемногу сердился. И это было странно.

– Не понимаю, – говорил он, – вы хотите вызвать Суллу на бой или он сам угрожает?.. Может, написал он письмо? Может, передал он свою угрозу через кого-нибудь?..

– Разве мало тебе убийства Фимбрия?

– Не убийства, а самоубийства. Это разные вещи, Марий.

– Послушай, Сципион: а кто довел Фимбрия до самоубийства?

– Я полагаю, что его посылка в Малую Азию была ошибкой...

Марий разгневанно вскочил с места.

– Ты веришь этому Сулле?! – вскричал он. – Ты – сулланец? Я не пойму тебя! Ты популярен? Или, может быть, стал оптиматом?

Сципион покраснел:

– Прошу без оскорблений! Видят боги, я никому не служу, служу только Римской республике. Прежде чем решить что-либо, я хочу знать истинные намерения Суллы. Разве это не логично с моей стороны?

Марий схватился за голову: столь наивными казались ему рассуждения Сципиона. И это он высказал в довольно резкой форме. Однако Норбан остановил его:

– Марий, не горячись чрез меру: Сципион обязан знать то, о чем спрашивает.

Марий ворчит:

– Ну и пусть себе знает! Кто мешает ему?

Норбан пытается примирить своих друзей. Он вполне понимает Мария. Его страстное желание поскорее уничтожить Суллу не требует особых обоснований. Но ведь и Сципион прав, желая точнее разобраться в намерениях Суллы. Сулла не присылал никаких писем относительно своих будущих планов. И на словах ничего не передавал на этот счет...

– А его предложение выступить перед сенатом и дать ему отчет? – спросил Сципион.

– Это все пустое...

– Почему, Марий?

– Потому что он – лиса.

– Это еще не доказательство.

– Лиса и негодяй, – уточнил Марий. – Этот родовитый патриций презирает нас всех.

Сципион сказал тихо, почти умоляюще:

– Я хочу понять кое-что... Имею я на это право как консул? Или нет? Мне не вполне ясны взаимоотношения с этим Суллой. Я заявляю, что готов идти против него войною. Но...

– Объясни ему, – сказал Марий Норбану, едва сдерживая гнев.

Норбан сказал Сципиону:

– Мне кажется, все ясно: Сулла не распустит свое войско. Если в настоящее время модус вивенди определяется нашим законом, традицией и ясно выраженной волей сената, предлагающего распустить войско Суллы, а полководцу явиться на Капитолий с докладом, то молчание Суллы, его увертки создают новую ситуацию...

К чему могла привести подобная беседа? Ни к чему. Но это не устраивало Норбана. На его взгляд, требовался монолит в стане, где он состоял не последним солдатом. О трещине в отношениях между друзьями, стоящими против Суллы, не могло быть и речи. Монолит надо сохранить любыми средствами. И он предложил некий компромисс, который явствовал из следующих слов:

– Давайте предположим худшее: Сулла не подчинится закону, не распустит войска, а пойдет на Рим, как он это уже сделал пять лет назад. Подчеркиваю, – он обратил взор на Сципиона, – это и мое предположение и предложение одновременно: если Сулла вознамерится идти на нас, то мы должны преградить ему дорогу. Высадится он, может быть, даже в Остии. Да, да, на это у него хватит нахальства. Давайте сосредоточим наше войско где-нибудь близ Вольтурна или Синуэссы. Или близ Капуи... На всякий случай. Так будет надежнее.

Норбан вопросительно посмотрел на Сципиона, потом на Мария.

– Согласен! – сказал Марий.

– Ну что ж... – сказал после некоторого размышления Сципион.

Норбан поблагодарил их за общее согласие и обещал провести этот план в жизнь.

4

Башмачник Корд и зеленщик Марцелл обсуждали последние события, как заядлые политики. По слухам, вот-вот высадится Сулла в Брундизии, а вместе с ним, наверное, и Крисп. Разумеется, если Крисп жив. Но он твердо обещал явиться со щитом и задать жару марианцам. Когда казалось, что разговор исчерпан, ибо говорить уже больше не о чем, все сказано-пересказано, – на улице появился слуга квирита Сергия Патеркула, живущего через два дома отсюда. Раб по имени Ферекид – наполовину иллириец, наполовину грек – тащил какую-то несуразную ношу: она была очень велика и, по-видимому, набита ватой или шерстью.

– Эй, Ферекид! – крикнул зеленщик, усиленно жестикулируя руками.

Раб остановился и мигом скинул наземь свою ношу: он с удовольствием поболтает с этими двумя хорошими знакомыми. Вытер грязной тряпкой лоб, стряхнул пыль с позеленевшей от ветхости туники.

– Здорово, соседи! – весело крикнул раб. – Слыхали?

Слово «слыхали?» он произнес таким тоном, что темпераментный зеленщик побежал ему навстречу.

– Что? Что, Ферекид? Новости?

– Еще бы! – смеясь, продолжал раб. – Да какие еще! Разве ничего вам не сказывали?

– Кто?

– Ты нам посылал своего слугу? – пошутил жирный Корд.

– Я? – раб оскалил белые зубы. Поднял вверх правую руку. – Я? Пока нет. Но скоро пришло.

Башмачник и зеленщик приступили к нему с вопросами: как понимать слова Ферекида? Что он этим хочет сказать?

– Не торопитесь, квириды! Не торопитесь, господа сенаторы! Ферекид от вас ничегошеньки не скроет. Все выложит начистоту. Я же не сенатор – я честный раб! И не привык кривить душой и лгать напропалую! Я не популярь и не оптимат, черт бы их всех побрал!

– Ладно, – сказал башмачник дружелюбно, – не болтай лишнего. Нам домой пора. Что у тебя за новости?

Раб, словно от отчаяния, схватился за голову:

– Или вы действительно ничего не знаете?..

– Не знаем, Ферекид!

– ...Или притворяетесь?..

– Нет, Ферекид, нет!

– Богами клянемся! – сказал Корд.

– В таком случае вы оба – мулы.

– От мула слышим, – буркнул зеленщик.

Раб не обиделся:

– Да, я мул. Осел вдобавок! А вы? Вы тоже обыкновенные мулы. Неспособные даже рожать себе подобных.

Этого Ферекида не переговоришь: башмачник и зеленщик молча сносили его насмешки, в надежде, что раб устанет в конце концов и сообщит свою новость. Так оно и получилось.

– Вот что, мулы римские, – сказал Ферекид, – на нас идет Сулла...

– Что?!

– Что?!

Это зеленщик и башмачник воскликнули одновременно, словно их, сговорившись, ужалили осы. Или шмели. А может, и змеи. Так велико их удивление!

– То, что слышали, – продолжал раб. – Сулла, значит, прет на Рим. Не сегодня-завтра он заявится к нам и кишки повыпускает всем хорошим... – он подчеркнул особой интонацией слово «хорошим», – ...всем хорошим друзьям. Прямо наружу...

Раб от избытка радости подпрыгнул на месте несколько раз и показал, как это Сулла будет выпускать кишки с в о и м х о р о ш и м д р у з ь я м.

Зеленщик и башмачник неодобрительно смотрели на то, как подло ведет себя этот раб. Как он радуется страданиям римлян. Как не сочувствует людям... Башмачник так прямо и брякнул: не сочувствует людям...

– Я? – заорал раб. – Я должен сочувствовать? Это через почему? Разве я не дерьмо? Разве я не скотина? Как же! Я могу сочувствовать? Разве скотина сочувствует вам? Скажи ты! Скажи и ты!

Он тыкал в грудь грязным пальцем то Корда, то Марцелла. Лицо его сияло от радости. Раб очень радовался близкой крови. Жаждал ее. И не скрывал этого.

Вдруг Ферекид понизил голос:

– Скоро и мы кое-что сотворим. Да, да, мы! Я больше не стану тягать эти тюки. Пускай их мой господин потягает... А я пойду с мечом по улицам и поработаю. Вот увидите!

Марцелл остановил его:

– Тише ты!.. Мелешь чепуху, Ферекид! Лучше скажи нам, откуда эта новость?

– А кто же нам станет шептать на ухо новости? Разве мы люди?

Ферекид был необычайно возбужден. И очень радовался появлению Суллы. Можно подумать, что Сулла лично обещал ему земельный надел или шикарное поместье, скажем, в Этрурии или Кампанье.

– Послушай, любезный Ферекид, – сказал Корд, – разве Сулла уже в городе?

– Я этого не говорил, – сказал раб. – Говорят, что он непременно прибудет. На брюхе, но приползет. Вскарабкается на Капитолий. Вползет в сенат. И тогда все запляшут под его дудку. За это я ручаюсь!

^ – Ты слишком много знаешь, – заметил зеленщик.

– Верно, – нагло вато согласился раб.

– Как бы тебя не оскопили эти марианцы...

– Меня? – Раб присвистнул. – Им сейчас не до меня.

Корд сказал:

– Глядя на тебя, можно вообразить, что все богатство Митридата везут в твою каморку, что все оптиматы пекутся только о твоём счастье.

Раб махнул рукой:

– Плевал я на богатство! И на оптиматов тоже. В моем положении нужна только кровь. Много крови. Пусть грызутся. Пусть повыпускают кишки друг у друга. Мне это словно мед на сердце. Ясно? Только бы донести эту вонючую ношу. И тогда...

– Что тогда?

Зеленщик и Корд пытались выведать у дошлого раба как можно больше новостей.

– Тогда, – сказал Ферекид, ударив кулаком по кулаку, точно объясняя, как бьют бабой по свае, – выйду на улицу с каким-нибудь дрючком и начну колошматить врагов.

– Каких? – допытывался Корд. – Не нас ли с Марцеллом?

– Каких? – Ферекид почесал за ухом, прищелкнул языком. – Вас – нет. А врагов найду! Клянусь богами, найду!

И ремесленник и торговец очень любопытствовали, кого же и за что все-таки будет лупить этот раб. Своих обидчиков? Своих господ? Или всех навалом – встречных-поперечных?

Раб разоткровенничался. Выражался безо всякого стеснения: вещи называл своими именами.

– Хотите, я вам откроюсь? – спросил он с сияющим лицом.

– Хотим! – в один голос сказали Корд и Марцелл.

– Идет! – воскликнул раб. – Слушайте же! Вы спросите: почему я никого не боюсь? Скажу: потому что я пуганый. С малых лет. И теперь мне ничего не страшно.

– А если мы донесем на тебя, Ферекид?

– Ты, Марцелл?

– Да, я. Или Корд.

– Ты, Корд?

– Может быть, Ферекид.

Раб потряс кулаками: в это он не верил. Потому что недостижимо! Невероятно. Чепуха! И потом...

– Не успеете, – сказал, смеясь, Ферекид. – Сулла уже у ворот. Он стучится. Его стрелы свистят над головами врагов его.

– Это неправда!

– Значит, вот-вот будет у ворот. И даже больше: и на этой улочке тоже будет. Но вас никто не тронет. Мы...

– Как? – Зеленщик положил костлявую руку на плечо Ферекида. – Разве ты не один?

– Нет.

– А кто же еще?

– Такие же, как я.

– И все заодно?

– Еще бы! – бросил Ферекид и, мгновенно взвалив тюк себе на спину, побежал вдоль улицы. Посредине.

Долго глядели ему вослед зеленщик и башмачник. Покачивая головами. Не веря своим ушам. И глазам.

– Слышал, Марцелл?

– Слышал!

– Что же ты скажешь?

Зеленщик был в полнейшей растерянности. Обычно нагловатый, он сейчас стоял у лавки башмачника словно в воду опущенный. И проговорил медленно, едва слышно:

– Он и нам проткнет животы.

– За что же? – сказал Корд, который тоже полагал, что Ферекид и ему проткнет живот.

– Он зол на весь мир, Корд.

– И не мудрено.

– Как? Раб смеет озлобляться? – возмутился зеленщик.

– Они тоже люди.

– Эти?.. Рабы?..

– Есть ученые, – сказал Корд, – которые доказывают, что рабы – тоже люди. У них то же сердце. И та же голова...

Зеленщик скорбно покачал головой:

– Мы наверняка пропадем, Корд.

– Почему, Марцелл?

– Помяни мое слово. Клянусь здоровьем своей жены – мы пропадем. Сгинем, как камешек в море. Или в этом грязном Тибре, в котором дерьма больше, чем воды... Ты заметил сумасшедший блеск в его глазах?

– Не сегодня-завтра он совсем спятит с ума. От радости или от злобы, – согласился Корд.

Марцелл напомнил о недавних восстаниях рабов в Сицилии и Этрурии...

– А в прошлом месяце, как говорят, сожгли три виллы в Этрурии. Хозяев тоже сожгли. Заживо. Вот, брат, делишки какие!

Корд заговорил о рабах-разбойниках, которые появились не сегодня и не вчера. Люди режут друг друга с незапамятных времен. Об этом рассказывала даже бабушка. Ей было

сто лет, когда она умерла. В дни ее молодости, говаривала бабушка, находились рабы, которые сжигали на кострах своих господ. Вот что делалось в незапамятные времена! Отец рассказывал, что бедные крестьяне близ Пренесте – это же совсем рядом! – сговорились погубить всех знатных людей города. С этой целью они прикинулись, будто везут на рынок оливковое масло. А на самом деле в мехах у каждого – по острому ножу. Говорят, разбойникам удалось вырезать целые семьи. Потом их поймали и сбросили со скалы... Корд не будет удивлен, ежели этот Ферекид и его товарищи добудут кривые мавританские ножи и пойдут разбойничать по Риму. Кстати, они могут притвориться сторонниками Суллы. И от имени Суллы выпускать кишки неповинным людям.

Поговорив еще о разбойниках, друзья пришли к выводу, что кому-то надо действовать. Но кому?

Марцелл сказал:

– Сенату.

Корд сказал:

– Всем магистратам.

Наконец они сошлись на том, что ни тем, ни другим особенно доверять не следует.

– Этот раб, – сказал Корд, – кое-что знает. Недаром же так сходит он с ума. Даже с нами не считается. Мы для него вроде бы уже не люди. Поэтому если спросишь меня, то дам тебе совет: давай сидеть дома. Давай не высовываться в эти дни, пока Рим не угомонится.

– А лавки закрывать? – спросил Марцелл.

– Как думаешь? Или ты хочешь оставить весь свой товар на разграбление? Берегись, как бы и замки не сломали! Непременно закрыть лавки! И не казать носа на улицу. Запри своих дома, заготовь еды на неделю. И сиди себе!

– Скажут, что трусил...

– Кто скажет, Марцелл?

– Да все. Соседи.

– Дались они тебе! Да может быть, половины их не будет через неделю! Тогда мы посмотрим, кто трус, а кто молодец.

– Пожалуй, ты прав.

Корд помолчал. Поглядел по сторонам: они стояли одни на сумеречной улице. Он сказал:

– Вот о чем я подумал, Марцелл. Может, ты и посмеешься над моим пророчеством. Это дело твое. Я думаю так: когда-нибудь не станет нас и Рим будет принадлежать не римлянам, а рабам. Этим ферекидам.

– О боги! – воскликнул худущий зеленщик.

– Да, да, – беспощадно продолжал Корд, – в мире все меняется, но меняется к худшему. У меня тоже был отец. И это его слова. Сначала миром управляли боги. Потом полубоги, вроде Рема и Ромула. После них – богатыри благородные. Теперь – непонятные сенаторы и консулы. А скоро к власти придут рабы. Понял меня?

– О боги! – снова воскликнул Марцелл. – Неужели мы доживем до таких дней?

Корд улыбнулся:

– Мы – нет. Потому что нас прирежут эти самые рабы. Запросто. Как баранов.

По улице пробежал некий брадобрей. Знакомый Марцелла. На ходу бросил несколько слов. Этот тоже пророчил страшные вещи. Идет войско, говорит. Будет резня, говорит. Не сегодня-завтра, говорит. Берегите головы, говорит...

– Слышал? – удрученно сказал Корд. – Пока я тачаю башмаки, а ты продаешь спаржу – мир понемногу переворачивается. Вот так, брат!

– Давай присядем. – Марцелл прислонился спиной к грязной стене и медленно опустился на корточки. Рядом с ним присел Корд. Зеленщик взялся за голову. – Давай подумаем, – предложил он.

– Давай.

И так – недвижимые – просидели они несколько минут. Город шумел где-то за пределами этой улицы. Дневной свет угасал. В окнах замигали светильники – тусклые, как зимние звезды. Давила духота. И сумерки делали свое дело: от них становилось тихо и печально на душе.

– Всё, – сказал зеленщик.

– Что – всё?

– Надо запирать лавку.

– Я это уже решил.

– Нечего мешкать, Корд. Живо домой! Береги голову. Свою. Береги семью. Пусть будет, что будет. Не нам с тобою менять мир. Верно говорю?

– Ты прав, Марцелл. Мир изменится и без нас с тобою.

И они пошли, чтобы привести в исполнение свое решение. Двое римлян – надо думать, не единственные – бежали в свои каморки, чтобы укрыться от великого землетрясения.

5

Сулла привел свои корабли не куда-нибудь, а прямо в гавань Вольтурна – городка в устье реки того же названия. Было бы еще лучше, полагал он, высадиться в Остии. Отсюда до Рима – рукой подать. Однако соглядатаи донесли, что эти места кишат марианцами. Тогда было решено разбить лагерь где-нибудь у границ Лациума, неподалеку от моря.

Как только в Риме получили сведения о появлении Суллы на севере Кампаньи, Марий-младший и консул Норбан двинули свои когорты по Аппиевой дороге на юг. Общая численность войска определялась в двести когорт, то есть почти сто тысяч человек. Во всяком случае, ходили слухи, что именно столько собрали марианцы. Но это явное преувеличение. Более достоверна другая цифра: сто пятьдесят когорт. Состав каждой когорты – полный, то есть пятьсот человек. Из этого надо и исходить, исчисляя силы марианцев. А у Суллы – втрое меньше войска. Но оно весьма монолитное, горящее решимостью выиграть любое сражение. На воинский дух Сулла весьма и весьма рассчитывал. Не меньше ценил он и мантику Буфтомия. Велел всячески беречь этого прорицателя, разжиревшего на маркитантских харчах...

Воины день и ночь рыли рвы вокруг лагеря. Времени оставалось в обрез – марианцы двигались быстрым маршем, чтобы одним ударом опрокинуть сулланцев в море. Приходилось торопиться и тем и другим.

В этих тревожных условиях Сулла беседовал с Буфтомием. Прорицатель помолодел и поздоровел, пока войска воевали в Греции, во Фракии и в Малой Азии. Буфтомий никогда не жил так хорошо. Подобрел. Морщины на лбу сгладились.

– Ну? – спросил его Сулла.

– Великий Сулла... – прорицатель поднял кверху обе руки, – благоденствие сияет вокруг твоего чела. И лучи его расходятся подобно золотым мечам. Таково то общее, то главное, что я хочу передать, поздравляя тебя!

– Гм... – Сулла слушал напряженно.

– Мне явилось чудное видение. Рассказал о нем друзьям. И оно уже стало достоянием многих. Я не удивлюсь, если ты услышишь о нем из других уст.

– Любопытно, Буфтомий.

– Два барана сшиблись лбами. Они бились долго, упрямо, изо всей мочи. Бараны-красавцы. Бараны – великаны среди баранов. Вот они расходятся в стороны и сшибаются лбами. И искры летят ото лбов. От бараньих лбов, похожих воистину на медные лбы. И гудят те медные лбы, точно звук тубы, издаваемый искусным музыкантом. И тот звук заполняет всю вселенную. От земли до неба. От Севера до Юга и от Востока до Запада. Все земли, все страны, все моря и океаны заполняет собою тот звук тубы. Солнце взошло и осветило битву двух баранов. А бились они на лугу. На берегу некой реки, которая напоминала Вольтурн.

– Неужели? – подивился полководец. Напряжение его достигло апогея. Кулаки – на коленях. Колени широко расставлены. Ноги вросли в землю. Прочно. Будто навсегда.

– Да, – вдохновенно сообщал прорицатель, – река походила на Вольтурн. Как две капли воды. Но это не удивительно. Меня поразило другое: перед концом битвы, когда еще раз сшиблись лбы, с одного барана спала шкура. Красивое на вид руно оказалось подделанным. Черви выползли из него. А под шкурой оказался не кто иной, как Марий. Покойный Марий!.. Я заявляю тебе, о Сулла: торопись, иди в битву без страха, она сулит тебе победу!

Сулла не дышал. Мед, чистый мед проливался на его сердце замечательным бальзамом – животворным, благотворным. Он не спускал своих голубых глаз с Буфтомия. Следил за каждым его движением. В эту минуту он решил, что несказанно щедро вознаградит Буфтомия, ежели хотя бы наполовину сбудется его предсказание. Он подумал о достойной жертве, которую следует принести богам завтра. Завтра поутру. Не позднее!

Буфтомий посоветовал раздобыть полугодовалого телка. Белого. С черным пятном во лбу. Печень такого животного есть зеркало всего, что произойдет в ближайший месяц. А ведь именно этот месяц и решит дело. Напряжение, которое все больше усиливается, не может длиться более месяца. Это видно каждому, кто попытается разобраться в военном положении. Сулла метит в Рим. Марианцы пытаются этому воспрепятствовать. Войска идут к Вольтурну из Рима, Остии, Пренесте. Они спешат сюда же из Самнии, Брундизия и Капуи. Таким образом, желание противников Суллы взять его в железное кольцо очевидно.

На что надеяться Сулле?

Если учесть, что когорт у Суллы вдвое меньше, чем у противника.

Если учесть, что самнит Телезин с весьма боеспособными когортами – жестокими по натуре – тоже поддерживает марианцев.

Если учесть, что Сулла фактически лишен тыла и не способен выдержать долгую осаду в лагере.

Если учесть, что морской путь к Вольтурну, откуда возможно снабжение лагеря у Тифаты, может быть без особого труда перерезан действиями боевых судов из Остии и Неаполя.

Все эти «если» были изложены Фронтом и Руфом на военном совещании в порядке здорового обсуждения всех аспектов военных столкновений с противником. Как согласуются все эти «если» с великолепным пророчеством Буфтомия? Впрочем, и Постумий, давший официальную ауспицию, тоже предрекал полную, блистательную победу Суллы. Полководец, разумеется, ознакомил своих помощников с этими двумя предсказаниями – Буфтомия и Постумия. И просил найти те нити, которые невидимо соединяют все «если» с двумя прорицаниями, которые безусловны, которые вне всякого, вне всяческого сомнения! Если это так, – а это именно так! – то необходимо найти противовес всем «если», противовес, опрокидывающий все сомнения в победе над марианцами. А что такой противовес существует в действительности – это тоже вне всякого, вне всякого сомнения!

На военном совете Сулла так и поставил вопрос: что думают по поводу всего этого уважаемые военачальники? Красс, Метелл, Сервий, Фронтан, Руф высказались в том смысле, что, действительно, марианцы имеют большое преимущество в численности войска... Руф даже перечислил все когорты марианцев и все когорты Суллы и его полководцев.

– При чем этот счет? – гневно перебил его Сулла. – Здесь не мелочная лавка, и мы с вами не купцы.

– Я хотел... – начал было Руф.

– Ты ничего не хотел! – вскричал Сулла. – Ты просто глуп! Ты просто туп! Неужели ты хочешь научить меня арифметике, сравнивая количество войск марианцев и наших? Могу успокоить тебя: ежели афиняне не смогли обучить меня философии, тем более не удастся обучить меня арифметике. Я не школяр! Заруби это себе на носу! Да как следует!

Потом он обрушился с упреками на всех присутствующих. Сулла говорил, что ждал от них утешительных слов, воодушевляющих слов, а услышал только причитания матрон, обремененных дочерьми, которые на выданье, которые засиживаются дома. Считать Сулла умеет. По крайней мере, до ста и даже до двухсот. Однако, сравнивая два войска, надо иметь в виду бодрость одного и уныние другого. Настроение войска имеет решающее значение, а здесь тычут в нос всякие цифры! Далее: немалую роль играют увертки полководцев. Не обязательно проливать кровь, если можно победить врага хитростью...

– Ты со мной согласен? – спросил Сулла Руфа.

– О да, великий Сулла! – ответил тот, не раздумывая.

– А ты? – Вопрос обращен к Фронтану.

– Да.

– А ты, Красс, что скажешь?

– Я полагаю, Сулла, что ты близок к истине.

– А ты, Метелл?..

– Согласен.

– Сервилий?

– Согласен.

Все оказались едиными во мнении, и Сулле не о чем было вести спор. Он сказал, обращаясь к Фронтану:

– Что слышно от Помпея?

– Гней Помпей обещал быть с войском со дня на день, – ответил Фронтан.

– А где Лукулл?

– Марк Лукулл направлялся к Фиденции, однако круто повернул к нам. Идет на помощь, одним словом. Да будет всем известно, что Марк Лукулл уже одержал блистательную победу над врагом: он перебил семнадцать тысяч этих марианцев. Это кое-что да значит!

– Еще бы! – сказал Сулла. – Пусть каждый из нас сделает то же самое, и битва окончательно будет выиграна.

Он обратил внимание полководцев на то, что враги пытаются окружить их. Это же видно даже слепому. Что делать в этих ужасающих условиях? Нужна быстрота действий,

беззаветная храбрость! Бить врага всюду, где он появляется! Промедлить, струсить – значит увеличить численность врага в десять раз. И тогда уж никакие божества не помогут. А почему? Да потому, что боги тоже презирают дураков. Они пылают ненавистью к недотепам. Ясно это или не ясно?

Все хором ответили, что ясно. Сулла обвел их строгим взглядом, хотел что-то сказать еще, но промолчал.

Марк Лициний Красс, тридцатидвухлетний военный трибун, предложил ринуться на врага, который поближе. Если враг в Суэссе – идти на Суэссу, если он в Пренесте – идти на Пренесте. Короче: не ждать, когда недруги займут самые лучшие позиции и станут вокруг неодолимыми лагерями.

Красивый, молодой римлянин, загоровший под небом Африки, рвался в бой. Он сказал так: сейчас или никогда! Когда же еще боги пошлют такой случай? Рим под боком... Это надо учитывать... Конечная цель – под боком...

Сулла прервал его:

– Но ведь Рим надо еще и взять!

– Непременно! – Красс говорил четко, жестко, с уверенностью, однако не переходящей в самоуверенность. Он продолжал: – О Сулла! Несмотря на кажущуюся шаткость нашего положения, есть у нас одно преимущество...

– Какое, Красс?

Плебейское происхождение наложило на Красса определенный отпечаток: обладая достаточной прямоотой, он, однако, избегал прямолинейности; занимая высокий пост в войске, сохранил человеческое отношение к солдату; почувствовав в себе силу, разумно применял ее для достижения цели; будучи от природы умным, не дошел до крайней хитрости и коварства, присущих многим патрициям...

– Есть у нас несравненное преимущество, – сказал Красс. – Оно заключается в том, что терять нам нечего. Мы жаждем приобретений. В то время как наши враги дрожат при мысли о том, что лишатся Капитолия. Этот страх до добра их не доведет. Я в этом совершенно уверен.

– Пожалуй, так, – сказал Сулла. И по некотором размышлении предложил вернуться всем в свои лагеря и ждать сигнала для наступления. Но буде враг нападет – не давать ему пощады. Общее направление движения – Рим. Ни в коем случае не поддаваться соблазну преследовать врага в другом направлении. Это опасно. Это чревато ловушками. С врагами ни в какие сношения не вступать, не поддаваться сладким обещаниям, держать меч наголо. Только вражья смерть может полностью удовлетворить нас...

А позже, вечером, при свете походных светильников, Сулла диктовал письмо консулу Сципиону Азиагену. Подписал его и выслал с нарочным. Воин спросил:

– Где искать его, великий господин?

– Садись на коня, поезжай по Аппиевой дороге. Сворачивай на Суэссу и ищи его лагерь. Но смотри: письмо – ему в руки, только ему! Возьмешь с собой самых надежных

товарищей. Ответ – какой бы он ни был – только в письменном виде. Ты это должен требовать или просить. Понял ли меня?

– О да, великий господин!

А в письме доподлинно сказано следующее:

«Великому и славному консулу, полководцу великого войска Луцию Корнелию Сципиону Азиагену – Луций Корнелий Сулла, молящий богов о ниспослании всяческих удач тебе! Со всех сторон мне слышится, что мы с тобою должны сразиться. Но спрашивается, почему? Неужели мы с тобой – люди одного рода, преданные великому делу республики, – должны поднять мечи друг на друга? Говорят, что и консул Гай Юлий Норбан собирается идти против меня. А почему, спрашивается? Или мало нам простора на земле Итальянской? Или я претендую на его место? Или я не уважаю сенат и республику? Все это разрывает мне сердце. Молю тебя, о Сципион, будь посредником в этом деле. Помни, что в нас с тобой течет кровь одного и того же римского рода: Корнелиев. Я подаю тебе руку и твоим товарищам. Прошу тебя, – о Сципион! – о встрече там, где ты укажешь, дабы я мог, глядя тебе в глаза, изложить мою мысль о перемирии, а затем – и о прочном мире, который принесет благоденствие Римской республике. С у л л а».

Это послание, доставленное в лагерь к Сципиону и переданное лично в руки, удивило его и обрадовало.

– Я же говорил! – вскричал он с радостным блеском в глазах. – Воистину глупо биться, не поговорив по душам, не изучив всех возможностей к миру. – И, обращаясь к своему легату, сказал: – Прошу тебя, о Марк, сообщи немедленно консулу Норбану и Марию, что у меня для них есть важная новость. Сообщи также, что Сулла просит мира и послание его полно доброжелательства, граничащего с покорностью.

– С покорностью? – спросил легат. – С покорностью? О Сципион, ты читаешь туманные письма, и сердце твое открывается пустословию.

– Как? – обиделся Сципион. – Ты полагаешь, что я не отличаю лжи от правды? – Он потряс пергаментом. – Тут сказано все. Здесь все написано черным по желтому!

– Увы, – упрямо стоял на своем легат, – ты, о Сципион, слишком веришь пергаменту!

– А чему же я должен верить?

– Человеку.

– Но ведь на пергаменте пишет человек?!

– На этом, о Сципион?

– Да, на этом.

Легат покачал головою:

– На этом пишет Сулла.

– Разве Сулла не человек? – спросил удивленно Сципион.

– Нет, – твердо выговорил легат.

Сципион вскочил с места, широко развел руками и сказал:

– Вы все посходили с ума! – Он осмотрел с головы до ног своего легата, точно размышляя, кто же перед ним, каковы его истинные мысли и намерения. – Разве к нам подступает Ганнибал?

Легат молчал. Ему было сорок, и он давно уже понял, как полезно иногда помолчать, держать язык за зубами и не забегать вперед.

– Что же ты молчишь, Марк? Я же тебя спрашиваю: разве в Кампанье высадили Ганнибал?

– Нет, – сказал легат, полный мрачной решимости вовсе промолчать или выложить всю правду.

Сципион продолжал:

– Может, наступают персы, подобно тому как в давно прошедшие времена наступали они на Афины? Ответствуй мне: Ганнибал ли появился, или Ксеркс, или еще кто-нибудь? Какой-нибудь галл, скажем? Я спрашиваю: что же случилось?!

– Я скажу... – Марк набрал побольше воздуха в легкие, но опять промолчал.

Сципион торопил его и наконец вынудил к ответу.

– О Сципион, этот Сулла хуже Ганнибала и Ксеркса, вместе взятых!

– Как?! – Сципион не верил своим ушам.

– Да, да! Не удивляйся!

– Может, ты все-таки пояснишь мне, Марк?

– Ганнибал и Ксеркс были людьми. А этот, Сулла, – нет!

Сципион развел руками. Слова нейдут у него из уст. Просто поразительно, думает он, до чего же доводит людей злоба?!..

– Я не верю ему ни на столько, – говорит легат.

– Вы все посходили с ума.

– Я не верю ему...

– То же самое говорит Норбан. Марий готов съесть этого Суллу живьем. А сенат за то, чтобы казнить его самой жестокой казнью. Кажется, один я все еще сохраняю здравый рассудок. Но и я скоро сойду с ума.

– Ты не сойдешь, – успокоил его легат.

– Почему?

– Потому, что хорошая баня излечит тебя от любого недуга.

– Это правда, Марк!

– А если в бане окажется... Ну, вдруг окажется этакая пташечка?..

Лицо у Сципиона просияло.

– Которая прочтет наизусть несколько страниц Фукидида...

– Такая умная пташечка?

– Да плюс к Фукидиду и Эсхила? Или Аристотеля?

Сципион с притворной миной, изображающей глубокое страдание, схватился за голову:

– Не томи, Марк! Что это за пташечка?

– О двух ножках, Сципион. О двух грудях. О двух губах. С одним чудо-животом.

– И это все в бальнеуме? – невероятно нежно спросил Сципион.

Распалив его воображение, Марк хитро подмигнул:

– Разумеется. И ты – представляешь себе? – входишь... Один. Нагишом. И она нагая.

– Довольно, разбойник! – взмолился Сципион. – Я дольше не вынесу. Я – сдаюсь!

Марк ухмыльнулся:

– Вот такой бальнеум тебя излечит от любой болезни.

Сципион грохнулся на скамью. Отдышался. Сказал:

– Это правда, Марк... Я, наверное, излечусь, следуя твоему рецепту. Я бы желал, чтобы и вы излечились. Этим или каким-либо другим способом. Что скажешь, Марк?

– Все то же: не верь Сулле!

– Упрямец! – Сципион погрозил легату кулаком. – Но я люблю тебя за откровенность. Условимся так: сообщи Норбану, что Сулла просит перемирия и переговоров. И не теряй времени – поторопись! А я и впрямь последую твоему совету – пойду в бальнеум... Где, к сожалению, нет пташечки...

– Твой приказ, о Сципион, будет исполнен в точности. – И легат повернулся на каблуках и вышел из палатки.

Сципион остался один. Походил взад и вперед, заложив руки за спину. Насвистывая модную песенку.

«Сколько в них злобы, – думал он. – И силы. Ибо злоба без силы не столь опасна. Силы у них хватит на то, чтобы сжечь в пламени злобы весь мир. Верно, хорош гусь этот Сулла, однако же не Ганнибал! Это понимать надо! Боги лишили их разума... В этих условиях ухо надо держать остро...»

Он позвал ординарца, стоявшего у входа.

– Вот что, – сказал Сципион, – поезжай в Вольтурн. Передашь Сулле, что жду его завтра после полудня на берегу моря. На полпути между Суэссой и Вольтурном. Возле харчевни...

6

Сулла поразился: на расстоянии одной мили от себя обнаружил лагерь Сципиона. Не веря своим глазам и принимая все это за чистейший мираж пустыни, спросил Фронтана, что тот видит перед собой.

– Лагерь, – сказал он.

– А еще?

– Полководца на коне.

– Кто это?

– Не разгляжу.

– Не трудись, не напрягай зрения: это – Сципион.

Фронтан от удивления чуть было не упал с коня: вот это прыть, вот это военное искусство – за ночь скрытно переместить свой лагерь на двенадцать миль и обосноваться под боком у Суллы! Скорее похоже на волшебство...

– Он мог бы запросто прихлопнуть нас... – мрачно изрек Сулла. – Как мышей в мышеловке...

– Вполне.

– Кто бы оказался виноватым, Фронтан?

– Все мы. И я – в первую очередь.

Сулла пришпорил коня и помчался по краю песчаного берега. За ним понеслись Фронтан с двумястами всадников. С серебряным знаменем. В прекрасном вооружении (преторианская гвардия Суллы – предмет его особой гордости и особых забот.)

Все ближе, все ближе тот непонятный полководец из миража. Который тоже на коне. За которым тоже гвардия.

Да, это Сципион. Он самый. Самолично.

– Ты поразил меня! – кричит издали Сулла. Речь его дружелюбна. Лицо сияет. Одевание его простое, солдатское. Нарочито солдатское. Так одевается только Сулла.

Сципион улыбается:

– Ты звал меня, и я решил прийти, полагая, что тебе веселее будет рядом со мной.

Сулла обрадовался. Совсем будто по-настоящему.

– Ты прав, – сказал он. – Я и впрямь хочу почаще видеть тебя. Нам о многом надо поговорить. Есть на чем отвести душу двум римлянам в эти дни.

Они спешили. Обнялись. Сулла пошел обниматься первый. И Сципиону неудобно было уклониться. Это расценили бы как откровенно недружелюбный акт по отношению к Сулле. А ему этого не хотелось бы...

– По нашему азиатскому обычаю, – пошутил Сулла, похлопывая Сципиона по спине. И тут же позавидовал молодости и крепости Сципиона: – Ты – крепыш, ты – красавец. Любимец женщин и желанный собеседник ученых мужей. Я рад, что ты здоров. И не просто здоров: ты пышешь здоровьем! Завидую тебе, о Сципион!

Им принесли складные походные скамьи. Каждый представил своих соратников. Сулла сказал:

– Очаровательная погода. Тихое море. Синее небо. Покой и вдохновение вокруг. Воистину пейзаж для поэтов. Воистину это мир для любви и дружбы.

Сципион полюбовался морским берегом. Мелким песком. Сероватым, розоватым и желтоватым в одно и то же время. Песок лежал между синим морем и зеленой травой. Пролег дорожкой в пятьдесят шагов. У самой дорожки бок о бок стояли Сципион и Сулла.

– Я удручен, – жаловался Сулла, – мне очень тяжело. Душа страдает. Не сплю ночей. Сон бежит от меня. И это все со дня гибели несчастного Фимбрия. Я подумал тогда: «Неужели мои братья идут против меня?» И еще подумал: «Может быть, это я иду против моих братьев?» Я тщательно исследовал свои мысли и свои действия. Я попытался уличить себя в малейшей бестактности по отношению к сенату. Разве я не проложил путь Цинне в консулы? Разве нарушил я законы республики? Разве не боролся я против тирании Мария? О Сципион, нет ничего хуже, когда один человек домогается всей полноты власти! Это противно человеческому естеству. – Голос Суллы звучал драматически, как в трагедиях Эсхила. – Я выступил против Митридата в полной уверенности, что за мною великий Рим. Я надеялся. Я должен был надеяться. А как же иначе я мог воевать в Греции и Малой Азии и побеждать? На берегах Геллеспонта я чувствовал дыхание сената. Потому что действовал в интересах Рима. Я ничего не приобрел для себя. Терял только здоровье. У меня прибавилось седины. А ведь мог бы сидеть у себя на вилле и читать афинских философов. Эти чудаки порой наводят на прекрасные мысли. Они способны доставить удовольствие, если не очень морочишь ими себе голову. Да, да! Я мог бы нянчить своих детей, а не бороздить моря и купаться в пыли военных дорог. И как мог предположить я... – Сулла достал платок и вытер им губы, глаза. Голос его дрогнул, и Сципиону показалось, что Сулла вот-вот зарыдает. – И как я мог подумать, что, прибыв к себе на родину, увижу прямо перед собою пятнадцать римских полководцев, готовых вступить со мной в рукопашную?! Я и сейчас не верю своим глазам. Я не верю своим

ушам. О Сципион, развея мои сомнения! Скажи, что это – дурной сон, что все на самом деле обстоит иначе. Совсем иначе!

Сципион поначалу слушал своего собеседника с подозрением. Не доверяя его искренности. Но понемногу стал находить в его словах здравый смысл, которым нельзя пренебречь просто так, за здорово живешь. Если закрыть глаза на случай с Фимбрием, если позабыть об отказе Суллы распустить свое войско на Италийской земле – все прочее можно, при некоторой натяжке, обратить в домыслы. Как известно, одни домыслы в политике не годятся. Здесь играют главную роль жесткие, голые факты. С этой точки зрения криминал Суллы не очень-то велик. Тем более если отбросить разговоры, чернящие Суллу и наводящие тень на его помыслы. Его тоже можно понять: ты высаживаешься на берег, а тебя поджидают вооруженные до зубов когорты. Каждый здравомыслящий полководец обидится. А Сулла очень податлив всяческим обидам... Но тем не менее – Сципион в этом убежден – Сулла мог повести себя так, чтобы не возбуждать против себя всеобщих подозрений. К чему, например, эта высадка в Кампанье? С какими целями? Зачем идти в Вольтурн и открыто угрожать вторжением в Рим? Ну, зачем?..

У Суллы на этот счет имеется готовый ответ. Он излагает его:

– Каждый человек, о Сципион, ошибается. Я обещал своим солдатам полную безопасность. Я не мог гарантировать ее ни в Брундизии, ни в Таренте. Там стояли враждебно настроенные к нам войска. Возможно, я ошибся, избрав Вольтурн. Если это смущает сенат – дайте мне возможность, и я уйду отсюда. Сгину куда-нибудь, не стану мозолить вам глаза.

Сулла снова пустил в ход платок из вавилонского шелка. Вдруг Сципиону стало жаль его. Однако жалость жалостью, а дело делом. Он не имеет права, будучи консулом, поддаваться минутному чувству. Не имеет!

– Сулла, – говорит он, – у тебя есть еще время, есть возможность исправить свою роковую ошибку.

– Да? – не отнимая от лица платка, спрашивает Сулла. И в голосе его звучит надежда.

– Разумеется, дорогой Сулла. Как ты верно заметил, мы с тобой одного рода. Поверь мне, я не испытываю радости оттого, что должен предпринимать какие-то меры безопасности.

– Против кого, Сципион?.. От кого защищаетесь?.. – Голос Суллы задрожал. – От меня? Скажи: от меня?

– Увы, Сулла! Получается так. И в этом для меня самое большое огорчение.

– Что я должен сделать?

– Сулла, объяви о роспуске войска. Явись в сенат с покаянием...

– А потом?

– Что – потом?!

– Меня, Сципион, живым съедят этот Марий и его единомышленники. Да, да!

– О нет! – Сципион сделал шаг назад. – О нет! Этого мы не допустим. Хочешь, мы гарантируем тебе личную безопасность?

– А моим солдатам? – спросил Сулла.

– Солдатам? – Сципион задумался. – И это тоже можно обсудить...

Сулла ухватился за последнюю мысль Сципиона:

– Вот это хорошо, о Сципион. Я буду ждать послезавтра тебя на этом же самом месте. Хорошо? Мы продолжим беседу и придем к какому-нибудь соглашению...

– Очень хорошо, – великодушно согласился Сципион.

И он повернулся спиной к морю, а лицом – к своим друзьям. Гвардейцы Сципиона и гвардейцы Суллы мирно беседовали друг с другом. Многие играли в кости. Военачальники шутили. Знаменосцы стояли рядом.

– О! – воскликнул Сулла. – Вот отрадная для глаз моих картина! – Он схватил руку Сципиона. – Да будет так всегда: братья должны стоять рядом с братьями!

Он подозвал к себе двух солдат, беседовавших друг с другом и раскатисто смеявшихся.

– Послушай, – обратился Сулла к своему солдату, – как твое имя?

Рослый, загорелый мужчина лет двадцати пяти весело переводил взгляд с одного полководца на другого.

– Макр, сын Лутация, – назвал себя солдат.

– Откуда ты?

– Из Бруттии.

– Ого! – сказал Сулла. – Вот куда ты забрался, брат! И не даром такой чернявый. – Он обратился к другому солдату-марианцу: – А твое имя?

– Мурена Катулл, – сказал солдат.

– Откуда?

– Тоже из Бруттии.

Сулла очень обрадовался. Он сказал Сципиону:

– Как же эти двое могут сражаться друг с другом? Они же как братья! Верно говорю? – И Сулла снова оборотился к солдату по имени Макр: – Мог бы ты поднять свой меч на Мурену?

– Нет, – отрезал солдат.

– А ты, Мурена, на Макра?

– Я тоже – нет.

– Вот видишь! – Сулла весь сиял. – Сами боги указуют нам, о Сципион, путь, по которому должно нам идти: это путь дружбы и товарищества между Макром и Муреной.

– Пожалуй, – нерешительно высказался Сципион.

Вдруг Сулла подпрыгнул и оказался рядом со Сципионом – нос к носу. Он сжал ему крепко обе руки и прошептал:

– Хочешь, бери мое войско?

– Как? – изумился Сципион.

– Очень просто. Я сейчас скомандую. – Сулла был, казалось, полон решимости привести свой план в действие. Сципион даже вздрогнул от столь неожиданного предложения.

Сулла предупредил:

– Только не говори никому об этом. Бери молча.

Сципион совершенно обомлел. Он ошеломлен. Подавлен.

Он заметил, что столь крутой поворот в действиях Суллы напоминает ему Перикла, предложившего однажды мир Спарте и всеобщий союз, ратующий за мир между эллинскими государствами...

– Что – Перикл? – сказал Сулла. – Передо мною стоит тот, кто свободно может стать Периклом наших дней. А это похлеще афинского Перикла. – Он привел двестише какого-то греческого поэта:

Славных воинов знаю я в прошлом. Однако
Лучших рождает наше отечество ныне.

– Повтори-ка, – попросил Сципион. – Я очень люблю греческий. Не этот, нынешний. А тот, чистый, на котором говорили некогда и которым ныне владеют только ученые мужи в Афинской академии.

Сулла повторил.

Сципион очень доволен. Признался, что захлеб читает Аристотеля. По ночам.

– Да? – равнодушно спросил Сулла.

Сципион, по его словам, заинтересовался учением некоего сицилийского грека, который рассматривает материю и дух как таковые и приходит к выводу, что первичен дух, а не материя.

– Любопытно, – произнес Сулла, не слушая Сципиона и думая совсем о другом.

Поскольку его совершенно не занимала философия и поскольку он презирал и дух и материю как философские категории, Сулла предложил нечто более практичное, а именно: провести в ближайшие дни соревнования силачей и борцов, а буде найдутся любители гладиаторского искусства, то и гладиаторские бои. Может быть, раздобыть диких зверей? За это мог бы взяться Сулла.

– Отлично! – воскликнул Сципион. – Обожаю гладиаторские бои. Я берусь набрать в своем войске дюжину молодцов. А ты, Сулла?

Сулла не ответил. Что-то беззвучно нашептывал...

– Не слышу тебя, – сказал Сципион.

– Я вот о чем, о Сципион: лучше бои с дикими зверями. Не надо натравливать одних на других. Я раздобуду десяток львов. В этом можешь не сомневаться. А?

– Очень хорошо. Звери так звери!

Поговорив еще немного о том о сем, они простились. Договорились снова встретиться на этом же месте послезавтра.

Прискакав в лагерь, Сулла собрал немедленно своих военачальников. И набросился на них с упреками: как могло случиться, что под самым боком вдруг очутился Сципион? Разве не ведется наблюдение? Что это за порядки? И с каких пор одержали верх ротозеи?..

– Слава богам, – заключил Сулла, – что дурак попался! А что бы получилось в противном случае? А если бы на месте Сципиона оказался Марий? Что было бы, спрашивается?

Фронтану он сказал:

– Лично проследи, чтобы отныне наши солдаты запросто ходили в тот лагерь. Выдать за мой счет всем по три урны вина на день. Пусть пьют вместе с марианцами. Это полезно.

Фронтан, кажется, смекнул, о чем идет речь. Военачальники разошлись. И вот наконец Сулла один. Или почти один, если не считать Корнелия Эпикед.

– Что ты так на меня смотришь? – сказал Сулла. – Ты недоволен?

– Напротив, очень доволен.

– Тебе всё сообщили?

– Всё.

– Пусть забавляются солдаты, Эпикед.

– Верно, Сулла, пусть.

Они понимающе улынулись друг другу.

– Эпикед, где Децим?

– Он здесь, на претории. Позвать?

– Я жду его.

Сулла поглаживал себе подбородок. И так и этак. Точно массировал его после болезненного бритья тупым ножом. Не удостоив центуриона взглядом, он сказал глухим, замогильным голосом:

– Децим, сам проверишь все посты. Сам присматривай за всеми сегодня, и завтра, и послезавтра. Прозевали Сципиона. Стыд! Децим, иди и не спи сам и не давай спать стражам. Всё!

Счастливый Децим, подозревавший нечто худшее для себя, вздохнул свободно и стремглав бросился вон из палатки. Эпикед сказал, улыбаясь вослед центуриону:

– Рад, что жив остался.

Сулла не обратил внимания на эти слова. Сел ужинать. В одиночестве. Вот уж который день в одиночестве...

7

Маркитант Оппий побывал в Капуе. Его интересовал хлеб. И еще вино. Он заручился согласием двух богатых купцов на поставки достаточного количества зерна по сходной цене. Вино обещали подвезти с юга Кампаньи. Заверили, что оно прибудет со дня на день. Тоже недорогое...

Отчитавшись перед своим компаньоном и получив одобрение, Оппий угостил Африкана редчайшим вином, которое доставлено из одного горного селения в Самнии. Оно не кислое и не сладкое. Пьется очень легко. Голова после него светла, но вот ноги... Вот ноги не подчиняются. Человек не может подняться с места. Коварное вино! Но ведь на то оно и вино.

– Ну? – любопытствовал Оппий, следя за выражением лица Африкана, пробующего вино.

– Да-а! – сказал Африкан. И больше – ни слова. Еще глоток, еще другой... – Да-а!

– Нравится?

Африкан закрыл глаза и вдохнул винный дух. На лице его изобразилось сущее блаженство. Дальнейшие расспросы были излишни. Оппий остался довольным.

– А что это там? – спросил Африкан, кивнув на край стола.

– Вон там? Передо мной?

– Да, Оппий, да.

– Пулярка жареная под гранатовым соусом.

– По-моему, она не вредна, – пошутил Африкан. – Хлеб, вино, жареная пулярка, гранатовый соус – что может быть лучше?

Оппий не представлял себе – что?! Зато Африкан, кажется, имел на этот счет особое мнение. И он высказал его после того, как выпил вина.

– Оппий, ты становишься обжорой.

– Это почему же? – удивился Оппий.

– Ты много говоришь об еде и питье.

– А как же быть?

Африкан объяснит, если это потребуется. Об еде говорят как можно меньше. Другое дело – женщины. О них болтай сколько угодно, и никто тебя не упрекнет за многословие.

– Как сказать! – возразил Оппий.

Африкан широко раскрыл глаза. Но не проронил ни слова. А только выпил. Да так, что казалось, лошадь пришла на водопой. Изжаждавшаяся за день лошадь. Ломовая, не простая...

– А что говорят в Капуе, Оппий?

– Всякое, – сказал Оппий, – одни предсказывают гибель Суллы, другие намекают на его бегство в Африку, которое вот-вот произойдет, что, мол, Марк Лициний Красс и прибыл за Суллою из Африки. Поговаривают и о том, что Сулла уйдет на покой и что дело это вполне решенное...

– А о победе – молчок?

– Чьей победе, Африкан?

– О победе Суллы, Оппий.

Оппий махнул рукой. Об этом, сказал Оппий, нет и речи. Все чешут языки в одном направлении. Все предрекают гибель Суллы. Сказать, что этому очень радуются, – нельзя. Просто ни холодно, ни жарко: народ равнодушен. И занят своими делами: крестьяне пекутся о продуктах, ремесленники – о ценах на товары, пекаря жалуются на дороговизну, зерновые, мол, повысились в цене. Капуанцы мечтают об одном: чтобы скорее кончилась междоусобица. Все сыты по горло убийствами, пожарами и болезнями. Всем хочется отдохнуть. А кто воссядет в Риме – им почти безразлично.

– «Рим интересуется только богов», – говорят они.

– Странно, – обронил Африкан.

– Ничего странного! Жить людям хочется – только и всего!

– Я не о том, Оппий. Я боюсь равнодушия. Вслед за равнодушием может наступить гроза. Народная гроза.

– Чепуха! – возразил Оппий. – Толпа есть толпа. Не более. Я говорил и не устану твердить это.

– Тут без тебя случился большущий переполох, – сказал Африкан. Он протер левый глаз лоснящимся, жирным кулаком. – Вдруг в одно прекрасное утро у нас сбоку выполз этот Сципион. Как из-под земли. И разбил лагерь. А ведь мог запросто вступить в наш и перебить всех, как цыплят.

Оппий перестал жевать.

– А почему он этого не сделал?

Африкан пожал плечами:

– Не уразумею. Может быть, благородное происхождение не позволило. – И криво усмехнулся.

– Просто струсил. С нашим Суллой без особой нужды не свяжешься. Коли свяжешься – не отвяжешься.

– Это верно, Оппий.

Потом беседа перекинулась на их семьи, которые остались в Риме. И ничего о них не известно. И живы ли дети? Они же совсем еще подростки. Непонятно, чего ждет этот Сулла? Захоти он крепко, давно бы опрокинул навзничь всех этих толстозадых полководцев...

– Ты особенно не замахивайся, – сказал наставительно Африкан. – Не все так просто, как кажется... А все-таки хорошо бы в Рим. Клянусь богами! Приспела пора. Что там делает моя Летиция?

Эти грубые натуры, сердца которым заменили денежные мешки с сестерциями и тетрадрахмами, вдруг поддались минутной душевной слабости и затосковали. Они выпили за здоровье жен своих и детей. И тут же заговорили о капуанских девицах. Там они особенные, такие неказистые на вид, вроде черненьких дроздов, но вкусные до умопомрачения. Оппий клялся, что в эту поездку он нашел таких, каких не видывал во всю свою жизнь. И главное – веселые ведь, презабавные и денег много не просят. Это тебе не римские проститутки, готовые обобрать кавалеров до ниточки. В Капуе их не сразу назовешь проститутками. Это слово к ним как-то не пристает. Просто – развеселые девицы, мужья которых погибли в чужих землях. Одни прожили с ними месяц, другие – год, а третьи и вовсе не жили, даже невинность сохранили. Остались вечными невестами и забавляют приезжих.

– Ты, надеюсь, пригласил их сюда? – спросил Африкан.

– Этого еще не хватало! Но если нужно – мигом доставлю. Только не этих, а получше. Ну?

Африкан покончил с пуляркой и жадно шарил глазами по столу: что бы еще положить на зуб? Его взгляд остановился на луканской колбасе. Взял ее и запихал в рот большой кус вместе с хлебом и потянулся за вином.

– За девочками смотайся непременно, Оппий!

– Когда?

Африкан обещал разузнать, когда это будет сподручнее. Тут, в лагере, неудобно вроде. Да и не то время. А вот где-нибудь по соседству...

8

Консул Гай Юлий Норбан ужаснулся.

– Как?! – вскричал он. – Эти сулланцы ходят в гости в лагерь к Сципиону? Они готовятся совместно провести гладиаторские игры? Что это – сумасшествие или измена? О чем думает консул? Он что? – позабыл, чем кончил несчастный Фимбрий в Малой Азии? Это Сципион запамятовал? Немедленно послать к нему человека! Немедленно запретить всякие сношения с сулланцами! Немедленно учинить нападение на Суллу, дабы уберечь от полного разложения войско Сципиона! Немедленно выяснить намерения самого Сципиона! Объяснить ему весь ужас его положения!

Консул орал на своего легата, словно тот повинен во всех ошибках Сципиона. Легат благоразумно молчал. То кивал головой, то односложно поддакивал консулу. А Норбан все бушевал в своей палатке. Он готов разнести все на свете...

– Немедленно вступить в бой. И Марию! И Телезину! И прежде всех – Сципиону! Скорее, скорее к нему. Пока не поздно!

Но уже было поздно...

9

На исходе четвертой стражи, когда раннее утро вступило в свои права и едва отзвучали звуки рожка, раздался протяжный, монотонный голос тубы. В течение нескольких минут лагерь пришел в движение. Знаменосец, стоявший у палатки полководца, подал сигнал к выступлению. Сулла, окруженный своими помощниками, стоял на претории и наблюдал за сборами.

Как и было условлено поздно ночью, солдаты направились в сторону лагеря Сципиона небольшими толпами. Они не соблюдали воинского строя, чтобы не навлечь на себя подозрения. Щиты оставлены в лагере. Под полою у каждого солдата, на всякий случай, – кривой нож, персидский. Завидя их, солдаты Сципиона пошли им навстречу и дружески зазывали в свои палатки. В течение часа двадцать когорт Суллы слились с сорока когортами Сципиона. Поскольку солдаты Суллы были хитрецы и пройдохи, достойные своего полководца (как говорили марианцы), то солдаты Сципиона оказались почти что пленниками. Пока они миловались и братались с сулланцами, их полководец превратился в настоящего пленника.

Его, полусонного, поднял с постели центурион Децим с дюжиной бравых преторианцев.

– Луций Корнелий Сципион Азияген, – закричал не своим голосом Децим, – тебе приказано немедленно встать!

Сципион вскочил и выпучил глаза при виде незнакомых и дерзких солдат. И не сразу сообразил, в чем дело.

– Ты команду слышал?! – спросил центурион и обнажил меч. Те – дюжина преторианцев – тоже достали мечи из ножен.

Наконец-то Сципион понял, что это не кошмарный сон, но самая настоящая, хотя и горькая, явь.

– Ну?! – понукал его Децим.

– Ты кому это приказываешь, центурион? – сердито огрызнулся Сципион, подымаясь с теплой и мягкой постели. – Я – консул Сципион.

Децим нагло захохотал. Прямо в лицо. А вместе с ним – его товарищи.

– Да, я – консул и приказываю вам удалиться из моей палатки и сдать свое оружие.

Децим корчился от смеха. Те, двенадцать, тоже давились смехом.

– Поживей сдавай нам свое дерьмовое оружие!

Однако солдаты избавили консула от этой тяжелой необходимости: они собрали в охапку мечи золоченые, ножи посеребренные, кольчугу, шлемы – парадный и боевой.

Сципион с большим трудом, но все-таки осознал наконец свое положение. Лицо его посерело, руки задрожали. С трудом застегнул ремешки на башмаках. Натянул на себя верхнюю тунику, набросил тогу, обшитую по краям пурпурной лентой. Он одевался суетливо, наспех, но этого времени вполне достало для того, чтобы оценил он свое положение, проанализировал короткий, но весьма и весьма отчетливый путь, приведший к этому постыдному положению. Этот путь продолжался всего несколько дней. Увы! – он оказался роковым...

Сципион упорно повторял:

– Я – консул. Я прикажу вас заковать в кандалы.

Никто достоверно не скажет: почему такому видному, такому симпатичному человеку пришла в голову эта несуразная в его положении мысль? Кого он хотел запугать? Этих гогочущих молодчиков, подталкивающих его к выходу, притом весьма бесцеремонно? Он никогда никому не угрожал. Так почему эта фраза вдруг сорвалась с его уст? Кто объяснит?

– Стойте! – приказал Децим солдатам. – Раз он консул – пусть садится за этот стол.

Сципиона силой усадили. Словно бы невзначай, дали ему разок-другой по уху. А кто-то харкнул ему в лицо. И Сципион мигом потерял всяческое представление об этом мире. Обмяк. Осунулся. Мигом исчезла патрицианская осанка.

Децим подошел к нему. Вразвалку. Подержал его за подбородок и дал звонкого щелчка по носу.

– Очни-ись! – прикрикнул центурион. – Спать не разрешается!

– По шее его! По шее! – кричали солдаты.

Один из них замахнулся скамьей. Децим остановил его властным взглядом.

– Что вам надо? – простонал консул.

– Тебя!

– Я... я... я... – запинаясь Сципион.

– Что? Говори яснее...

– Я... я... я...

Солдаты снова загоготали. Это было презабавное зрелище: взрослый человек сидит и заикается. С чего бы это он?

– Дайте ему пинка под зад... – предложил юркий, рыжий солдат.

Сципион стиснул зубы. Закрыв глаза. Сжал руками голову.

– О боги! – вздохнул он.

Юркий солдат не унимался. Уж очень ему хотелось оплевать Сципиона с головы до ног. К его огорчению, не доставало слюны. И он гримасничал, просил своих товарищей одолжить слюны. Те гоготали и издевались над консулом как могли.

Сципион уже не реагировал. Теперь он ясно видел ловушку, в которую попал. Оказывается, не имеет значения ни благородство рода, ни воля римлян, избравших его, ни честное отношение к другим, ни кровное родство с Суллой. Все это не имело никакой – ровно никакой! – цены. Оставалось лишь животное чувство самосохранения и глубокое сознание позора, который пал на его голову. Под плевками грубых солдат исчезли поэзия и искусство, возвышенная любовь и письмо, то есть все, что мало-мальски отличает человека от зверя. Может быть, в эту минуту горше всего было именно это ощущение, а не физическая боль. А семья? Как посмотрит он в глаза близким людям, если вообще суждено ему выбраться из этого невыносимо жестокого круга? Сципиону хотелось спросить, где их предводитель, где главный бандит этой шайки оголтелых негодяев? Но не мог. У него не поворачивался язык. И кажется, вот-вот потеряет сознание. Все, все стало совершенно безразлично...

В это самое время там, за палаткой, вдруг почудилось какое-то движение. Приглушенный смех и приветствия. Все это доносилось откуда-то издалека, и не верилось в его реальное существование. Сон, сплошной сон!

Децим и его товарищи вроде бы заволновались, перестали гоготать, плевать, бить, сквернословить. Они отошли в сторону и негромко переговаривались: о чем говорили они – этого не понимал Сципион. В ушах его стоял шум, точно от морских волн в штормовую погоду.

И он не заметил, как вошел Сулла вместе с Фронтом и Руфом, как стал он посреди палатки, как обвел холодным, казалось, ничего не видящим взглядом вытянувшихся солдат и жалкого Сципиона, повалившегося грудью на стол.

– Что это? – спросил сердито Сулла, скашивая глаза на Сципиона.

Ответил Децим:

– О великий! Этот ублюдок называет себя консулом...

– Консулом? – Сулла усмехнулся. – Римский консул здесь, на берегах Вольтурна? Ему надлежит восседать на Капитолии. Ты, наверно, ошибся, Децим.

Децим разыгрывал из себя оскорбленную невинность:

– Я, ошибся? Нет, о великий, ошибся этот тип, этот негодяй, который залез в чужую палатку и выдает себя за консула.

– Любопытно, – проговорил Сулла и обратился к своим помощникам: – Неужели этот господин ошибается?

– Наверняка! – отрезал Фронтан.

– Децим, – приказал Сулла, – а ну, покажи нам харю этого самозванца!

Децим живо подбежал к столу, схватил Сципиона за волосы и ловко продемонстрировал его лицо.

– О! – воскликнул Сулла. – Так это в самом деле Сципион! Ребята, что вы с ним сделали? Дайте ему глоток вина. Может, заговорит.

Сципион медленно открыл глаза. Они были сухие. И не было слез. Но в них горел такой сгусток человеческого горя, что он мог разорвать не очень крепкое человеческое сердце.

– М-да, – ухмыльнулся Сулла. – Верно, это консул... Что ему угодно здесь, Фронтан?

Фронтан доподлинно знал, что угодно консулу в этой палатке. И не преминул обнародовать сокровенные свои мысли по этому поводу.

– О Сулла, – сказал он с очень серьезным видом, – этот господин, именующий себя консулом, – просто болван, пусть благодарит нас, если не лишится своей дурацкой головы, которая его окончательно оболванила.

Солдаты рассмеялись. Никто их не остановил, поэтому смеялись они довольно долго. И громко.

Словно придя в себя от обморока, Сципион медленно поднялся. Его мутный взор долго блуждал по лицам, пока не остановился на Сулле.

– Ты? – прохрипел он.

– Я, – твердо выговорил Сулла.

– Что здесь происходит, Сулла?

– Где «здесь»?

Сципиону нелегко произносить слова. Он делает огромное усилие, пытается подчинить себе одеревеневшие губы.

– Это все по твоему приказанию, Сулла? – хрипя говорит Сципион.

Сулла бросается на скамью. И грубо кидает:

– Ты что? Меня допрашиваешь?

– Я только спрашиваю... – Голос Сципиона заметно окреп.

– Дурак ты! – говорит Сулла.

Децим подбежал к Сципиону, схватил его за плечи и основательно встряхнул его.

– Ну?! Просыпайся, консул!

И удалился на свое место.

– Сулла, – сказал подавленный Сципион, – я надеюсь, ты помнишь наш разговор?

– Какой разговор? – Сулла не глядел на него.

– Какой? – Сципион покачал головой.

– Живее, Сципион! Мне некогда. Мне надо делом заниматься.

– Каким делом? Я хочу знать, что все это значит?

Сулла недовольно махнул рукой. Сплюнул. Попросил Руфа:

– Будь добр, объясни этому господину все, как полагается.

Руф выступил вперед:

– О квирит, мы предлагаем тебе нижеследующее: тебе, как военнопленному...

Сципион перебил его:

– Как, я разве военнопленный?

– Да.

– С каких пор?

– С этого часа.

– Во-первых, я – консул.

– Об этом надо забыть, – сказал Руф.

Сулла проявлял крайнее нетерпение. Руф это отлично понимал. И он торопился.

– Сципион, о консульстве надо забыть. Эта должность потеряна для тебя, если даже мир перевернется вверх дном или станет дыбом. Об этом забудь и думай о своем спасении. Тебе предлагается выбор: или мы тебе отрубим голову...

Руф показал, как это делается, рассекая воздух ребром ладони. Повторил несколько раз, словно у Сципиона, как у восточного сказочного чудовища, было пять голов вместо одной.

– Мне?.. Отрубить?.. На каком основании?

Руф улыбнулся:

– Как пленнику. Это право победителя.

Сципион повернул голову в сторону Суллы: тот сидел безучастный, будто все, что делается в этой палатке, его вовсе не касалось: раздобыл тоненькую палочку и ковырял ею в зубах.

– Это все?

– Нет, не все, – продолжал Руф. – Или мы отрубим тебе голову, или отпустим на все четыре стороны. Но с одним условием: ты подписываешь официальную декларацию о том, что уходишь на покой, в частную жизнь. Ясно ли я выразился, Сципион?

Сципион спросил:

– Сулла ничего не добавит?

– Нет, – небрежно бросил Сулла. – Надо кончать эту комедию!

– Мне будет дано время на размышление?

– Да, – сказал Сулла.

И кивнул Дециму. Центурион вышел на середину, обнажил меч и замахнулся им. Меч сверкнул, точно молния, и где-то вверху застыл. Застыл в ожидании приказа...

– У тебя есть время на размышление, – усмехнулся Сулла.

Руф позвал писца с пергаментом и чернильным прибором. По-видимому, писец был уже готов. Более того, у него на пергаменте написано все, что необходимо. Он положил декларацию перед окаменевшим Сципионом и вложил перо в его безжизненную руку.

– У меня отекала рука, – предупредил центурион, потрясая мечом.

Сципион знал, что шутки с центурионами плохи. И, не мешкая более поставил свою подпись. Красными чернилами.

– Никудышная, – сказал писец, демонстрируя Сулле подпись.

" – Сойдет, – буркнул полководец. – А теперь отведите его в Вольтурн, посадите на коня, дайте охрану и отправьте...

Сулла подумал. Почмокал губами.

– В Неаполь, – подсказал Руф.

– Пожалуй, – согласился Сулла. – Или куда ему заблагорассудится.

– У меня вилла в Этрурии, – проговорил Сципион, к которому стала прибывать жизнь.

– Успеешь. Потом, – ворчливо сказал Сулла. – Все?

– Да, – ответил Руф.

Сулла поднялся и вышел. За ним последовали его помощники.

Децим вежливо пригласил Сципиона к выходу.

– Конь ждет тебя, великий Сципион!

Но это унижение прошло мимо сознания консула – уже б ы в ш е г о, и он послушно поплелся следом за центурионом.

10

Консул Норбан выслушал сообщение о пленении и позоре Сципиона. Все подивились его спокойствию. Он объяснил, откуда оно: Норбан уже давно подготовился к печальному известию. Ему было ясно все с тех самых пор, когда ему сообщили о братании войска Суллы с солдатами Сципиона.

– Сципион сам себе вырыл могилу, – заключил Норбан. – Но мы этой ошибки не сделаем.

Он приказал провести смелую, очень смелую и неожиданную атаку против Суллы, пока тот еще празднует победу.

Пишут, будто унижение Сципиона произошло после битвы Норбана с Суллой. Но это не так. Между обоими событиями лежали день и ночь. Возможно, это и ввело в заблуждение не только многих квиритов, но также историков.

Итак, Норбан отдал приказ атаковать Суллу... А в это время уже сражались в своем месте Помпей и Красс, Метелл и Сервий. И Долабелла...

11

Некий носильщик тяжестей принес удивительную новость: Сулла разбит, посажен в мешок и утоплен в Вольтурне. Носильщик ел хлеб с луком, сидя на приступке лавки башмачника Корда.

Зеленщик, сгорая от любопытства – он обожал, когда сажали в мешок кого-либо из сильных мира сего, – просил не торопиться, говорить все по порядку Он принес вина, чтобы носильщик пил, сидел спокойно и рассказывал все, как было...

– Очень просто, – говорил носильщик, коренастый, тридцатилетний, рябой и чумазый, жуя хлеб и похрустывая луком. – Этот Норбан влетел в лагерь, как вихрь, как буря мавританская. Сулла не ожидал. От удивления скулы ему свело. Он, значит, за меч. А меча-то нет! Он под кроватью. У них же своя кровать! Походная. Почище вашей. И вшей у них не бывает. И клопов тоже. Не как у нас.

Зеленщик и башмачник молча обменивались взглядами. Зеленщик не мог, как ни старался, скрыть своего крайнего любопытства, а Корд сопел потихоньку, слушал и не перебивал голодного рассказчика. А носильщик при воспоминании о вшах и клопах, пригубив вина из глиняной бутылки, вдруг начал проклинать свою постылую жизнь. Одни обжираются, спят без клопов, а другие только и знай себе, что скармливают свою плоть клопам да вшам и живут впроголодь. Вот обещали цены на хлеб снизить. Даже кто-то заговаривал о том, что надо, дескать, вовсе уничтожить плату за хлеб. Чтобы буханки бесплатно выдавались населению. Ан нет! Одни, значит, паштет из соловьиных языков едят, а другие с голодухи пухнут...

– Постой, – сказал зеленщик, – откуда ты взял соловьиные языки?

– Оттуда! – огрызнулся носильщик, который очень-очень клял свою постылую жизнь, жизнь бобыля-, жизнь муравья в человеческом обличье.

– Довольно, – остановил его Корд. – Запел свою жалобную песню. Можно подумать, что мы здесь объедаемся пулялками да каплунами. Мы, брат, тоже зубы на полках храним. Нас своими речами не разжалобишь. Сами готовы землю жрать. Понял?

Носильщик отпил вина и чистосердечно признался:

– Понял.

– Давай дуй дальше, – сказал зеленщик.

– Что – дальше? Этому, значит, Норбану... Нет, вру!... Этому, значит, Сулле всадили кинжал в пупок... И Норбан испустил дух!

Зеленщик сплюнул:

– Да ты, брат, заговариваешься. Отставь вино в сторонку да скажи толком: кто кому всадил кинжал?

– Как – кому? Я же сказал: Сулле всадили.

– А может, Норбану?

– Нет, Сулле!

– А ты только что назвал Норбана! – уличал его зеленщик.

– Разве? – Носильщик почесал лоб грязными пальцами.

– Ты сказал: Сулла. Потом – Норбан. Потом опять: Сулла.

Носильщик обиделся. Перестал пить и жевать. Схватил свой нос и чуть его не оторвал, сморкаясь. Он сказал:

– Эти правители все на один лад. И мне все равно, кому дали ножа. Кто навсегда зажмурился. Мне плевать на них! Понятно вам?

Зеленщик при молчаливой поддержке башмачника все пытался урезонить носильщика: дескать, важно знать, кто убит, кто проиграл. От этого зависит даже цена на хлеб.

– Ну-у? – удивился носильщик. – В таком случае я подумаю. – Он так долго думал, что чуть не уснул. Его растолкал Корд.

– Любезный, – сказал он, – или ты вспомнишь, или катись отсюда. Слышишь?

Носильщик, кажется, слышал. И вскрикнул:

– Сулла! Сулла!

– Что Сулла, брат? Говори же!

– Он и убит. Точно! Чтобы Юпитер огнем сразил меня на этом самом месте!

Корд подал зеленщику тайный знак: дескать, пусть поскорее отвязывается этот тип. Дескать, надо словечком перемолвиться. Дескать, ничего более любопытного этот гигантский муравей не скажет...

И зеленщик с большим трудом спровадил носильщика, который обещал назавтра еще более удивительные новости.

Когда болтун исчез в глубине улицы, Корд сказал:

– Да, Криспа, видно, доставят на щите.

– Похоже, – согласился зеленщик, но тут же оговорился: – Если этот пьянчужка не врет.

И они принялись судить да рядить, что и как сложится, ежели убит Норбан. И что будет, ежели все наоборот, то есть ежели убит Сулла. На это ушло довольно много времени. Пока их не отвлекли покупатели.

12

У нас имеется полная возможность восстановить подлинную картину того, что случилось в долине реки Вольтурна. На этот счет имеются неопровержимые документы. Это необходимо сделать, по крайней мере, по двум причинам: 1) потому что «после Вольтурна» картина стала предельно ясной и все увидели и поняли, на чью сторону склонилась чаша весов, и 2) чтобы последующие события стали более ясными и не допускали двух толкований.

После того что произошло с Фимбрием и Сципионом, Норбан заявил: правы те, что утверждают, что из лисы и льва, сосуществующих в душе Суллы, всегда опаснее лиса. Лев есть лев, рассуждал консул Норбан, он надеется на свою силу и имеет дело с силой. А лиса пользуется оружием, не дозволенным среди порядочных людей. Поэтому она способна заморочить голову, усыпить бдительность и уже уснувшему врагу преспокойно перегрызть глотку.

Консул Норбан, как это явствует из документов, отдал приказ об атаке. Пусть лев покажет свои когти! Это лучше, чем лисий хвост – рыжий, облезлый, противный...

Момент для удара был выбран удачно: новое войско Сципиона не успело по-настоящему влиться в когорты и манипулы Суллы. Командование над бывшим войском Сципиона Сулла поручил Фронтану. В течение ближайшей недели предполагалось полное слияние двух войск. Поэтому к вечеру (в день пленения Сципиона) Сулла с воинами возвратился в лагерь. И тут же приказал копать еще один ров вокруг лагеря. Поздно вечером работа была в разгаре. Дозоры, высланные на север, восток и юг, не обнаруживали движения врага. В направлениях Вольтурн – Калым, Вольтурн – Капуя, Вольтурн – Кумы как будто все было спокойно. Ни Марий, ни Норбан, ни Телезин не высказывали ни малейшей активности. Сулла велел всю ночь копать ров, утроить бдительность, а Фронтану поскорее избавляться от неблагонадежных и готовить войско к движению на север, к Риму.

Светильник в палатке Суллы горел допоздна. Эпикед несколько раз справлялся, не спит ли его господин. Однако Сулла и не думал о сне. Перед ним лежали чистые листы пергамента, и он что-то записывал. Потом вставал и ходил взад и вперед. Снова что-то писал. Поскольку особой любви к письму за Суллой не замечалось, Эпикед подивился этому обстоятельству. Он все-таки напомнил своему господину, что уже наступило время третьей стражи...

– Ну и что? – рассеянно спросил Сулла.

– Положено спать, – сказал слуга, – особенно после такой победы.

– Ты так думаешь?

– Да, великий господин.

Сулла досмотрел на слугу пронзительным взглядом голубых глаз. И глаза надолго застыли. Словно бы остекленели.

– Ты удивляешься? – спросил слуга.

– Немного, Эпикед.

– Чему, о великий господин?

Сулла подумал: сказать или промолчать? Решил сказать:

– Видишь ли, Эпикед, раньше ты не произносил слова «великий»...

– Ну, так что ж?

– Ты ничего просто так не произносишь. Прежде чем сказать, ты думаешь.

– Возможно.

– И ты решил, что пора?

– Да.

– И ты один так будешь величать? – Сулла спрашивал очень серьезно. Без тени юмора.

– Нет.

– А кто же еще, Эпикед?

Эпикед задумался. И тоже всерьез. Вдруг родилась прекрасная идея! Он не высказал ее полностью. Но намекнул довольно-таки прозрачно.

– Сегодня решилось очень многое, – сказал Эпикед. – Боги указуют тебе путь в Капитолий. – Эпикед почему-то озлобился. Это с ним бывало, но очень редко. – Почему бы не величать тебя великим? Именно теперь! Почему?!

Сулла пожал плечами. Но проявил крайний интерес к рассуждению своего слуги.

– Почему?! – сердито вопрошал Эпикед. – Ждут, пока ты взойдешь на Палатин и Капитолий? Ждут? Да? – Слуга наклонился, заговорщически: – Нет, пусть величают сейчас! Немедля! Потом это будет ясно каждому дураку. Скоро весь мир назовет тебя великим. Но я хочу быть первым, кто назовет тебя великим.

Сулла молчал.

– Да, да! Сейчас же! Немедля, великий Сулла!

Эпикед прытко выбежал из палатки и привел с собою Децима. Центурион засиял от удовольствия: он же лицезрит своего господина! И по-солдатски четко сказал:

– Великий господин! Слушаю тебя.

Как это ни странно, но Сулла чуточку растерялся.

– Э-э-э, – сказал он, – все ли в порядке со стражами? Почему я не слышу пения рожков?

Децим доложил, пяля глаза, вздернув нос, выставив свой мощный подбородок:

– О великий господин мой! Все в должном порядке в военном лагере великого полководца Суллы!

– Иди, – мягко приказал Сулла.

– Это только первый среди сонма твоих обожателей, – сказал Эпикед, когда центурион покинул палатку и шаги его замерли в ночной тишине.

Торжественная сосредоточенность на лице слуги и его готовность служить своему господину верой и правдой, невзирая ни на что, навели Суллу на некие мысли. Не такие

уж простые, чтобы о них сказать в двух словах. Смутные очертания чего-то нового, пока еще размытые настолько, что трудно оценить это новое во всей полноте, понемногу заняли все сознание полководца. Сегодня, именно в эту ночь, родилось нечто, что долго бродило в нем, еще со времени Югуртинской войны в Мавритании. Там, в Африке, Сулла едва-едва ощутил свои возможности в политике и в военном деле. Первый успех – пленение Югурты – укрепил его веру в самого себя. Без этого он не смог бы жить дальше. Без этого не пошел бы дальше. А сегодняшняя победа над Сципионом озарила его душу таким заревом, при свете которого он уже увидел себя в Риме. Но уже не в том качестве, в каком был когда-то, пять лет назад. То время ушло безвозвратно. Он теперь совсем другой. Это ясно даже его слуге... И Рим, наверное, будет другим...

Полководец внимательно пригляделся к своему слуге, и тот показался ему тоже другим. И он приписал эту перемену в Эпикедe своему блистательному успеху: двадцать когорт прибирают к рукам сорок. Слово цыпят в курятнике! Воистину невиданное в истории!

И Децим тоже выглядел иначе. Но ведь по существу так и должно быть. А как же?

Правда, с этой мелочью – эпикедками и децимами – дело ясное. Они будут лизать пятки. А вот те, кто повыше? Как они посмотрят?

Эпикед, помнится, рассказывал однажды про египетского князя, жившего в незапамятные времена. Этот удалец быстро привел в чувство свое окружение и сделался даже богом...

– Эпикед, – говорит Сулла, – как звали того египетского князя?

– Какого?

– Как какого? Который богом сделался.

Эпикед усмехнулся:

– Ах, того! Нармером звали. Если не ошибаюсь.

Сулла погрузился:

– Да-а, Нармер, Нармер...

И запел под нос песенку. Это был какой-то тягучий, нескончаемый мотив. Зато слова простые, слова четкие: «Нармер, Нармер, Нармерчик...»

– Эпикед... – сказал Сулла, опустив лоб на два тугих кулака и невольно изображая из себя мыслителя. – Эпикед, тому князю египетскому было легко...

– Почему, о великий?

– Очень просто: он жил не в республике.

– А где же, о великий?

– В царстве. Или фараонстве... Или княжестве... А за нашими плечами шестьсот лет демократии...

Слуга удивился:

– Ну, так что ж? При чем демократия? Какое она имеет отношение к тебе?

– Прямое.

– А все-таки, о великий?

Сулла почесал кончик носа.

– Это говорят, к питью, – пояснил он насчет кончика носа, – Есть такая примета в Колхиде.

– Нет, – сказал Эпикед, – можно вполне, не нарушив ни единого закона республиканского строя, выжимать из квиритов воду или вино...

– Правда?

Этот Сулла умел иногда задавать вопросы, достойные несмышлениша. Разве не понимает сам? Или прикидывается простаком? Или ищет поддержки своим мыслям?.. Скорее всего, последнее.

И, наблюдая за лицом слуги, на котором явственно просвечивала ирония, Сулла сказал:

– Я же человек сентиментальный, Эпикед. Не все понимаю. Не все представляю.

– О великий! Разреши усомниться в этом? – И в знак своей глубокой просьбы слуга поклонился низким поклоном. Чего не бывало до сих пор. Чем, говоря откровенно, тоже немало удивил своего господина.

– Ты не простой слуга, Эпикед, – сказал Сулла.

Опять глубокий благодарственный поклон.

Сулла решил не обращать внимания на эти нововведения слуги. Пусть себе тешится... Если это ему по нутру. Если это доставляет особое удовольствие... Но заметно по всему, что доставляет...

Заиграли рожки: это сменялась стража. Потом снова стало тихо.

– Поздно, – сказал слуга.

– Самая пора работать, – сказал господин.

И они понимающе улыбнулись друг другу. Равною, дружескою улыбкой.

Нет, они нужны друг другу! Созданы друг для друга!..

– О великий! – благоговейно произнес слуга, поклонился глубоким поклоном и попятился к выходу. Чем снова и снова озадачил своего господина...

События на рассвете развернулись довольно стремительно. Марианны ударили по Сулле. Неожиданно. Но когорты проконсула Цецилия Метелла Пия, словно на крыльях прилетевшие из Лигурии, с ходу развернули военные действия против марианцев. Недалеко от них бились вместе с Суллой когорты Гнея Помпея (один легион, пришедший из Пицене), а также войска Красса и Сервилия. Одним словом, бои разгорелись нешуточные. И весь мир имел возможность наблюдать потехи ради, как хваленые римские легионы и их полководцы мутузят друг друга, мнут друг другу бока и выпускают друг другу потроха. В далекой Идумее и в далекой Испании, в Мавритании и на Рейне с большим интересом ожидали окончания лихой потасовки, чтобы вернее определить, кому же лизать пятки, в конце-то концов...

Очень активно, со всей яростью действовали против сулланцев самниты и луканцы – племена злые, кровожадные, когда дело касалось Рима: они рады воевать против тех, кто может одержать верх, лишь бы ослабить Рим. Особенно отличался полководец-самнит Понтий из Телезия по прозванию Телезин. Его войско, правда, немногочисленно, но ведь это были самниты. Неожиданным ударом они чуть было не смяли Суллу. Боги и воины спасли Суллу от поражения в это утро.

В решающие дни сражений, которые по праву явились сражениями за Рим, Сулле оказали большую помощь полководцы Корнелий Бальб, Гней Корнелий Долабелла и Торкват.

Бывали дни, когда с обеих сторон погибали тысячи и тысячи воинов. Борьба шла не на жизнь, а на смерть. Первый натиск Сулла выдержал. Он устоял. И теперь, несколько оправившись, все свои действия сверял с одним направлением – Римским. Пренесте, расположенный юго-восточнее Рима, и Антемна, лежащая немного выше Рима по Тибру, тоже привлекали особенное внимание полководца. В этих городах обосновались довольно сильные гарнизоны, охранявшие подступы к Риму. Сулла послал доверенных людей в Антемну с предложением перейти на его сторону. Оно было отклонено. Но не всеми. Нашлись такие, которые заколебались. По сообщениям лазутчиков, таких колеблющихся насчитывалось до трех тысяч. И они вели торг. Сулла не скупился на обещания. В одном письме к начальникам манипулов в Пренесте он писал: «Решайтесь же быстрее: время не ждет. Я одержу победу и без вас, но какими глазами вы тогда будете смотреть на меня? Не лучше ли нам сообща раздавить римских тиранов и затем зажить спокойной жизнью. Я обещаю вам большие земельные наделы. Они будут выделены там, где вы укажете. А те, которые трусят, которые желают усердно прислуживать тиранам, – пусть продолжают свое грязное дело: их постигнет возмездие, которое уже уготовано богами!»

И тем не менее Антемна колебалась, Антемна выжидала. Сулле пришлось еще и еще раз напомнить о своих предложениях.

Еще хуже обстояло с Пренесте. Здесь даже не пожелали разговаривать: отхлестали посланцев и вернули их обратно к Сулле.

С каждым днем все больше ожесточались битвы, Сулла приказывал усилить дисциплину, которая и так уж была воистину железной. Он потребовал от Долабеллы децимации второй когорты и первого манипула восьмой когорты. Сулле донесли, что воины этих частей не проявили должного рвения в битве. Он приказал Крассу провести децимацию четвертой когорты. Словом, кровь лилась рекой...

Пожалуй, самым драматичным и поворотным моментом в битве за Рим явилось сражение против Мария-младшего. Если читатель помнит, Марий отдал приказ об атаке. Она была

осуществлена на рассвете, когда еще с трудом различались силуэты деревьев и кустарников, а дорога казалась настолько серой, что с трудом угадывалась.

Войско Мария совершило бросок, который многие ученые называли броском «азиатского тигра». Марий рассчитывал уничтожить Суллу в то время, когда тот вернется из лагеря Сципиона. Сулла, несомненно, объединил бы свое войско с бывшими войсками Сципиона и имел бы под своим началом уже не двадцать, а шестьдесят когорт. Это и учитывали Норбан и Марий.

Когда заиграли рожки ночной стражи, когда загудели тубы – тревожно и громко, – призывая к бою, когда Сулла, вскочив на коня, приказал драться до последнего, ибо иначе пропало все, иначе пропали все труды последних лет, – Марий с войском был совсем близко. Уж были слышны вражеские рожки и приглушенная команда начальства. Словно туча растекалась на ближайшем холме: это воины Мария, убыстряя шаг и постепенно переходя на бег, готовили дротики для метания. На левом и правом их флангах галопом неслись отряды всадников.

Любой, даже не искушенный в военном искусстве человек безошибочно определил бы, что войско Мария находится в выгодном положении, а войско Суллы в самом невыгодном. Если бы в то время поинтересоваться мнением десяти военных стратегов, то ни один из них не высказался бы в пользу Суллы: он, казалось, обречен на поражение. Неминуемое поражение!

В то время как войско Мария было подготовлено к битве, распалено недолгим переходом и вдохновлено речью Мария, воины Суллы только продирали глаза, хватались за мечи и с трудом оценивали силу врага и направление его удара.

Надо отдать должное Сулле: он сделал все для того, чтобы в те считанные минуты, которые оставались до встречи с врагом, слова полководца достигли уха каждого солдата. А слова были столь же краткими, сколь и выразительными. Вот они: «Чтобы сохранить свою жизнь и будущие богатства, не жалеть ни силы, ни пота, ни крови! Выхода нет: либо победить, либо умереть! Победа может быть только в одном случае: если каждый солдат полетит вперед и трех вражьих воинов уложит на месте. Если только двух – это поражение! Вперед, я вместе с вами!»

Заметив, что лагерь Суллы пришел в движение, Марий приказал играть во все рожки: это сигнал для метания дротиков.

Между тем сулланцы – люди, испытанные в боях и закаленные походом в Малую Азию, – безо всяких рожков, опередив врага на секунду, запустили в воздух свои дротики. И с неимоверным рычанием бросились вперед.

Свои отряды всадников Сулла направил на левый и правый фланги, чтобы сковать действия конницы Мария.

Сшибка произошла в одной стадии от лагеря. Будто два вала, белогривых и черных, ударились друг о друга. Уже первая сотня с той и с другой стороны накололась на мечи, уже валялись на земле первые сотни умирающих той и другой стороны.

Сулла с обнаженным мечом стоял перед рвом. Он был бледен, холодный пот покрывал его лоб. Губы сжаты...

Децим держался возле него, не спускал с него глаз. А вместе с ним – центурия преторианской гвардии.

Тот вал, который катился с холма, понемногу захлестывал сулланцев. Линия контратаки кое-где изломилась, кое-где отошла назад. Явно назад. Воины бились молча, искусно работая мечом и щитом. Наступила секунда, когда нажим Мария достиг, казалось, предела, когда, казалось, он сотрет с лица земли Суллу и его войско.

Сулла не мешкая бросился вперед. Высоко подняв меч. Он ругался последними словами и брызгал слюной. Загудели тубы, заиграли рожки. И взревело все войско, точно стадо – тысячное стадо – взбесившихся львов. Это произвело на врага большее впечатление, чем полет тысячи и тысячи дротиков и стрел. Казалось, вырвались откуда-то из-под земли все черные силы, грозившие убить не только войско Мария, но и все живое на земле.

– Я умираю первым! – кричал Сулла, размахивая мечом. Но, к его великому огорчению, от врага его отделяла гора трупов и собственные когорты, рубившие марианцев безо всякой пощады.

Численному превосходству марианцев Сулла противопоставил крайнюю ожесточенность своего войска, которое в Риме называли «войском головорезов и негодяев». Один сулланец противостоял трем солдатам. По всем правилам ведения боя победа должна была достаться Марию. Сулла с горечью наблюдал, как линия сшибки изгибалась по фронту, словно упругая лоза. Понемногу середина линии, если смотреть на нее сверху, приближалась – угрожающе приближалась к Сулле. У ног его упали два дротика, запущенные с большого расстояния. Полководец и бровью не повел.

– Уберите эти деревяшки, – презрительно сказал он.

Марианцы явно теснили тех, кто противостоял им в середине фронта, в то время как левые и правые фланги оставались на месте или почти на месте.

Все резервы пущены в ход. Сулла направил ординарца к Фронтану с приказанием помочь людьми, на которых можно более или менее положиться. Однако исход битвы мог решиться в ближайшие минуты.

Тяжеловооруженные солдаты Мария действовали очень уверенно. И в ответ на дикий рев и ругань сулланцев мечом прокладывали себе дорогу к недвижному Сулле. В момент, когда казалось, что враг совсем близок к исполнению своих честолюбивых замыслов, Сулла приказал Дециму повести в бой всю преторианскую охрану. Децим вопросительно уставился на полководца и хотел что-то сказать...

Сулла процедил сквозь зубы:

– Ни слова! Сейчас моя жизнь не здесь, а там!

И он указал туда, где манипул противника особенно теснил сулланцев.

Децим скомандовал, и охрана Суллы бросилась за центурионом. Воины бежали, ругаясь и свистя. Сулла рассчитал очень верно: еще минута, и манипул тяжеловооруженных врагов прорвался бы к нему. Децим сумел быстро залатать прореху. И понемногу дело на всей линии фронта приняло несколько иной оборот. Военное счастье – пока еще едва заметно – повернулось лицом к Сулле. Можно сказать, вполоборота.

Полководец стоял бледный, ровный, неподвижный. Сейчас совершенно бесполезно отдавать какие-либо новые приказания: Сулла уверил себя, что все теперь зависит от счастья. Неужели оно отвернется от него именно сегодня? Правда, он не успел принести Юпитеру и Беллоне достойной жертвы. Но она будет, непременно будет принесена!

Сулла стоял один. Недалеко от него резали друг друга, душили, давили друг друга, ругаясь, стеля, плача и негодуя, тысячи и тысячи людей. Приходилось только удивляться: какая это сила заставила их резать, душить и давить друг друга? Полководец приписывал эту силу богам и себе.

Вскоре выяснилось совершенно отчетливо, что Марий проиграет это сражение. Марианцы отступали медленно, потом – быстрее и наконец побежали, оставляя тысячи трупов и тысячи умирающих соратников.

Военное счастье и на этот раз оказалось милостивым к Сулле...

...Сулла диктовал семейографу короткий, кровавый ультиматум гарнизону Антемны: три тысячи согласных присоединиться к Сулле должны уничтожить остальных и сдаться легату Руфу. Срок: двадцать четыре часа!

Второе письмо адресовано жене, с детьми бежавшей из Рима к окрестностям Капуи. Оно тоже краткое: верно, со дня высадки в Брундизии и Таренте прошло немало времени. Но теперь не пройдет и декады, как они свидятся на Палатине. В свидетели призывались все боги...

Так был уверен Луций Корнелий Сулла в своей конечной победе.

И на этот раз не подвела его великая и грозная Беллона.

Что скажут теперь эти сенаторы?

Победивший

1

На двенадцатый день до июльских календ на вечер приглашены только ближайшие друзья. Дворец сбежавшего купца-марианца Фавстика Сертория сверкал огнями: слуги не жалели масла для светильников и свечей для бронзовых ламп. Сад, посреди которого стоял дворец, окружен тремя рядами преторианцев. Трижды спрашивали Марка Лициния Красса, которого несли слуги на роскошных носилках, кто он и куда направляется. Ему трижды самолично пришлось объясняться с равнодушными центурионами. С бессмысленным видом они взирали на золотые награды полководца. Их ничуть не удивляли роскошные носилки, и никаких чувств они не изведали при объяснениях ликторов. Им требовались слова только того, кто сидел в носилках. Никакие протесты и брань Красса не возымели ровным счетом никакого действия. Они молчаливо, словно истуканы, стояли в ожидании его пояснений. Надо отдать им должное, стойчески выдержали брань, не отвечали на нее. Более того: солдаты толпились довольно почтительно. Так, наверное, могли они простоять вечность, если бы не дождались удовлетворительного ответа.

– Разве не видите, олухи?! – кричал Красс. – Я же Красс! Вы слышали имя Марка Лициния Красса!

– Слышали, – отвечали из темноты.

– Так чего же вы медлите, олухи? Пропустите!

– Куда направляется господин?

– Вам же сказали, олухи! – кричал Красс. – К Сулле. По его приглашению.

Солдаты освещали факелами носилки под балдахином, молчали, что-то высматривали. Потом раздавался голос из темноты:

– Пропустить Красса!

И все это повторялось трижды!

Выйдя из носилок и ступив на мраморную лестницу, Красс ощутил на себе пытливые обволакивающие взгляды безоружной стражи. Дюжие парни улыбались, как бы пытаясь скрыть свои настороженные, колющие зрачки. Ликторов и носильщиков тут же увели в специально отведенное для них место. Подходы к площадке перед лестницей все время оставались свободными от людей. Красс заметил сверкающие дротики среди кустов и под деревьями. Сад, казалось, кишел солдатами настороженно, как на войне, следившими за каждым движением пребывающего... За каждым движением? Чьим? Врага? Но где здесь враги? Следили за друзьями? Скорее всего, так...

Красс замешкался на ступенях, оглядываясь вокруг и пытаясь уяснить, что же происходит здесь. В это время к нему подбежал центурион и вежливо – очень вежливо! – указал на тяжелую белую дверь.

– Сюда, прошу сюда, – сказал солдат. А сам не спускал с полководца глаз.

– Да я вижу, олух! – проворчал Красс. – Что это за представление у вас?

Солдат словно бы не расслышал этих слов.

– Сюда, прошу сюда, – настойчиво твердил он.

Красс махнул рукой и направился к верхней площадке лестницы – широкой как улица. Он с облегчением подумал, что наконец избавился от назойливых стражей. Ничего подобного Красс никогда не видел и не слышал. Правда, в Мавритании встречаются князья и царьки, окружающие себя все видящей охраной. Но такой, как эта?

Полководец повернулся назад, чтобы посмотреть, что делается там, внизу, на площадке, где он только что был. Однако внизу пусто. Никого. Будто никто и не встречал его и не расспрашивал. Высокий плечистый Красс с лицом квадратным, как у египетского князя, вдруг вспотел от непонятного чувства. Что за наваждение? – подумал он. Неужели все это приснилось? Куда исчезли солдаты?..

А когда, потерявшись в догадках, Красс решил продолжить свой путь – нос к носу столкнулся с высоченным детиной. То ли это мавританец, то ли загорелый самнит. Трудно сразу ответить на этот вопрос.

– Добро пожаловать, господин Красс, – чуть заикаясь, проговорил мавританец-самнит. И знакомая обволакивающая улыбка заиграла на лице и в глазах детины.

– Я тебя не знаю, – буркнул Красс.

– Это не удивительно, – ответил детина. – Зато знаю я тебя...

Красс быстро вошел в тяжелые и высокие двери, которые открылись как бы сами собою. А на самом деле ими управляли тоже солдаты, вооруженные наподобие гоплитов.

Атриум как бы выставлял напоказ все богатство хозяина этого дворца. Мрамор – белый и черный, бронза, золото и серебро – все брошено на пол, на стены, на потолок, на колонны. Светильники горели почти безо всякого чада. Их так много, что огромный атриум казался залитым солнечным светом.

За колоннами – через одну – тоже прятались какие-то субъекты. Полувоенные-полуцивильные. Они следили за входящим сюда тайно, не выдавая своего любопытства. Однако Красс явно чувствовал на себе изучающие, неприятные взгляды, уловить которые тем не менее очень трудно.

Весь этот чрезвычайный сыск произвел на Красса удручающее впечатление. Он понимал, что охрана нужна. Но такая? Но невиданная доселе? И неслыханная? Зачем? Или Сулла так напуган? Что-то не слышно о покушении на него... Давно не слышно! Или совесть у него так уж нечиста?

Красс невольно пожимал плечами и терялся в различных предположениях.

Он добровольно, только по своей воле взял сторону Суллы. После того как марианцы расправились с его отцом, ему ничего больше не оставалось. Спас свою жизнь бегством в Испанию, а затем – в Африку. И пришел на помощь Сулле, когда эта помощь нужна была позарез. Иными словами, нет у Суллы человека более преданного – преданного по своей доброй воле, – чем Красс. Правда у Красса своя голова. Красс не будет заискивать. Но ведь это только увеличивает уважение к его личности. А не наоборот. Если Сулла завоевал победу и сейчас находится в Риме – в этом заслуга и Красса. И немалая... Кто это может отрицать?.. Так почему понадобились этот унижительный допрос и унижительная слежка? Разве он явился убить Суллу? Или замышлял что-либо худое против Суллы?

Когда он ступил на порог обширной комнаты, переделанной для сего случая в трапезную, заметил много знакомых лиц. При свете ярком, немигающем. Они почтительно окружали Суллу, который был, как всегда, угрюм, мрачен, неразговорчив. Словно обидели его до смерти. Хозяин не обратил внимания на только что вошедшего гостя. Продолжал смотреть себе под ноги. Приглашенные на вечерю друзья тихо перешептывались, переминаясь с ноги на ногу.

Красс прошел вперед и напрямик направился к Сулле, вежливо прокладывая себе дорогу.

– Привет тебе, Сулла! – сказал громко Красс, поднимая правую руку.

Сулла наконец взглянул на него, кивнул и снова уставился в пол, точнее, себе под ноги. В комнате стало совсем тихо.

– Сулла, – сказал Красс, обращаясь не столько к Сулле, сколько к окружающим, – я должен задать один вопрос.

Сулла медленно поднял голову. Глаза его ярко голубели не то во гневе, не то в равнодушном презрении.

– Говори, – сказал он тихо, почти не двигая губами.

– Что происходит? – Красс указал на дверь, откуда появился только что.

– А что? – удивился Сулла.

Никто не проронил ни слова. Никто не вздохнул, никто не закашлялся. Стояла необычная напряженнейшая тишина. Красс прошелся быстрым взглядом по Долабелле, Торквату, Помпею, Фронтану, легату Руфу, маркитантам Африкану и Оппию, Гибриду, брату Суллы – Сервию и по его сыновьям – Публию и Сервию, по Лукуллу, Сервилию, зятю Суллы – Квинту Помпею Руфу и, наконец, по тишайшему на людях Эпикеду.

Этот беглый смотр не принес никаких особых результатов: все стояли словно каменные. Все словно воды в рот набрали.

Красс сказал:

– Я едва прошел сюда. Меня опрашивали так, точно я попал во вражеский лагерь. Если подобным образом поступили только со мною, то прошу объяснить, в чем дело. Если со всеми обошлись точно так же – тем более прошу объяснить, что здесь происходит?

– Ты взволнован, Красс, – сухо определил Сулла.

– Да, Сулла, взволнован.

– И напрасно...

Голос у проконсула казался безумно усталым. Говорил он тихо, вяло. Не пытаясь даже сделать над собою усилие, чтобы его слышали. Услышат – услышат. А нет – не надо. Не суть это важно...

– Что? – переспросил Красс.

– И напрасно, – повторил Сулла.

– Нет, – возразил Красс, – не напрасно. Разве ты трусишь, когда завоевана полная победа? Когда уже крепко держим власть в своих руках, а мы – с тобою?

Красс продолжал свои упреки. Он не понимал, к чему это унижение? Если имеется в виду плебейский род Красса, то род его не так уж беден. К тому же – уважаемый во всем Лациуме... Вот так!

Сулла не слушал. Исподлобья наблюдал за Долабеллой, скрестившим на груди руки, за Торкватом, прислонившим затылок к белоснежной колонне, за Помпеем и Фронтаном, потупившими взоры, за Руфом и маркиантами, не выражавшими ровным счетом ничего на своих физиономиях, за мрачным Бальбом и за тупым Децимом и своими недалекими родственничками. А этот Сервилий чему-то тайно улыбался. Едва заметно. Эпикед тоже примечал все. Подобно своему хозяину...

– К чему так длинно? – обронил Сулла. – Я должен охранять всех вас. Как добрый хозяин. И вас, и себя. – Он подчеркнул: – И вас.

Сулла глянул куда-то назад. Точно оттуда грозила беда. Красс развел руками. Ему нечего было возразить.

– О вас пекусь, – жестко, словно бы с огромным усилием выговорил Сулла.

И повернулся ко всем спиной.

Прошло несколько минут, в течение которых и хозяин и гости молча стояли на своих местах.

– О вас, – глухо повторил Сулла.

И все вздохнули свободно. Кроме Красса. Он продолжал недоумевать. Потому что ничего похожего на то, что увидел здесь нынче вечером, он никогда не видел. Не имело смысла дольше затягивать этот малоприятный разговор, но вернуться к этой теме когда-нибудь в будущем следует. Так решил Марк Лициний Красс...

Сулла пригласил гостей в таблинум коротким взмахом руки.

Это была огромная комната с книгохранилищем. Свитки папирусные, пергаменты и воощенные дощечки занимали чуть ли не половину помещения. Прекрасный стол, тонко инкрустированный черным и красным деревом, стоял в глубине комнаты. Кресла – одинарные и двойные – были обиты вавилонскими шелками, специально сотканными для обивки. Золото, серебро, бронза украшали стол: то это были хранилища для стила, то для чернил, то для пергамента, то для зубочисток. Небольшая шкатулка, украшенная смарагдом, служила футляром для набора финикийских глазных кристалликов: с их помощью улучшалось зрение и увеличивались предметы. А уж о светильниках нечего и говорить: они сплошь из золота, слоновой кости, ножки – из черного дерева. Ассирийские толщенные ковры, устилавшие изразцовый пол, поглощали малейший шум шагов.

– У этого купчишки недурной был вкус, – сказал Помпей. – Где он сейчас?

Сулла недолюбливал Помпея еще больше, чем Красса. Этот на все имеет свое мнение, что в конце концов можно пережить, наплевав на все его мнения. Дело в том, что и внешне мало уважителен. Одно дело – мнение, которое держишь про себя, и совсем другое то, что выставляешь напоказ. Едва ли тут дело обойдется без крупной ссоры...

– Где он сейчас? – спросил Сулла так, словно Помпей отлично знал, где именно скрывается купчишка с семьей. – Улизнул... Это тебя устраивает?

– Вполне, – ответил коренастый, плотно сбитый Помпей. Его волосы, коротко подстриженные, были ему не к лицу.

Сулла подошел к столу. Потрогал рассеянно безделушки, золотого слоника, серебряного лебедя, ларчик черного дерева. Глянул исподлобья на друзей, сгрудившихся прямо перед ним: их разделял отполированный, точно зеркало, стол.

– Прежде чем возлечь за пиршественным столом, – начал Сулла, – я бы хотел сообщить кое-что. Что может пригодиться нам. Особенно на будущее.

Он нахмурился пуще прежнего, вытер лоб платком. Вот-вот сообщит нечто неприятное, очень тягостное, горькое...

– Враги республики, враги отечества, – продолжал он, – грозят нам великими бедами. Я спрашиваю всех и каждого из вас порознь: можем мы равнодушно смотреть на это?

Все молчали. А Гней Помпей спросил:

– На что?

– Я же сказал, Помпей... – И Сулла помрачнел еще более. Этот молодой человек берет на себя слишком много. Сулла отвечает ему раздраженно: – Нельзя бездействовать, когда хорохорятся враги отечества.

– А я думал, что они разбиты, – пылко возразил Помпей.

– Ты так думал?

– Да.

– Ошибаешься, Гней. Жестоко ошибаешься! Или тебе захотелось изведать холода Мамертинской тюрьмы?

– Это угроза, Сулла?

– Да, – сказал Сулла, – угроза со стороны марианцев. Это они заточат тебя... Если, разумеется, победят нас.

– Как?! – не сдавался Помпей. – Ты говоришь об их победе, когда находишься здесь, на Палатине, в качестве победителя?

В разговор вмешался Гай Антоний Гибрид, худой от тщеславия и желчный от недостатка мужских способностей.

– Что я слышу? – сказал он Помпею. – Ты, молодой человек, ведешь себя не совсем учтиво по отношению к нам, старшим...

Сулла усмехнулся.

– Тебе ясно сказано! – Гибрид взглянул на Суллу. – Тебе, Помпей, сказано ясно! Враги отечества не дремлют. Стало быть, нужно то, что нужно. А что нужно – сейчас услышишь. – И обратился к Сулле: – О великий, мудрый и всеильный, продолжай свои золотые слова!

Молодой полководец так и обомлел. Ему захотелось увидеть Красса, но тот, как нарочно, спрятался где-то в углу, за спиною легата Руфа.

Сулла сказал:

– Благодарю тебя, Гибрид. Ты, как всегда, привносишь в беседы мир и благоразумие. – И продолжал далее: – Я не знаю, что завтра скажет сенат. Я потребую жестких мер в отношении врагов отечества. Я не потерплю самочинства, самоуправства. Республика требует дисциплины, самодисциплины. Республика нуждается в управлении, а не в болтовне. – Он почему-то сверлил взглядом Помпея. – Да, всем надоела болтовня! Я посмотрю, что скажет завтра сенат... Да, чтобы не забыть. – Сулла поискал глазами Децима и сказал ему: – Сколько пленных пригнали из Антемны?

Децим выступил вперед, срывая драгоценный ворс с ковра своими солдатскими башмаками на грубых гвоздях.

– Восемь тысяч, как один человек, – доложил он.

– Восемь тысяч? – Сулла подумал. – Запереть их всех в цирке Фламиния. Это рядом с храмом Беллоны. Ты понял?

– Очень даже, великий и мудрый Сулла!

Центурион, вдохновленный столь важным поручением, готов бежать на Марсово поле хоть сейчас.

– Я не знаю, что скажет сенат. Я завтра выступлю перед ним. Протяну ему руку дружбы. Я потребую примерного наказания врагов отечества. Сегодня мы еще церемонимся с ними, но завтра полетят головы.

Сулла вышел из-за стола, взял с треногого поставца кубок чистого финикийского стекла и, любуясь им, продолжал:

– Я много думаю и о своих друзьях. О тех, кто, не жалея жизни, бился за общую победу. Справедливо ли будет... – Он прошелся голубым взглядом по лицам своих друзей и остановился на Крассе. – Справедливо ли будет, если Красс окажется без крова, а какой-нибудь враг отечества тем временем будет наслаждаться в своем дворце на Палатине или Квиринале? А? – обратился он к Гибриду.

– О нет, великий и мудрый Сулла! – сказал Гибрид. – Это будет вопиющей несправедливостью! Почему Красс, которому тридцать с хвостиком, должен довольствоваться небом, в то время как некий марианец наслаждается в своем прекрасном доме? Такого марианца следует казнить, а имущество его конфисковать и передать достойному.

– Благодарю тебя... – сказал Красс и, немного замешкавшись, присовокупил: – О великий и мудрый!

И покраснел. Но, кажется, никто не обратил внимания на его стыдливый румянец. Все поглощены мыслями и мечтами, касающимися лично и только лично их самих.

Сулла обратил внимание своих друзей на весьма, как он выразился, «мудрые, проникнутые пониманием государственных интересов» слова Гибрида. Есть смысл, сказал Сулла, призадуматься над ними. (А сам, казалось, давно уже все обдумал.) А иначе получится полная чепуха, неразбериха. Одни – враги отечества – блаженствуют, а другие, проливавшие кровь за республику, влачат жалкое существование. Нет, это негоже! Тут следует кое-что исправить – вернее, уточнить. А еще точнее, изменить кое-что, к тому же весьма решительно...

Всем пришлось по душе его слова. Разумеется, это верно. Разумеется, так будет справедливее. Больше всех радовался Гибрид: да, э т о надо ускорить! Да, э т о надо провести в жизнь во что бы то ни стало.

Но вот молодой Помпей, кажется, чего-то недопонимает. Ему, видите ли, хочется разъяснений. Он, видите ли, сомневается...

– В чем? – жестко спросил Сулла.

– Вся республика погрязнет в судебных процессах, – сказал Помпей.

– Это почему же?

– Потому, что надо доказывать вину квиритов. Надо конфисковывать имущество. – Помпей разводил руками, предвидя чрезвычайные трудности в этом отношении. – Исходя из римских законов.

Сулла усмехался. Гибрид тоже. По-видимому, у них уже наготове убедительный ответ.

– Ерунда! – сказал Гибрид. – Этот вопрос не стоит и выеденного яйца!

– Но ведь... – начал было Помпей.

Гибрид остановил его. И пояснил, как школьнику:

– Достаточно одного решения сената...

– О чем?

– О проскрипционных списках.

Помпей не понял.

– О списка-а-ах, – пропел ему Гибрид. – Составляются списки врагов отечества... Понял?

– Понял.

– Затем по этим спискам конфискуются дома, деньги, все имущество. Понял?

– Понял.

– Затем на основании тех же списков враги отечества получают от палача то, что они заслужили. Понял?

Помпей кивнул.

Гибрид торжествовал. Это будет всеобщее и полное возмездие врагам. Без проволочек. Без волокиты.

– А как же наши законы? – не унимался Помпей.

– Все пойдет на законном основании. Как по маслу, – объяснил Гибрид и посмотрел на Суллу. Тот утвердительно кивнул ему. – Это будет новый закон в защиту республики. Понял?

Помпей ответил:

– Понял?

Почему-то в вопросительной форме. Как видно, машинально.

Сулла занял место за столом. Осторожно поставил перед собой стеклянный кубок. Поднял на друзей усталые глаза, бледное лицо. (Даже красные крапинки побледнели.) И кратко изложил свои мысли:

– Друзья мои, предстоят нелегкие дни. Поэтому самую мысль об юридическом, судебном крючкотворстве следует отбросить напрочь. Словно гнилое яблоко. Коль мы займемся крючкотворством – нас непременно перехитрят наши враги. А что еще остается им, как не крючкотворствовать? Поэтому уважаемый Гибрид прав: нужны списки, единые списки, которые можно дополнять ежедневно, ежечасно. Просто дописывать. Вот тогда-то затрепещут наши враги, и тогда-то сумеем, поговорить с ними на понятном им языке. – У Суллы голос повышался, начинал звенеть, как бронзовая пластинка. – Эти списки, которые Гибрид назвал проскрипционными, позволят нам быстро расправиться с врагами. А иначе нам придется без конца с ними дискутировать. И неизвестно еще, кто эту дискуссию выиграет. Я предлагаю: никакой пощады врагам отечества! Никакого снисхождения врагам республики! – Сулла тряс обоими кулаками. – Вы скажете (он почему-то посмотрел на Помпея), что возможны беззакония при этом, несправедливости, ибо мы не боги. Я спрашивал на этот счет волю богов. Специальные ауспиции авгуров на этот счет подтвердили нашу мысль: да, несправедливости могут иметь место, ибо мы не боги, но что эти несправедливости ничтожны по сравнению с тем большим делом, которое совершим... Вы можете сказать: а как же сенат? Да, мы не можем не считаться с его мнением. Но, получив согласие сената, мы кровью и железом проведем его в жизнь. Горе сенату, который не поймет нас.

Это заявление вызвало рукоплескания. Все друзья, включая Помпея, рукоплескали: долго, искренне, радостно.

Гибрид бросился к Сулле и поцеловал ему руку. Все последовали его примеру. А Фронтан сказал:

– Не смею прикасаться к тебе, о великий и мудрый!

И поцеловал тогу. В нижний конец. Для этого ему пришлось распластаться на ковре. После всего этого поцелуй Помпея в грудь выглядел сущим бунтом. На сей раз Сулла простил ему...

– Я хочу выразить общее мнение, – воскликнул радостный Гибрид. И, дождавшись тишины, продолжал: – О мудрый и великий Сулла! Мы выслушали твою, как всегда, умную речь, полную государственной мудрости. Мы верим тебе. Мы идем за тобой. Мы сделаем все, что ты прикажешь. Только скажи слово. Только прикажи нам. Я полагаю, друзья мои, – Гибрид повернулся на каблуках кругом, чтобы всех увидеть, и снова обратился лицом к Сулле, – я полагаю, что мы, все присутствующие здесь, должны поддержать Суллу, его авторитет. Подчас он мне кажется божеством. – Гибрид воздел руки, прикрыл глаза. – Да, да, божеством! Ибо он все делает мудро. Его поступки предразмерены. Его действия предопределены. Я бы сказал, свыше. Ибо боги – на его стороне, ибо счастье – всегда с ним, ибо – с Суллой всегда и во всем победа! И только победа! Пусть он не сердится. – Сулла сделал вид, что хмурится пуще прежнего. – Я знаю его солдатскую скромность. Мы все знаем ее! Он для меня бог!.. Посмотрите: вот идет Сулла! А за ним – самые родовитые и богатейшие из граждан. Они кричат: «Отец наш!», «Спаситель наш!» Да, он бог. Это точно! Вот кто для меня великий и мудрый Луций Корнелий Сулла!

С этими словами Гибрид повалился грудью на стол, достал руку Суллы и облобызал ее с великим рвением. И все закричали:

– И для нас – он божество!

Сулла заткнул уши. Отвернулся от них. А когда друзья поутихли, поугомонились, повернулся к ним со слезами на глазах и промолвил:

– Спасибо за преданность... А теперь прошу всех в триклиnum.

И указал на дверь. Воистину божественным жестом. Он дождался, пока вышли все. И тут к нему подошел Африкан. Маркитант.

– О божественный, – сказал он тихо, – после ужина тебя ждет нечто.

И закатил глаза от предстоящего удовольствия.

– Где? – спросил Сулла, оживившись.

Маркитант указал на книги.

– Не вижу, Африкан.

– А ты разгляди получше, божественный. Видишь? – потайная дверь.

И Африкан поманил Суллу. Тот медленно, снедаемый любопытством, направился за хитрым маркитантом. Стоило посильнее толкнуть полки с книгами – и они подались. И оттуда – навстречу – пошел сладчайший запах духов вместе с желтым, тусклым, манящим светом.

Сулла переступил порог и действительно увидел нечто: на коврах и низких ложах возлежали нагие девицы. Сколько их? Разве счастье эти белые и смуглые ноги? Эти ягодицы? Эти груди? И губы, бесстыдно зовущие к любви...

Тихие звуки арфы заливали чудо-комнату.

Сулла поклонился. Девушки замахали руками.

– Скорее же! – крикнула одна из них.

Сулла улыбался. Он счастлив. И он сказал Африкану, чтобы слышали все:

– Я приду сюда ко второй страже. А к тому времени чтобы навезли сюда лучших цветов, лучших вин и всего, что пожелают эти царицы. – Он вспомнил. – И духов, Африкан! Как можно больше духов! И фалерна вместе с летним снегом!

2

Солнце проникало в эту узенькую улицу, – которую в пору назвать щелью меж пятиярусных домов, – только в полдень. А по утрам здесь царил сумрак горных ущелий Цизальпинской Галлии. И прохладно так же, как и там.

Во втором часу утра – лавки только-только открылись – перед колбасником Сестием появился некий центурион с золотыми и серебряными запястьями на левой руке. Шлем его блестел, точно золотой. И туника под кольчугой красовалась чистейшим белоголубым цветом. Башмаки отличные. Хотя и солдатские. Из прекрасной кожи...

Сестий не узнал, кто этот бравый центурион – загорелый, широкоплечий и, судя по осанке, человек денежный. Ибо у денежного – одна осанка, а у бедного – совсем иная.

– Узнаешь, Сестий? – сказал центурион.

Колбасник отставил нож и уставился на солдата. Протер глаза, будто только что проснулся.

– Нет, – признался он.

– А ну, взгляни-ка получше...

– Чтоб я издох, не узнаю, – сказал Сестий из Остии.

– Зачем издыхать? – улыбнулся солдат. – Жить надо!

– Погоди, чтобы мне издохнуть! – вскричал колбасник. – Ежели ты не Крисп, то его двойник! Это наверняка!

– Он самый, – сказал Крисп. – И не удивляйся через меру: у тебя глаза и так на лоб лезут.

– Верно, лезут! – Колбасник выбежал из лавки и бросился к центуриону. И что-то кричал на радостях.

А солдат стоял неподвижно, как памятник. Самодовольно улыбался. Эдак свысока. Покровительственно.

– Входи ко мне, – приглашал Сестий. – Давай закусим и выпьем кисленького.

Центурион милостиво согласился. Величественно вошел в лавку. Снял великолепный шлем.

Сестий живо собрал на низенький столик вполне приличный завтрак: колбасу луканскую, колбасу из ливера и вавилонскую – из бараньего курдюка. Вино тоже можно пить, хотя оно и не фалернское: чуть отдавало уксусом.

– Рассказывай, Крисп... Ты стал такой важный. Изменился. И денежки, должно быть, завелись.

– Есть, не скрою, – признался Крисп, запихивая в рот колбасу.

– Много, должно быть...

– Не очень. Когда их зарабатываешь кровью – денег много не бывает. Потому что и крови ведь в тебе всего пять кружек. Не более.

– Где бывал? Рассказывай, Крисп.

Крисп выдул вино. Единым духом. Утер тыльной стороной ладони усы – такие непривычные, рыжие, щетинистые – и в двух словах доложил. По-солдатски скупое. Но ярко. Дескать, во Фракии проткнул пузо доброму десятку врагов, под Афинами сломал шею дюжему детине, в Афинах отрубил всего пяток голов, а в Троаде, что в Малой Азии, придушил пятерых. Был ранен: в зад, в бедро и в левую руку. Выжил, словом. И вот теперь в Риме. Сулла на коне. Марий в могиле. Полный порядок!

– Ну, а деньги? А земля? – допытывался колбасник.

– Что деньги? – сказал, откашлявшись, Крисп. – Главное – награды. – И он показал руку.

– Вижу, – сказал колбасник. – Но это еще не деньги. И не земельный надел. И даже не дом.

Крисп хлебнул вина. И сказал:

– Дом получу. Может, завтра.

– Как это получишь?

– Очень просто...

– Дом? Просто? – изумился колбасник. У него даже нижняя челюсть отвисла: его поразила самоуверенность центуриона. – В Риме или где-нибудь в провинции, Крисп?

– Почему в провинции? В Риме, конечно.

– И ты не шутишь?

– Нет.

Колбасник замотал головой: все это поразительно. Он посмотрел на Криспа, точно желая убедиться: тот ли это Крисп или не тот? Тот ли, который ушел в поход пять лет тому назад? Который желал победы Сулле? Да, это, по-видимому, тот самый. Только очень важный. Знающий себе цену... Загоревший на солнцепеке. Здоровенный такой... Чтобы

приобрести дом, надо иметь деньги. Немалые. Их, правда, можно добыть в походе. В удачном походе. И все-таки на дом достанет едва ли. Это полководцы, проконсулы, преторы, легаты могут разрешить себе покупку дома. Потому что набивают себе в походах денежные мешки до отказа. И эти маркитанты тоже. Зарабатывают на чужой крови, на кислом вине и пересоленных оливах и на прелом хлебе. Известное дело, кто с войны приходит с сестерциями, тетрадрахмами, секелями и даже талантами золота и серебра. Но чтобы простой центурион? Вроде Криспа?.. Очень странно. И колбасник униженно просит открыть секрет чуда.

– Чуда? – усмехается Крисп, кидая на столик недоеденный кусок копченой колбасы. – При чем здесь чудо? Ты, Сестий, рассуждаешь, как человек вчерашнего дня.

– Я?

– Да, ты.

– Как это – вчерашнего дня? – Колбасник замахал руками. Его пунцовые щеки запрыгали от наигранного гнева. – Ты мне зубы не заговаривай. В Остии это делают почище, чем в Риме. Я – тертый. Старый воробей. Ворон, вскормленный на падали. Овечка, которую поили чистым молоком. У меня глаза и на затылке есть. Понял?

Крисп задумался. А потом откинулся назад, прислонил спину к сырой стенке. Хитро прищурил глаза.

– Ты – дурак, Сестий, – сказал он спокойно и тихо.

– Спасибо...

– Идиот круглый.

– Наверное...

– Олух...

– Это в самую точку.

– Болван из болванов.

– Угадал...

– Мышь безмозглая.

– Ты же меня, оказывается, хорошо знаешь, Крисп.

Они говорили эти слова в тон друг другу: без злобы, почти дружески.

– А теперь слушай, – сказал колбасник. – Ты – свинья.

– Возможно.

– Напыщенный гусь.

– Похоже, Сестий!..

– Меня принимаешь не за того.

– Едва ли...

Сестий наклонился, взял его за руку:

– Послушай, Крисп: я не сумасшедший. В Риме домов не раздают. Здесь нужны денежки... Где их возьмешь?

– Ладно, – проворчал центурион. – Скажу. Только – язык за зубами. Согласен?

– О да!

– В противном случае... – Солдат бросил красноречивый взгляд на меч, прислоненный к стене.

– Шутишь, Крисп...

– Нет. Я это очень серьезно. – И голос изменился у Криспа: он точно шел из Мамертинского подземелья.

– Буду молчать как рыба, Крисп.

– Поклянись!

– Клянусь всеми богами! – Колбасник молитвенно поднял руки.

– Ладно...

Крисп налил себе вина. Спросил, есть ли еще. Нет, не оказалось вина. Ведь и так выдули почти целую урну.

– Я буду жить на этой улице... Вон в том конце. Там сейчас живет некий богач.

– Богач?.. Наш покупатель?

– Чей это – ваш?

– Мой... Марцелла... И... и...

Слова застряли в горле у бедного Сестия, который, несмотря на злой, колющий язык, в сущности, был мелким трусишкой.

– Так вот... – Крисп нахмурился. Стал мрачней тучи. Туго сжал кулаки. – Будет ему – он пожил в свое удовольствие.

– Ты это про того?.. У которого пухленькая жена?.. Пухленькая дочь?.. Слуги черномазые?..

– Ага, он самый, Сестий.

– И он отдаст тебе свой дом?

– Наверное.

– Вы торговались?..

Центурион усмехнулся:

– Он слишком долго интриговал против великого и мудрого Суллы. Теперь – довольно!

Крисп решительно поднялся, подпоясался мечом, надел шлем. Вышел на улицу. И бросил через плечо с каким-то злорадством. С особым удовольствием:

– Можешь явиться на оплакивание: я ему несу черную весть.

Колбасник, кажется, понял наконец, в чем дело. Он только и вымолвил с большим трудом:

– Как?.. Прямо с утра?..

Центурион зашагал:

– А чего ждать? С утра удобнее. И ванна, наверное, уже готова...

И шаги его гулко отзывались на пустынной улице.

Колбасник остолбенел. Ему с трудом верилось в услышанное. Что же это такое? Несут смерть человеку? Который ничего не подозревает? И совсем без суда? При посредстве этого бездумного Криспа?.. Нет, не верилось в это...

Сестий бессмысленно взирал на дома и узкую щель меж ними. У него земля закачалась под ногами. Заходила ходуном...

– Чем ты любишься? – услышал за собою колбасник.

– Это ты?

– Да, я.

Башмачник Корд тоже глядел в ту сторону, что и Сестий. Но там, впереди, – ничего, кроме сумрака и утренней прохлады.

Колбасник протянул руку. Что-то хотел сказать. И не мог. Ноги у него тряслись. Пухлая челюсть отвисла. Глаза потускнели. От страха...

– Что с тобой, Сестий?

Башмачник ничего не понимал: стоит онемевший человек, вытянул руку, разинул рот. Что все это значит?

И вдруг в конце улицы раздались душераздирающие крики. Спустя несколько минут на улицу выбежали женщины в домашнем платье. Они ломали руки и зывали о помощи.

– Послушай, – рыдая, проговорил Сестий. – Это – Крисп... Он с мечом... Там кровь... Не надо!

3

Децим подходил к знакомой ограде с тяжелым сердцем: Коринна вчера вечером оказала ему слишком сухой прием. Он умолил ее выйти еще раз нынче вечером. Центурион сообщит ей что-то очень важное, и пусть тогда решает сама, что и как.

Не прельстили ее его награды. Ни шрамы, полученные в битвах. Ни земельные угодья в Кампанье, которые обещал Сулла своим ветеранам.

Децим дивился сам себе: ни от кого не стерпел бы он столько унижений и обид, сколько терпел он от Коринны. Ну, да ничего не поделаешь – любовь!

Он направился к заветной калитке, откуда вела тихая аллея к одинокой скамейке. Светила луна. Где-то раздавалась счастливая песня о любви. Пел женский голос. Нынче песня раздражала Децима: есть же на свете счастливая любовь, пес ее побери!

Толкнул калитку сапогом. Хрустнул под ногами мелкий гравий. Лунный свет пробился сквозь листву и застыл на дорожке серебряными монетами. И – о чудо! – из-за куста показалась Коринна. Он тотчас узнал ее. Он не мог не узнать ее! Этот запах заморских духов. Это шуршание шелка... И густые волосы... И гибкий стан... У кого же еще может быть такое?..

Коринна кинулась к нему на грудь. И он чуть не упал от счастья. Она шептала какие-то нежные слова... А он обомлел. Превратился в истукана... Коринна взяла его за руку и повела точно вола безропотного на живодерню...

– Скорее... Скорее... – говорила она, сгорая от нетерпения. И усадила на заветную скамейку.

– Я соскучилась, – призналась она.

Он молчал. Обалделый. Язык у него запал. От радости невероятной. Этот грубый во всем человек был сущим юнцом в любви...

– Что же ты молчишь, Децим?

Ее ножки чертили носком башмачка непонятные знаки на земле. Рука ее лежала на его руке. Он смотрел куда-то в темень, не в силах раскрыть рот и ответить на ее простенький вопрос:

– Ты не любишь меня, Децим?

Он вздрогнул. Прохрипел:

– Кто тебе это сказал?

– Не любишь. Я же вижу. Не слепая.

– Это ты не любишь.

– Неправда, Децим!

Он облизнул сухие губы. Поправил меч, который упирался ему в бок тяжелой костяной рукояткой. И к нему постепенно вернулся дар речи.

– Коринна...

– Слушаю, милый.

– Ты меня мучила? Испытывала? Да?

– Да, Децим.

– Все женщины так поступают?

– А разве ты не знаешь этого?

Она на минутку задержала на нем свой взгляд. Взгляд острый, взгляд опытной римлянки. Он показался ей таким большим, сильным младенцем. И вдруг умилилась. Дивясь тому, что способна еще умиляться, Коринна провела ладонью по его голове. И он ссутулился, точно на него взвалили тяжелую каменную глыбу.

– Тебе неприятно, Децим?

– Напротив... – прохрипел он. – Совсем даже напротив.

– Бедненький ты мой... – И поцеловала его в кончик носа. А он сидел смирный, совсем тихий. И посапывал от волнения. Коринна взяла его грубую и большую руку в свои крошечные и прохладные, как мрамор.

– Я согласна, – сказала она тихо.

– Что? – спросил он. Скорее промычал, как теленок.

– Согласна, дурачок, согласна...

Он вытер губы грубою ладонью. Как это делают каменщики.

– Замуж, что ли?

– Ну да...

Децим глубоко вздохнул. И сказал:

– Не верю.

– Посмотри на меня, Децим.

Он увидел красивое, покрытое белилами лицо, румяна на щеках и губах и окрашенные в медно-рыжий цвет волосы.

– Смотрю, – сказал он.

– Ты же просил моей руки.

– Руки? – Он удивился. – Я хотел жениться на тебе.

– Это одно и то же, мой дурачок. Я согласна. Ты понял?

Он кивнул.

– Когда же, Децим?

– Хоть сейчас.

Она расхохоталась. Неестественно. Громко. Чуть визгливо.

– Сейчас нельзя, Децим. Мы всё должны сказать моим родителям. А то они в обморок упадут от неожиданности.

– Делай как знаешь.

Она повела его к дому, который в глубине сада. Как телка. И он послушно шагал за нею, не замечая того, что ее тревожит. Что тревожит больше, чем предстоящее замужество. Она озиралась по сторонам. Она торопилась. А он следовал за нею.

На широкой аллее, которая вела от главных ворот к дому, их встретили чужие люди. Они несли факелы. И громко разговаривали. Коринна узнала среди них только своего привратника.

– В чем дело? – властно спросила Коринна.

Привратник объяснил, что явились солдаты и требуют хозяев.

Коринна кинулась к Дециму, ища защиты. Центурион мгновенно выхватил меч.

– Эй, солдаты! – крикнул он. – Кто здесь начальник?

Вперед выступил здоровенный детина.

– Я, – сказал он. – Кто ты такой?

Децим зарычал:

– Я центурион Децим. Преторианец великого и мудрого Суллы, Что тебе надо здесь, негодяй!

Солдат вытянулся. Оглядел Децима с головы до ног.

– Нам приказано занять этот дом.

– Кто приказал?

– Его светлость Гибрид.

Децим блеснул мечом на лунном свету:

– Иди и скажи твоему Гибриду: такой-то двор и дом, дескать, уже занял центурион Децим! Слышишь?

Солдат появился немного:

– Так и сказать?

– Да.

– А он тебя знает?

– Отлично! Как самого себя!

Чтобы не связываться с грозным центурионом, солдаты повернули обратно. И скрылись за воротами.

Коринна дрожала словно лист на ветру. И он осторожно повел ее к дому. Ко входу, освещенному двумя большими мраморными светильниками.

4

Легат Руф подошел к кафедре и сказал Сулле:

– Все готово.

– По моему знаку, – пояснил Сулла. – Как только начну потрясать кулаками.

– Будет исполнено! – сказал Руф и мелкими шажками направился к окну, откуда цирк Фламиния виден весь как на ладони.

Сенаторы восседали на своих скамьях мрачные. Иные злобно поглядывали на кафедру, пытаясь не замечать оратора, перебиравшего записи на пергаменте и воощенных дощечках. Тяжелая атмосфера царила в храме Беллоны, что на Марсовом поле, рядом с цирком Фламиния. Вот-вот что-то должно решиться, и это «что-то» зависит только от одного человека... Но до «любимца богов» ему еще далеко! Сенаторы в этом уверены. Они сейчас покажут ему, что значит сенат великой Римской республики. Но так думали мужи недаленовидные. Более умные готовили про себя речи умеренные, по возможности двусмысленные. Сенаторы из патрицианских родов, обуреваемые тщеславием, грозились в душе этому Сулле. Разные там юлии, аппии, клавдии, эмилии полны решимости дать бой и осадить зарвавшегося Эпафродита. Пусть только он выскажется! Пусть откроет свои замыслы! Пусть скажет, как намерен сотрудничать с сенатом... Войти с войском в Рим – это еще не все. Это еще не власть. Истинная римская власть здесь, в сенате. И пускай не воображает Эпафродит новоявленный, что он всемогущий. Терпение сенаторов имеет свои пределы. Кто пренебрежет им – тот раскается. Рано или поздно.

Сенаторы торжественно молчали. Ни один приветственный хлопок не раздался под сводами храма. А Сулла, казалось, и не ждал иного приема. Глянул исподлобья на

сенаторские ряды и – пошел перебирать записи, точно находился в своем таблинуме, а не в священном и всемогущем римском сенате.

Молчание затягивалось. С каждой секундой оно приобретало все более мрачную окраску. Даже сенаторы покашливали тихо-тихо. В кулак. И не переговаривались вовсе, как это бывало.

Но Суллу вовсе не тревожит эта тишина. Он, по-видимому, знает, что делает. Одну минутку... Он свое скажет. И тогда – пусть раскроют свои рты и выскажутся. После этого подумаем, что и как...

– Уважаемые и многомудрые сенаторы, – начал Сулла тоном, который свидетельствовал о том, что никакого уважения не питает к ним, а тем более вовсе не считает их многомудрыми. Слова донеслись до сенаторов, и каждый из них почувствовал, как презирает их этот человек с белым лицом в красных крапинках, с плотно сжатыми губами и голубыми глазами. Хмурый, подозрительный человек! Сенаторы невольно переглянулись, поерзали немного на скамьях и сделали вид, что успокоились.

Сулла продолжал в суровом, пророческом тоне. Он говорил:

– Римская республика, явившая миру немало чудес и подлинной мудрости, находится в опасности. Пока мы сидим здесь с вами, где-то под боком, наверное, зреет заговор и тиран уже точит ножи против вас, против меня. Пусть никто не обольщается на этот счет! У меня имеются надежные свидетельства.

Легкий шепоток пронесся по рядам. И это очень странно: обычно сенаторы реагировали довольно бурно и бесцеремонно. Но на сей раз, как это отмечали историки, дело ограничилось вышеуказанным шепотком.

Сулла посмотрел прямо перед собой. Прислушался. И преспокойно продолжал свою речь ровным, не очень громким голосом. Не надрываясь. И не особенно заботясь о том, чтобы голос его звучал громко. Он следовал правилу: кто хочет – тот услышит...

– Всегда, я это подчеркиваю, – говорил Сулла, – всегда найдется авантюрист, который пожелает испытать прочность нашего республиканского строя. Ведь в свое время Марий-старший сел вам на шею. А может быть, сидел бы и до сих пор, если бы не смерть.

Это утверждение Суллы возмутило сенаторов.

– Оскорбление!

– Недопустимо!

– Что он говорит?!

Эти выкрики неслись со всех сторон. Сулла замолчал. Неторопливо перебирал свои записи и ни разу не посмотрел в зал. Он просто ждал, когда поуспокоятся разбушевавшиеся сенаторы и дадут ему возможность продолжать. Незаметно Сулла бросил взгляд в сторону окна: Руф стоял на положенном месте и напряженно ждал условленного знака. Он боялся запоздать или пропустить его. Этот легат Руф, занявший позицию у окна, стоил значительно больше, чем все эти сенаторы, полные амбициозности, – настоящие индюки...

Сулла говорил, не обращая внимания на шум:

– Я иду дальше. Что следует предпринять в этих тревожных условиях? Сдаться на милость судьбе, которая бывает переменчива? Или самим взять в руки собственную судьбу? Наверное, второе. И я уверен, что на этом пути встречу у вас полное понимание и поддержку. Давайте же все вместе будем укреплять нашу Римскую республику. На страх врагам! На благо многочисленным друзьям во всем мире!

Сулла пытался говорить торжественно. Даже патетически. Но никто не заметил этой патетики. И не поддержал ни единым, возгласом, ни единым жестом. Сулла отмечал впоследствии в своих «Воспоминаниях», что не верил в сплошную оппозицию всего сената, дескать, многие предпочитали не выражать своего мнения открыто.

Проконсул ударил кулаком по кафедре. Руф встрепенулся, но это еще не был тот самый условленный знак.

– Послушайте, – сказал Сулла, и его глаза проšliсь по рядам каменных лиц и праздничных тог. – Или мы раздавим наших врагов безо всякой пощады и не мешкая, или мы распишемся в своей несостоятельности защищать республику и ее народ от всех и всяческих посягательств! Я надеюсь, о мужи, что будем сотрудничать друг с другом – все вместе и порознь – в этом жизненно важном деле! Не для того я шел целых два года к Риму, не для того мы проливали два года кровь в междоусобной войне, чтобы ставить под угрозу нашу победу. Оптиматы не допустят этого!

Сулла сделал паузу. Длиннее, чем того требовало ораторское искусство. И принялся перебирать бумаги. Сенаторы убедились, что Сулла никакой не оратор. Говорит просто, излагает свои мысли, вовсе не заботясь о красоте и изяществе.

Сулла словно бы решил окончательно утвердить в этом мнении всех сенаторов: кашляя, что-то искал и не находил, долго собирался с мыслями. Это становилось бы смешным, если бы не ощущение надвигающейся беды. Если бы Луций Корнелий Сулла предстал перед сенатом даже совершенно косноязычным, то и в этом случае его слушали бы затаив дыхание. Ибо сила содержалась не столько в его слоге, сколько в его кулаках. Кто этого не понимал? Все, все понимали. Но так же всему миру известно, что римский сенат своих слов на ветер не бросает.

Многие говорили: нашла коса на камень. Это о Сулле и сенате. Затупится ли коса или расколется камень? – вот в чем вопрос. Это будет ясно сегодня. Не далее вечера. Деловой Рим не уснет всю ночь, обсуждая результаты действия сенаторов и поведение Суллы. Все, все выяснится сегодня. До первой стражи...

Кажется, Сулла вспомнил что-то важное. Сверкнул очами и тихо сказал:

– Первое, на что следует обратить сугубое внимание, – это наказание всех врагов отечества, особенно их главарей. Соответствующие списки врагов я представляю вам для утверждения. Эти списки должны быть освящены высоким авторитетом сената. Иначе я не мыслю этого. Ваше утверждение должно придать спискам силу закона. И закон будет подлежать неукоснительному претворению в жизнь. Только так! – Сулла еще раз хватил кулаком по кафедре. Казалось, что перед ним – ученики, а на кафедре – рассерженный учитель. – Все корни и корешки предательства должны быть вырваны, чтобы никому не повадно было в дальнейшем покушаться на порядки великой республики. Но этого мало.

Я предлагаю предоставить особые полномочия кому-нибудь из тех, кто присутствует нынче в этом священном храме великой и грозной богини. Какие это полномочия? Я их назвал бы чрезвычайными. Это лицо должно составить списки лиц, замешанных в действиях против республики. Имущество должно быть конфисковано, а хозяева – разбойники и душегубы – приговорены к смерти. Да! Только так!

И Сулла поднял кулаки вверх. Высоко над своей головой. И потряс ими. Угрожая врагам отечества. Он тряс долго. Исступленно. Глаза его, казалось, исторгали молнии. И сенаторам стало не по себе.

Легат Руф поднял руки вверх и резко опустил в стороны. Он это проделал трижды. И вдруг арена цирка Фламиния взревела. Точно огромное стадо львов. Этот рев – нечеловеческий, душераздирающий – достиг храма. Стены сотряслись от того рева, все загудело внутри. Сенаторы схватились за головы, не понимая, что же стряслось. Они повскакали с мест. Испуганно справлялись друг у друга: в чем дело? Что случилось? Кого тут режут? А то, что режут, – не просто убивают, а режут, как свиней, – в этом нет никакого сомнения...

И только один сохранял холодное спокойствие. Только один не волновался. Только один не обращал ровным счетом никакого внимания на душераздирающие крики, доносившиеся со стороны цирка Фламиния. Это был Сулла. Он искал какую-то запись, весьма важную. И не находил ее. И наконец поднял глаза. И увидел, что сенаторы мечутся в великом беспокойстве.

– Что тут происходит? – возвысил голос Сулла.

– Ты спрашиваешь нас? – разом заговорили несколько сенаторов. – Разве ты не слышишь?

Сулла сделал вид, что прислушивается. И крикнул:

– Да, там что-то происходит. – И поманил к себе легата Руфа. Тот что-то тихо доложил. Сулла удовлетворенно кивнул и поднял правую руку, требуя тишины и порядка. – О мужи! – крикнул он. – На этой арене, что совсем рядом, мои солдаты преподают предметный урок тем, кто не внял голосу разума, тем, кто бездумно боролся против нас с вами.

И Сулла сообщил оцепеневшим сенаторам, что восемь тысяч человек – пленников из Антемны – обретут достойный конец: их прирежут, как свиней. Так что нет причин для особого беспокойства. Сулла просил занять свои места и дать ему возможность договорить, ибо имеет сообщить нечто очень важное.

Вспотевшие от волнения и страха сенаторы послушно заняли свои места. Им недоставало воздуха. Многие из них сжимали себе виски, затыкали уши, чтобы не слышать рева почти двух легионов молодых, здоровых воинов, которым под ребра всаживали кривые карфагенские и испанские ножи. Всаживали вероломно, без суда, без предупреждения, безоружным. Это была кровавая, невиданная доселе расправа. И выдавшие виды сенаторы сидели на своих местах ни живые ни мертвые.

Ужасающий человеческий вой продолжался, а Сулла, найдя наконец нужную запись, обратился к сенаторам со следующими словами:

– Прошу не обращать внимания на пустяки. Будет значительно полезнее для дела, если вы подадите мне совет. Мудрый совет. – Говоря это, он оставался холодным, хмурым, спокойным. – Итак, я прошу вас, о мужи, наделить меня полномочиями составлять списки. Так называемые проскрипционные. Это название придумано нашими учеными. Я не уверен, что это название вполне подходящее, ну да это не беда! Дело, в конце концов, не в названии, а в сути. Я заверяю вас, что буду беспощаден к врагам отечества, ко всем этим популярам и прочей нечисти. Все же прочие честные люди получают надежную защиту. Республика их не оставит. Ежели я не заслужу вашего доверия... – Сулла недовольно глянул в сторону цирка, где добивали последних защитников Антемны, – ежели я не смогу заслужить доверия, то не буду в обиде. Сенат превыше всего!.. Вы назовете имя другого достойного лица. Это следует сделать нынче же. Не сходя с этого места. В этом священном храме. Вот моя первая просьба...

Вой на арене понемногу стихал, уступая место хрипу. Предсмертному хрипу тысяч и тысяч людей. Палачи, видимо, отлично были подготовлены. Они не торопились умерщвлять свои жертвы, связанные по рукам и ногам. Нанеся удар, они извлекали из жертвы такие звуки, которые способны были разорвать даже каменное сердце.

Многие сенаторы, боясь гнева Суллы, оставались на своих местах. Иные уже не владели собой, ибо тело их расслабло до предела, а разум готов был помутиться. Но были и сторонники Суллы, хотя в ничтожном меньшинстве.

– Вторая просьба моя состоит в том, – продолжал Сулла, – чтобы вы оказывали мне столь же важную поддержку, как сегодня, и далее. Чтобы я мог ссылаться на ваш авторитет, – на мой взгляд, непререкаемый.

Его слушали и не слушали. Сенаторы были готовы на все, лишь бы кончились эти невыносимые крики, чтобы скорее убраться отсюда куда-нибудь подальше. Они взирали на Суллу, как кролик на змею.

Сулла говорил:

– Если угодно, мы вместе с вами подадим голоса в соответствии с традицией: вот белые и черные шарики, вот ларец, а вот и вы. Но можно...

Сенаторы согласны на все. Кто-то крикнул сзади, что не требуется дальнейшего обсуждения. Все ясно! И сенат, как один человек, голосует за предоставление великому и мудрому Сулле необходимых чрезвычайных полномочий.

Полководец обратился к семейографам:

– Запишите эти слова как единогласное мнение сенаторов. – И бросил в зал: – Верно ли я говорю?

– Верно! Верно! – раздались голоса.

В цирке стихло. На дворе сияло яркое солнце, и островерхие, почти черные кипарисы оттеняли голубизну небес. На землю сошла великая благодать летнего дня, исполненного гармонии и спокойствия.

Сулла заключил свою речь следующими словами, доподлинно зафиксированными официальными семейографами сената и целиком включенными в «Воспоминания»:

– О сенаторы, мужи многоопытные и многомудрые! Греки – те, которые жили лет триста тому назад, – завершив великое дело, воздавали хвалу богам и приносили обильную им жертву. Сегодня мы не будем следовать этому обычаю, ибо стоим на пороге больших дел. Мы – в начале пути. Но путь этот представляется мне нелегким, тернистым. Многие из нас наколют пятки о шипы. Мы увидим в изобилии кровь и слезы. Кровь виновных и невинных. Я не пророчу. Я говорю то, что знаю, что вижу своими глазами. Однако интересы республики превыше всего! Мы не можем позволить одному или нескольким тиранам поработить Рим и его великий народ. Мы пресечем что-либо подобное в самом корне. Я в этом смею заверить вас! Я выполню ваше поручение. Я буду руководствоваться полномочиями, которыми вы наделили меня. Великое вам спасибо!

Сулла поклонился.

Руф – легат Руф – выскочил на середину зала и крикнул, повышая голос до визга:

– Слава, слава великому и мудрому Сулле! Сенат приветствует тебя!

И поднял правую руку вверх.

Сенаторы последовали его примеру. То ли они уже были заморожены. То ли повторили жест легата в полном беспамятстве, как в сомнамбулическом сне...

5

– Дорогие друзья, – сказал Сулла, складывая руки на груди наподобие восточного царька, – я обижусь, если кто-нибудь из вас назовет меня нынче великим и мудрым. Оставим эти слова для уст сенаторов.

И Сулла обнял гостей. Всех поочередно: Метробия, Буфтомия, Постумия, Полихарма, Мидона. Действительно, это были его друзья. Они всегда были с ним. Очень часто далеко от него, но всегда близко.

– А теперь познакомимся с этими очаровательными существами, которых вижу впервые.

Сулла стал перед молодыми женщинами, словно собирался преградить им дорогу. Метробий обнял Суллу за плечи и прошептал ему на ухо:

– Эта, которая справа, беленькая, как пшеничный хлеб, – сущий огонь... Звать ее Фебулла. Лет пять тому назад ей было двадцать... Рядом с нею – Сения. Жгучая брюнетка, как видишь. Моложе Фебуллы на год. Та, что поближе к двери, – Хлоя. Ей уже под тридцать. Она – на любителя. Я бы не променял ее ни на Сению, ни на Фебуллу...

Сулла обратился к женщинам:

– Благодаря моему другу я уже знаком с вами.

Хлоя хихикнула:

– Наверное, наговорил тебе всякой всячины?

– Клянусь богами! – Сулла поднял обе руки вверх. – Только хорошее!

Фебулла скинула плащ и оказалась в легкой и короткой тунике.

– С такими женщинами и умереть не жаль! – воскликнул Сулла.

Он пригласил гостей занять места за столиками, кому где и с кем понравится. Вопреки распространенному обычаю, столики стояли на некотором отдалении друг от друга. Красс рассказал именно о таком обычае испанцев, и Сулла решил завести его у себя: не лежать, а сидеть. С кем хочется.

А сам уединился в дальнем и темном углу с давнишним другом, актером Метробием. Злые языки поговаривали, что он в юности был влюблен в этого актера, как в женщину. Ни тот, ни другой этого прямо не отрицали. «Теперь мы стары для этого, – говорил Сулла. – Нам теперь нужны только женщины. Притом молодые...»

Метробий был одних лет с Суллой. В свое время успешно выступал в греческих трагедиях. От тех лет сохранил прекрасный цвет лица, живые глаза и царственную осанку.

– Я думал, что ты погибнешь в азиатской стороне, – сказал Метробий. Он чуть-чуть картавил.

– Как видишь, не погиб.

– И слава богам!

Актер глядел на своего друга с любовью и любопытством.

– Все помнишь, Сулла?

– Все! – Сулла обнял друга. – Я рад, что и ты здоров. Скажи мне, в чем нуждаешься?

– Ни в чем, – сказал гордый актер.

– А все-таки?

– Если угодно, хочу только твоей дружбы...

Сулла удивился:

– О, ты благороден, как всегда!... Но дом тебе не мешает?

– Чей дом?

– Такой богатый... С садом... И рабами...

– Где я возьму, Сулла?

– Ты получишь его, Метробий.

Актер подумал. И благородно отказался.

– Сулла, – сказал он, – я бы не хотел строить свое счастье на несчастье других.

Проконсул отодвинулся от него на локоть, чтобы получше разглядеть черты своего друга.

– Ты это всерьез? – спросил он.

– Вполне.

Сулла махнул рукой:

– Черт с тобой, ты как был пустым мечтателем, таким и остался!

Метробий рассмеялся. И сказал:

– Давай поговорим о тебе... Говорят, ты женишься?

– Да.

– На ком?

– На Цецилии... Дочери верховного понтифика.

Актер покачал головой.

– Не одобряешь, Метробий?

– Нет, отчего же?.. Тебе это не вредно. У тебя будет жена, связанная с нобилитетом. Нет во всем Риме семьи более богатой и крепкой своими связями с патрициями...

– Она хороша собой, Метробий.

– Да, перезрелая.

– Я надеюсь, она еще родит...

– Возможно.

– Если родит сына, Метробий, я назову его Фавстиком.

– Хорошее имя. Дай тебе боги!

Сулле взгрустнулось.

– Скажи мне что-нибудь веселое, – взмолился он.

– А на что эти девицы?! Они большие мастерицы взбадривать пожилых.

– Не оскорбляй меня.

– И не думал, Сулла. Я же люблю тебя.

Актер прижался к нему. Положил голову на грудь.

Вдруг с противоположного угла раздался звонкий голосок Хлои:

– Э, нет! Так не пойдет! Если мужчины будут миловаться друг с другом, то что нам здесь делать?

– Пить вино! – крикнул ей Метробий. И затрясся в смехе.

– Не желаю! – крикнула Хлоя. – Я мужчин люблю больше, чем вино.

– Звереныш, – беззлобно обозвал ее актер.

Сулла пошел к гостям, увлекая за собой Метробия. Он шел и прикидывал в уме, кого же все-таки выбрать... «Только не Хлою», – почему-то решил он. Разыскал низенькую скамейку и подсел именно к Хлое.

Его лицо пришлось прямо против ее полуобнаженных грудей. Хлоя звала его. Неслышно. Незаметно для других. В ней билась страшная женская сила, притягательная, как сама жизнь.

– Друзья мои, – сказал Сулла проникновенно, – мне так хорошо с вами. Скажите мне, кто что любит. Я желаю подарить вам нечто. Не стесняйтесь. Называйте.

Сразу стало тихо.

Хлоя захлопала в ладоши. Она сказала:

– Это правда?

– Да! – Сулла весь светился улыбкой. Доброй. Отеческой. И улыбкой опытного любовника.

– Сад и дом, – сказала Хлоя и застыла. Как изваяние.

Сулла поцеловал ее в оба колена и произнес торжественно:

– Да будет так... А тебе, Фебулла? А тебе, Сения? А вам, друзья мои? Говорите. Я не бросаю слов на ветер. Говорите же...

И заговорили все. Разом.

Кроме Метробия. Он стоял в стороне. Слушал. Смотрел. Запоминал...

6

К р а с с. Ты чем-то расстроен, Помпей?.. Выпей калды. Или этого вина. С летним снегом...

П о м п е й. Лучше со снегом. (Пьет с явным удовольствием.) Хорошее вино. Откуда оно?

К р а с с. Собственное. Налей еще. Его надо пить залпом. Не люблю, когда вино сосут, подобно телку. Мужчины должны опрокидывать в себя. Пить, как в Колхиде.

П о м п е й. Пожалуй, ты прав. Лей! С утра можно?

К р а с с. Можно. На ночь не лучше... На тебе лица нет. Что с тобой?

П о м п е й (пригубив вино). Что происходит, Красс?

К р а с с (удивленно). Где?

П о м п е й. В Риме, разумеется. Ты ничего не замечаешь?

К р а с с. Замечаю. И что с того?

П о м п е й (Осушив чашу. Горячо). Ты можешь сохранять спокойствие? Посмотри вокруг! Людей убивают без суда. И не только популяров! Имущество их конфискуют. Передают другим. Всяческим проходимцам!

К р а с с. Не понимаю. Если ты намекаешь на меня?..

П о м п е й (привстав на ложе). Почему – на тебя? Разве и ты получил дворец?

К р а с с (с улыбкой). Получил. На Палатине.

П о м п е й. Вот как!

К р а с с. Если враги отечества бегут? Если они бросают свое имущество? На основании закона...

П о м п е й (перебивая). Бегут? Потому, что им отрубают головы. Я же говорю: без суда! Это же произвол!

К р а с с (рассудительно). Послушай, ты слишком горяч. В твои лета это понятно. Вникни в совет старшего по годам: не горячись, не повышай голоса, если ты не хочешь сам угодить в список.

П о м п е й. Ты предашь меня, что ли?

К р а с с (тихо). Не я. Но мой раб, мой слуга предаст. Они получают за это свободу и десять процентов от конфискованного имущества.

П о м п е й (в отчаянии). Какой ужас!

К р а с с. Я тебя люблю, Помпей. Любя, даю совет...

П о м п е й. Я знаю его: не горячись, не повышай голоса, сиди в собственном дерьме и не пищи!

К р а с с (деланно смеясь). Во! Молодец. Да ты же умный. Быстро все схватываешь.

П о м п е й (возбужденно). Людей казнят без суда. Жену разлучают с мужем. Детей – с родителями. В один день пускают богатого по миру. Центурионы сделались всесильными. Народ трепещет при виде их.

К р а с с (не слушая его). Есть у меня на примете дворец. На Квиринале. С чудесным садом. Осмотри его. Может, приглянется тебе?

П о м п е й. Что же тогда?

К р а с с. Я поговорю с Суллой. И полагаю, что вскоре сможешь переехать во дворец. Или продать по сходной цене.

П о м п е й (в ужасе). И ты, Красс, предлагаешь мне это?

К р а с с (наливая ему вина). Да.

П о м п е й. От всего сердца?

К р а с с. Да.

П о м п е й. И тебя не мучает совесть?

К р а с с. Нет.

П о м п е й. Значит, набрать в рот воды и молчать?

К р а с с (с милой улыбкой). Молчать, набрав в рот вина! Зачем же воды?.. Итак, я предлагаю тебе присмотреть имение. Где-нибудь в Этрурии или Кампанье. Или же дом с садом. В самом Риме. Может, не один? А?

П о м п е й. Налей, скорее налей!.. Это невозможно!

К р а с с (наставительно). Потише!.. Мой слуга прильнул к двери.

П о м п е й. И ты говоришь об этом без волнения?

К р а с с. Даже с улыбкой. Наливая вино. Вот так.

П о м п е й. О!

К р а с с. Ах, молодость, молодость!.. Твое здоровье! За твой новый дворец! И новое имение! (Подумав.) И не одно! Ты меня понял?

П о м п е й (прильнув к чаше). Не знаю, пойму ли тебя когда-нибудь?

К р а с с (уверенно). Поймешь, Помпей. Ручаюсь тебе!

7

– О великий!

Эпикед стоит в дверях. Он просит разрешения войти в таблинум. Как всегда, слуга подтянут, строг, бережет улыбку.

– Входи, входи, Эпикед.

Слуга шагает по коврам. Неслышно. Как кошка. Как тигр азиатский.

– Слушаю. Эпикед говорит:

– Все судачат о твоей женитьбе, о великий.

– Хаю́т меня?

Это остийское выражение, которое больше приличествует морякам, чем римскому патрицию, режет слух у тонко воспитанного Эпикеда.

– Да, хаю́т!

– Кто?

– Твои недруги. Говорят, что это брак по расчету.

– Разве в Цецилию нельзя влюбиться? – Сулла поднимает кверху левую бровь.

Эпикед согласен с господином: вполне можно влюбиться!

– Так чего же им надо? При чем здесь расчет?

– Они намекают, о великий, на ее отца. Великого понтифика.

Сулла откидывается на спинку кресла:

– Разве для великого понтифика не лестно иметь такого зятя? Говорили: у Цецилии не будет детей. А она уже беременна.

Эпикед непроницаем. У него только новости. И он старается не комментировать их. Его дело сообщать. А господин пусть сам разбирается.

– Это все, Эпикед?

– Нет.

– Что же еще?

– О великий! Я хочу обратить твое внимание на некоего центуриона. Бывшего гладиатора. Он недавно, благодаря твоей милости, поселился в особняке недалеко от цирка Максима.

– Зачем он мне?

Сулла пытается угадать хитроумный замысел слуги. Какой-то центурион... Благодаря его милости... Особняк... Ну и что?

Слуга молчит. Разве не все ясно? Неужели непременно ткнуть пальцем? Намека мало, значит?

– О великий! Он предан тебе.

– И что же?

– Безгранично.

– Та-ак.

– О великий! Всем обязан тебе. Он очень сильный. Беззаветно преданный. Когда он слышит твое имя, – он перестает мыслить. Он только ждет приказа.

– А-а-а!

– О великий! Может, я косноязычный?

– Нет, Эпикед.

Сулла погрыз ноготь.

– Где этот центурион? Как его звать?

– Крисп, о великий! Он окажется возле твоего величия, когда ты пожелаешь. В любую минуту... Мне кажется, что свет не сошелся клином на Дециме...

Кажется, Сулла кое-что улавливает...

– Верно, не сошелся.

– А то ведь человек может и воспарить...

– Как это воспарить?

– Голову потерять.

– Может, Эпикед.

– И зазнаться может. Нос задрать. Я, мол, я! – И слуга передразнил некоего зазнайку. Без излишнего гримасничания и жестикуляции Прямо-таки словно мим.

– Я и сам подумал об этом...

– О великий! Если он от твоего имени занимает дворец и женится на вдове-красавице, то, значит, Децим способен и на нечто большее. Очень страшное.

– Какой он занял дворец? – тревожно спросил Сулла.

– Некой Коринны, вдовы Брута Севера.

– Хороший дворец?

– Шикарный. Один из лучших на Палатине.

Сулла почесал переносицу. Нахмурился:

– Самовольно, значит?

– Выходит так, о великий... Я начинаю бояться его...

– Ладно, Эпикед. Приведи ко мне этого Криспа. Только не сегодня. Скажем, завтра утром. Или послезавтра.

– О великий, слушаюсь.

– Как себя чувствует Цецилия?

– Служанки говорили мне, что лучше. Значительно лучше Они сказывали, что не иначе как будет мальчик.

Сулла заулыбался. Брови подались в стороны. Уголки губ дрогнули.

– Они уверены?

– Эти хитрые бестии, о великий, все знают. И без мантики. У них свои правила. Свои наблюдения.

– А все-таки откуда они берут?

Слуга пояснил:

– Живот, говорят, острый.словно бы изнутри пика торчит. И частые позывы к рвоте. Не унимаются они, эти позывы.

– Из всех женщин мне нравится более всего Цецилия... – Сулла бросил взгляд на статуэтку из золота, изображавшую Цецилию. Правда, ваятель скостил по меньшей мере лет десять, но это неважно. Цецилия все равно красива, вернее, привлекательна.

Эпикед положил на стол две дощечки с надписями.

– Что это?

– Два имени, о великий. Этот, – слуга поднял первую пластинку, – мой родной брат. Несчастный человек. Обиженный марианцами. И все из-за меня... А второй... – Эпикед ткнул пальцем другую дощечку, – тоже мой брат. Сводный брат. Он проживает в Остии. Ютится в какой-то норе...

– А ты сам? – спросил господин. – Ты как-то говорил мне, что собираешься жениться... Почему ты не женишься?.. Тебе тоже нужен дом... Ты думаешь привести жену?

– Передумал, – сказал Эпикед, краснея.

– Гм... С чего это ты?

Сулла вернул дощечки, начертив на них свое имя.

– Передай Гибриду и скажи, чтобы поживее действовал. Дома выберешь сам. Просмотри лично списки. Ведь этот Гибрид плут неимоверный. Он все для себя и для Красса.

Слуга стоял опустив голову. Затем порывисто бросился на колени и поцеловал руку своему господину. Через мгновение он был уже за дверью.

Проконсул полубовался пламенем свечи, которая горела на столе. И долго не мог оторвать глаз.

8

Плутарх, основываясь на достоверных источниках, писал:

«Положив начало резне, Сулла не прекращал ее и наполнил город убийствами без счета и конца. Многие пали вследствие личной вражды без всякого столкновения с самим Суллой: угождая своим приверженцам, он выдавал им людей на расправу. Наконец, молодой Гай Метелл осмелился спросить его в сенате, где предел такому злу и далеко ли он думает еще зайти, прежде чем можно будет ждать успокоения. «Мы не просим тебя, – прибавил он, – освободить от кары тех, кого ты решил казнить, мы просим лишь избавить от неизвестности тех, кого ты решил помиловать». Сулла ответил, что он и сам еще не знает, кого ему предстоит пощадить. «Так объяви же, – перебил его Метелл, – кого ты хочешь наказать». Сулла сказал на это, что он так и сделает... «Немедленно после этого Сулла составил проскрипционный список в восемьдесят человек...» «А через день Сулла объявил новый список в двести человек, затем третий – не меньший...»

«Не говоря уже об убийствах, прочие мероприятия Суллы тоже заставляли общество страдать. Так он провозгласил себя диктатором...» «Через народное собрание было проведено постановление, которое не только избавляло Суллу от ответственности за все содеянное им прежде, но и на будущее время предоставляло ему право казнить смертью, конфисковать имущество, основывать колонии, строить и разрушать города, давать и отнимать престолы...»

Аппиан указывает:

«Чтобы сохранить видимость исконного государственного строя, Сулла допустил назначение консулов. Консулами стали Марк Туллий и Корнелий Долабелла. Сам Сулла, как обладающий царской властью, будучи диктатором, стоял выше консулов. Перед ним, как перед диктатором, носили двадцать четыре секиры... Многочисленные телохранители окружали Суллу...»

«В следующем году Сулла, хотя он и был диктатором, притворно желая сохранить вид демократической власти, принял во второй раз консульство вместе с Метеллом Благочестивым...»

9

В третьем часу утра Сулла выходил в атриум, где принимал посетителей или работал за столом в таблинуме. Потом его видели в сенате или на заседании народного собрания. После второго завтрака – снова атриум или таблинум. После первой стражи он сбрасывал с себя официальную тогу, рядился в холщовую тунику-безрукавку, снимал тесные башмаки и отдавался веселью в обществе закадычных друзей. Ночь принадлежала только ему. Желчь как бы отливала от всех членов, уступая место доброте и бездумным утехам. Немало способствовали этому вино и женщины. Он даже не сразу ответил бы, что выше: вино или женщины?

Злые языки шептали, что бурное ночное веселье являлось разрядкой от кровавых дневных дел. И что, в свою очередь, кровавые дела следовали за утренним похмельем, когда тяжелела голова, разливалась желчь и пухли веки от чрезмерных возлияний. Все сходились на одном: днем к нему – не подступись. Лучше вечером. Однако вечер и ночь отводились для триklinума, а не для деловых свиданий. Кто же мог к нему попасть вечером, если особо не зван?..

Вот и сегодня, приняв ванну, он направился в атриум. Эпикед сообщил, что Цецилия, которая сейчас у своих родных, более или менее здорова, рвота поутихла и она желает видеть его.

Сулла выслушал слугу внимательно и спросил:

– Где Катилина?

– Он ждет в саду.

– Зови его сюда.

О Цецилии ни слова.

Эпикед послал раба за Катилиной, которому был назначен прием на три часа утра. Сулла подошел к бассейну. Поглядел в чистую, как зеркало, воду. И увидел знакомого человека. Только лицо у этого было очень красное. Белые крапинки посерели. Сулла решил, что это кровь прилила к голове после горячей ванны. Поманил к себе Эпикеду и спросил: не очень ли багров цвет лица? Эпикед изумленно осмотрел своего господина. Он сказал:

– Может быть, тебе следует почаще пользоваться фригидарием. Холодная вода подчас полезнее горячей. Она сжимает поры. Не пропускает болезнь вовнутрь.

– А кто мне говорил про горячую? – раздраженно сказал Сулла. – Горячая, дескать, раскрывает поры и выгоняет болезнь наружу. Кто это мне говорил?

– Я, – признался Эпикед безо всякого страха.

– Так когда же ты врал: тогда или врешь сейчас?

– Нет, я и тогда говорил правду. Надо чередовать горячую и холодную ванны.

Сулла указал на зеркальную воду имплювия:

– Видишь, какой он багровый?

– Это искажает вода. На самом деле цвет твоего лица значительно мягче.

Сулла усмехнулся. Недоверчивой гримасой. Он хотел знать, что же все-таки лучше: горячая или холодная ванна?

– На этот вопрос не смог бы ответить даже Гиппократ.

– Почему? – Сулла не отрывал глаза от имплювия.

– Потому что чередование холодной и горячей воды – суть лечения водою.

– Ах, лечения?! – Сулла злорадно ухмыльнулся. – Поди-ка сюда, Эпикед.

И он показал слуге некий прыщ, скорее фурункул, выскочивший на шее, чуть повыше правой ключицы.

– Что это!

– Прыщ, – ответил слуга.

– Сам ты прыщ!

– Может, фурункул... – Слуга пытался получше разглядеть покрасневшую припухлость.

– Ну? А поточнее?

– Это скажет врач.

– Так вот... – Сулла повернулся к слуге. – Только между нами. Слышишь?

Эпикед не надо предупреждать. Это излишне. Сулла разве первый год делится секретами?

– Из этого прыща я достал маленького белого червя...

Эпикед выпучил глаза. Его смуглое лицо побледнело.

– Червя? – спросил он. – Из этой ранки?

– Да. Такого беленького. Какие бывают на падали.

Слуга не очень-то поверил: белый червь на живом теле?

– Может, на больном, Эпикед? Черви чувствуют болезнь...

Тот покачал головой, – дескать, не похоже. Он быстро вышел из атриума и вскоре вернулся с флаконом и белой тряпкой.

– Покажи мне этот прыщ, о великий!

Смочил тряпочку жидкостью из флакона и приложил к ранке. Промыл ее.

– Что это? – спросил Сулла.

– Очень крепкие лемносские духи. Я назвал бы их бальзамом.

– Да, пощипывает. Приложи еще раз. Приятно.

– Может, позвать врача? – сказал слуга.

– К свиньям! Не надо. Подумаешь – прыщ!

И он широким жестом пригласил Катилину, который показался у входа. Пригласил в укромное место. За колоннами. В портик.

Эпикед удалился.

– Садись, Каталина! – Сулла занял место в бесселе – двухместном кресле. Рядом пристроил молодого римлянина – кареглазого, в голубой тоге и высоких башмаках. Перед ними низенький столик. А на нем – засахаренные фрукты и вода из летнего снега. И вино. Однако Катилина отказался от угощения. А воду пригубил.

– Как дела? – спросил Сулла.

Луций Сервий Катилина, которому исполнилось двадцать пять лет, слыл ярым сулланцем. Ему боги и те нипочем! Его богом стал Сулла. Проконсул знал это. Полагал, что сей молодой патриций пойдет далеко, если только не свихнется где-нибудь на крутом повороте.

– Шипят, – сказал кратко Катилина. – О великий и мудрый! Они ненавидят нас. Вот и шипят!

Сулла уставился на него пристальным, тяжелым взглядом.

– О великий! Обидно слышать – и даже стыдно, – как поносят нас. Марианцы считают нас дикими, кровожадными зверями. А за что? За то, что им утерли нос? За то, что не позволили убить республику?

Сулла молчал, и взгляд его лежал на молодом человеке тяжким грузом.

Катилина горячился:

– Они было поджали хвост. Теперь не слышно громких разговоров, непрерывных проклятий. Шипят в кулак. Шипят друг другу на ухо. Это, говорят, безопасней. И в то же время, говорят, можно душу отвести. А дай им срок, дай им возможность – саданут нам нож промеж лопаток. И бровью не поведут! Я знаю этих хищников. Этих пантер. Они притаились. Их запугали проскрипционные списки. А попробуй ослабь вожжи! Попробуй дай им волю. Вот тут-то взгромоздятся на нас, словно орлы, и глаза нам выключают. Нет, о великий, на твоём бы месте день и ночь составлял списки. Ибо врагам нашим несть числа. Они притаились. Клянусь богами! Сволочной народ – даже и говорить с ним нечего. Пусть беседуют с врагами вооруженные центурионы и палачи! Надо чтобы Тарпейская скала действовала и днем и ночью. Только в этом способе вижу я выход. Ибо они, враги наши, буде возьмут верх, – уничтожат нас в мгновение ока. И не пожалеют. Даже не задумаются. Таковы они – эти лисы и волки, пантеры и гиены!

Молодой человек разошелся. Разбушевался. Размахивал руками. Тряс головой. Топал ногами.

А Сулла слушал. Не перебивая. Взгляд его по-прежнему лежал на Катилине. Проконсул не поощрял. Но и не сдерживал. Не соглашался. Но и не возражал. Он впитывал в себя речь Катилины, подобно греческой губке.

– А что было вчера? – рассказывал Катилина. – Пришел ко мне брат. Мой родной брат. Его звали Квинт. Старше меня лет на десять. И первое, что он сделал, – это начал ругать. Да простишь меня, о великий и мудрый! – тебя. Да, да, тебя! И это при том, что отлично знал про мою к тебе безграничную любовь. Я предупредил его: «Квинт, не ругай моего дорогого вождя». А он не унимался. Не было худого слова, которого не поставил бы он рядом с твоим божественным именем. Я еще раз ему: «Квинт, прекрати богохульство». А он – свое...

Свинцовые глаза Суллы налились кровью. Он застыл, как лев перед прыжком. Ждал конца этой неприглядной истории.

Катилина продолжал свой рассказ:

– «Послушай, Квинт, говорю, если бы это болтал отъявленный марианец – я бы не стал даже слушать. Просто прибил бы негодяя – и дело с концом. Если бы вся эта гадость лилась из уст какого-нибудь тевтона или нумидийца – наших заклятых врагов, – это еще полбеды. Но когда богохульствует римлянин, да к тому же квирит, к тому же патриций?!»

– И ты так долго терпел? – спросил Сулла, плотно сжав зубы.

– Нет, – поспешил с ответом Катилина. – Разумеется, нет.

– Что же ты сделал?

– Я убил его, – сказал Катилина, не моргнув глазом. И это была сушая правда. Насчет убийства.

Сулла улыбнулся:

– Молодец!

– И я прошу, – продолжал Катилина, – внести имя брата в проскрипционный список.

– Задним числом? – спросил Сулла, глядя в упор на молодого человека.

– Да, – скромно ответил Катилина.

– Ну что ж, – сказал проконсул, – пожалуй, это разумно. Он был состоятелен, этот негодяй?

– Да, о великий и мудрый.

– Ты получишь половину, Катилина.

– Благодарю тебя, о великий!

– Но впредь... – Сулла поднял руку, – но впредь не советую тебе слишком испытывать свое терпение. Эдак можно и сердце надорвать: действуй поживее. Понял?

Катилина припал к его руке. И жарко ее целовал.

– Всегда, всю жизнь, – шептал он, – буду служить тебе верную службу. Буду ненавидеть врагов твоих, как своих, о великий и мудрый!

– Гибрид получит соответствующее указание, – промолвил Сулла. Он имел в виду вопрос об имуществе убитого Квинта, брата Катилины, того самого Катилины, который стоял много лет спустя во главе двух заговоров и, следуя по стопам Суллы, пытался захватить власть. (Не его вина, что это ему не удалось.)

Катилина помчался домой. Полетел, что называется, на крыльях радости. С него не только снималось клеймо братоубийцы, но значительно увеличивалось личное имущество, и он торопился сообщить об этом своей дорогой супруге...

Следующим был Крисп. Эпикед ввел его, и тот остановился в нескольких шагах от Суллы. Прочно. Непоколбимо. Его горячий взор устремился на любимого вождя и полководца. Впервые Крисп видел Суллу на столь близком расстоянии.

– О великий и мудрый! По твоему повелению явился твой недостойный слуга, центурион Крисп.

Солдатский рапорт всегда ублажал слух полководца. Сулла улыбнулся. Попытался определить его силу, стать, ум, поскольку это можно сделать на близком расстоянии и в несколько секунд.

– Ты, говорят, ходил вместе со мною в поход? – сказал Сулла.

– О великий, на рукавах моих следы твоих наград!

– Прекрасно! И ты был ранен?

– Да, о великий! Во Фракии. Чуть-чуть. Под Афинами. В мякоть левой ноги. Чуть пониже колена. И в Геллеспонте: в меня угодил митридатовский дротик.

– Жизнью своей доволен? – Сулла вытянул ноги. Хлебнул снеговой воды.

– О да! Великий и мудрый, живу я в особняке, прекрасном. Только твоя щедрость способна так награждать своего слугу.

– Женат?

– О великий и мудрый! Завтра моя свадьба, ежели не будет на то твоего недовольствия.

– Не будет, – сказал Сулла. – Это только лишь начало. Ведь пойдут дети. И тебе пригодится, скажем, вилла в Кампанье.

Крисп засиял.

Сулла оставил кресло, подошел к имплювию. Поискал того, кто глядел на него со дна; да, краснота исчезла... И он обратился к Криспу:

– Что скажешь, если придется тебе оставить свою когорту, к которой привык?

– Во имя чего, о великий? – спросил центурион.

– Во имя службы здесь. – Сулла топнул ногой.

– О великий! Моя жизнь принадлежит только тебе!

Сулла снова обратил свое внимание на человека, глазевшего на него из воды. И сказал как бы между прочим:

– Однако жизнь здесь многотрудная. Это тебе не цветочки поливать в саду. И не детей нянчить. – И уже вовсе жестко: – Нам нужен обнаженный меч. Постоянно. Карающая рука нужна. И преданное сердце. Безотчетно преданное. Понял меня?

– О да! Великий и мудрый! Я готов на все ради тебя, ради одного твоего слова.

– Посмотрим... – проговорил Сулла и распорядился через Эпикеда выдать центуриону три тысячи сестерциев.

На радостях Крисп прогромыхал своими сапогами. Словно в лагере перед палаткой полководца. И направился к выходу.

– А этого певца, – сказал Сулла Эпикеду, – веди в таблинум.

Еще раз бросив взгляд на зеркальную поверхность имплювия, Сулла заторопился к своему столу. За которым и встретил известного столичного барда.

Это был небольшой человек по имени Вариний. Он одинаково свободно писал по-эллински и по-латински. Такой степенный, толстеющий, лет пятидесяти пяти. Лысоватый. С густыми бровями, похожими на двух нахохлившихся воробьев. Кажется, из вольноотпущенников по родительской линии. Но сам настоящий квирит. Можно сказать, кумир молодежи. Его любовная лирика сводила с ума женщин. Особенную популярность завоевала его поэма «Ганнибал под Римом». Она возбуждала высокие патриотические чувства. В свое время сенат присвоил ему почетный титул Великого Поэта Республики. Ни до, ни после подобного не бывало. Золотой венок триумфатора увенчал голову поэта.

Поэт увидел перед собой хмурого, небрежно побритого проконсула. Ни один мускул не дрогнул на лице Суллы. Никаких чувств не выразили его глаза, казалось пересаженные с другого человека. Может быть, с рыжего тевтона.

– Сулла! – воскликнул поэт, театрально разводя руки. – Я помню тебя совсем еще молодым. Смотрю на тебя и думаю: что же в тебе изменилось за эти годы?

Полководец молчал. Он тоже думал о том, что изменилось в самом Варинии?.. Небольшая полнота? Но, помнится, он и тогда, в молодости, был склонен к полноте. Лысина? Но, помнится, и в те годы поэт не обладал вихрастой шевелюрой. Этот Вариний однажды выручил Суллу из большого денежного затруднения. Он дал Сулле займы несколько тысяч тетрадрахм, не требуя ни синграфы – векселя, ни поручителя. Да, этот самый Вариний, который нынче чем-то недоволен. Что же, поглядим, с чем пришел Великий Поэт...

Поэт сказал:

– Мне кажется, что ты стал молчаливым.

Сулла вздохнул.

– Мне кажется, что ты слишком угрюм. Более, чем положено государственному деятелю.

Поэт потирал руки на восточный манер. Он был убежден, что приятные воспоминания давних лет растопят холодность Суллы. Но ничего подобного не случилось. Диктатор стоял во весь рост, изображая собственное каменное изваяние, над которым трудились ваятели. (Решено было поставить его скульптуру в сенате.)

– Как живешь, Вариний? – спросил наконец Сулла. Его голос доносился словно откуда-то снизу, из-под пола: настолько он был неестественным.

– Живу... – пробормотал поэт, подавленный холодным приемом.

– Присаживайся. Говори. Я слушаю.

Вариний понял, что перед ним совсем другой человек. Возможно, выросший из того самого молодого Суллы, но другой. Что же его так покорежило?

После столь сухого, неприветливого предложения: «Говори. Я слушаю» – у поэта пропала всякая охота говорить. Он подумал: не повернуться ли назад и не уйти ли? Однако переборол себя. Сел на скамью. И приступил.

Его беспокоило положение дел. (Сулла отвернулся от него.) Государственных дел. (Сулла уперся взглядом в самый пол.) Настроение людей внушает большое опасение. (Сулла вскинул голову, будто следил за полетом мух.) Очень большое. (Сулла кашлянул.)

– Откуда все это? – взволнованно говорил поэт. – Есть только один источник. Я это доподлинно установил. Греки говорят: найди источник, определи его, и ты познаешь истину.

– Болтуны, – буркнул Сулла.

– Кто? – Поэт привстал.

– Твои греки. А кто же еще?! Они хотели преподать мне свою философию еще в Афинах. Но получилось обратное. Там три дня и три ночи текла река. Кровавая река. Не советую особенно полагаться на греков и их философию.

Поэт был сбит с толку. Потерял нить своей мысли. Судорожными движениями потирал лоб. В то время как Сулла следил за ним внимательнейшим, подозрительным взглядом. Словно из-за угла.

– Слушаю, – поторопил диктатор голосом, еще более мрачным, чем вначале.

– Да... Вот я и говорю... – Поэт с трудом припоминал свой «источник», который чуть не поглотила эта самая «кровавая афинская река». – Да, источник один: страх.

– Что? – Сулла подбоченился и нагнулся над столом.

– Страх...

– Какой страх?

Поэт подумал:

– Обыкновенный. Животный.

Диктатор усмехнулся. Стал спиной. И сказал:

– Дальше?

– А твои списки... – поэт усмехнулся. Надо заметить – совсем некстати.

– Что мои списки? Какие?

– Проскрипционные.

– Они вовсе не мои! Их узаконил сенат. Надо кое-что знать, прежде чем раскрывать рот!

Сулла хватил кулаком по столу.

Бедный поэт чуть не проглотил язык. Заерзал на скамье. Кашляя нервным, спазматическим кашлем.

– Дальше?

Вариний вздрогнул. Из последних сил выговорил:

– Многие знатные люди – в страхе. Все ждут своего конца. Трусят. Дрожат, как зайцы. Не кажут носа из дома. Как улитки пугливые.

Сулла злорадно спросил:

– И все из-за этих списков?

– Да. Из-за крови. Из-за убийств беспричинных.

– Без причины даже таракан недохнет. Запомни это, Вариний.

– Это верно...

– А если верно, то надо знать, чего хочешь, чьим ходатаем являешься. За врагов отечества хлопчешь? О марианцах печешься?

– Нет.

– Так за кого же, Вариний?

– За честных. Ни в чем не повинных...

– Можно подумать, что Рим обезлюдел.

– В некотором смысле да...

Сулла вышел из-за стола. Медленно приблизился к поэту.

– На твоём месте, – сказал он, – я бы обходился без «некоторого смысла». – И передразнил поэта: – Без «некоторого смысла». Не строй из себя дурака – я тебя вижу насквозь.

Поэт вдруг осмелел. Он переступил через грань, когда все уже безразлично, когда собственное достоинство начинает довлеть над всеми прочими ощущениями и чувствами.

– Я не дурак, Сулла. И видеть насквозь меня трудно. Ибо я не финикийское стекло. И даже не римское. Я – человек.

Он поднялся с места:

– Я хотел побеседовать по душам. Как со старинным другом. Наверное, я ошибся. Прощай, Сулла!

Диктатор не ответил. Не проводил до дверей. Не сказал «до свидания» или «прощай». Вызвал Децима. И сказал тому:

– Ты видишь этого человека?

– Который направляется к выходу?

– Да. Это неисправимый марианец. Половина имущества – твоя. Голову выставишь на форуме. – Перехватив удивленный взгляд центуриона, заметил: – Его голову, Децим! Его!

Центурион бросился выполнять приказание. Его шаги были слышны в таблинуме довольно долго. И замерли только тогда, когда Децим вышел во двор.

Сулла крайне возмущен. Дерзостью этого Вариния. Взял прекрасный граненый сосуд с вином и приложился к нему. А вода из летнего снега окончательно успокоила его. Походил по комнате широким шагом, сочиняя в голове письмо в провинцию Идумея, где следовало увеличить налоги. Ибо нужны деньги. Много денег...

Вошедшему Эпикеду сказал:

– Где-то по Риму, говорят, блуждает поэт Вакерра... Хороший поэт! Скажи, чтобы привели его ко мне.

– Я, кажется, знаю его: такой плюгавенький...

Сулла сердито посмотрел на слугу:

– Это не самое худшее качество, Эпикед. Одним словом, найди и доставь его ко мне!

10

Римские граждане, казалось, придавлены. Словно прессом новой давящей машины, изобретенной в Испании для виноградарей. Сулла крутит ее ручку с великим умением. Не щадя ни сил, ни времени. Днем и ночью стучатся в дома центурионы, неся черную весть.

Неприсутственный день в этом отношении ничем не отличается от обычного, иды – от календ, декады от месяца. Днем и ночью составляются проскрипционные списки. А сколько пропадает людей и без списков? Кто это учитывает?

Слезы полились рекой. А кровь? Кто учитывал ее? Может быть, Гибрид и его магистраты? Может, Гай Варрес и его люди? Фронтан или Руф? Кто?

Дома, подлежавшие конфискации, тщательно вносились в списки. Сады тоже. Вплоть до дерева, имеющего хоть какую-либо ценность. И жемчуга заносились в списки. И деньги аккуратно складывались в эрарии. И там их считали квесторы. А жизни? Кто им вел счет? И зачем это? Кому?

Люди спрашивали друг друга: где же боги? Разве и они убоялись проскрипций? Разве и они забились в свои углы и не кажут носа на люди? Что же с ними? Где справедливость? Почему боги не отличают старого от молодого, вдову от девушки, детей от пожилых? Где же все-таки боги? И что же происходит в этом Риме?

А сколько вен добровольно вскрыто? Из опасения, что явится центурион с черной вестью и скажет: «Великий и мудрый Сулла спрашивает тебя: «Не прожил ли ты свой век?» Это была сакраментальная формула. Это был приговор. Неотвратимый. И его приводили в исполнение немедленно. Если вопрошаемый проявлял малодушие и не находил дорогу в бальнеум, чтобы вскрыть себе вены, – ему помогал центурион. Точнее, помогал взмах его меча. Грозного, как молния.

Диктатура Суллы – так утверждали все – входила в силу, была в полном разгаре, точно пожар, раздуваемый свежим морским бризом. И тем не менее с его уст не сходило слово «демократия». И вскоре он принял (вторично) консульство вместе с Метеллом Благочестивым. Это было очень удобно: верховная власть плюс консульство. Это сохраняло видимость республиканской демократии. Однако Сулла нанес смертельный удар по народным трибунам, и этот институт фактически исчез. Это был удар по плебсу. Правда, в то же самое время Сулла нанес удар и по всадникам, ликвидировав их привилегии. Но популярам не приходилось радоваться этому: просто логика борьбы за власть вынудила Суллу убрать всадничество с поля политической битвы. Благодаря соучастию одних, оцепенению других и равнодушию третьих Сулла достиг высшей власти. Сенат трясся в страхе, оформлял задним числом все деяния Суллы, придавал им видимость законности.

Многие римляне, потеряв ощущение реальности и принимая все это за страшный ночной кошмар, обращались к помощи различных гадателей. Учув наживу, по городу сновали персидские, вавилонские, мавританские и прочие прорицатели, предрекавшие будущее. Никогда не ошибался тот, кто по светилам или по линиям рук предсказывал кровавую годину. Ибо в этом им старательно помогал не кто иной, как Сулла.

Особенно невыносимыми казались ночи. Вооруженные до зубов солдаты, держа над головами факелы из боярышника, маршировали по улицам. И согласно спискам убивали и грабили несчастных граждан. Никто не знал в точности, чья наступает очередь. Если опасность миновала нынче, это вовсе не означало, что миновала она вообще.

– Я боюсь покрова ночи, – признался Корд колбаснику.

Сестий молчал. Озирался вокруг: ему все мерещилось, что кто-то их подслушивает. Он похудел и осунулся, на щеках появился серый налет.

– За донос сейчас много платят, – шептал он басом своему соседу.

– Что?

– За донос, говорю, много платят.

И они забивались в темный угол лавочки и там обменивались короткими иносказательными фразами.

– Не доверяй Марцеллу, – советовал Корд.

– Он тоже? – удивлялся колбасник.

– Нет. Но может предать просто так. Сам того не подозревая.

– А Крисп? – И оба соседа зажимали себе рты.

Марцелл шептал в самое ухо башмачнику, обжигая горячим дыханием:

– Его теперь носят на носилках... А ведь простой центурион...

– Простой ли?

– Ты прав, Корд, наверное, не простой. Он, говорят, и по ночам разгуливает по городу.

– Зачем?

Колбасник удивленно вскинул брови:

– Тебе надо объяснять?

– Да.

– Потому что по ночам тоже убивают.

Корд задумался и тихо сказал:

– Он нам был вроде бы другом.

Сестий махнул рукой:

– Это быстро забывается. Ко мне приходит его слуга, берет колбасы и денег не платит.

– А ты веди счет.

– Я-то веду. Лишь бы и Крисп вел. Боюсь, что он стал к тому же и забывчивым.

– Тсс...

Кто-то подошел к лавке. Это оказался зеленщик Марцелл.

– Шепчетесь? – сказал он громко. – Это сейчас в большой моде.

Корд и Сестий смутились.

– Что ты! – сказал Сестий. – Мы тут пробовали одну колбасу.

– По глазам вижу, что врешь!

– Клянусь богами! – воскликнул степенный Корд.

– И я клянусь! – сказал Сестий.

Зеленщик захохотал.

– Перепугались? – сказал он. – Дружно отказываетесь? А я, знаете, ничего не боюсь. Чем хуже – тем лучше. Да, да! Говорят, рабы восстали в Этрурии. Где-то в ста милях отсюда. Это же совсем рядом! Допустим, восстание подавят. Но для того, чтобы подавлять, тоже надо силу иметь. А там, смотришь, пойдут на нас луканцы. Или бельги. Или какие-либо далекие парфяне нагрянут. Это предсказывал один перс-гадатель.

Корд и Сестий словно в рот воды набрали. А зеленщик продолжал как ни в чем не бывало. Знай шпарит и даже в ус не дует:

– Это очень хорошо, что восстали рабы. Они, говорят, очень злы и рубят головы всем встречным-поперечным. Это очень хорошо!

Корд и Сестий не проронили ни слова. Но это не смущает говорливого зеленщика.

– Они, говорят, спускаются с гор к морю. Если у них найдется голова, она поведет их вдоль берега моря и доберется до Яникула. Эти, говорят, не какие-нибудь Гракхи. Эти запросто снимают голову. Не моргнув глазом. Гракхи, по-моему, слишком высоко брали. А надо бы по-простецкому: раз, два – и ваших нет! Что скажете?

Башмачник и колбасник ничего не скажут. Они молчат. Но ведь даже слушать такие речи опасно. Лучше всего, как говорят в Остии, смыться.

Башмачник заявляет, что торопится починить чью-то обувь. А колбасник начинает доставать из мешка колбасы и ужасно кряхтит.

Зеленщик побрел восвояси.

Корд и Сестий вздохнули свободно. Нет, этот зеленщик из Остии определенно нечистоплотен на язык. Он вполне может унизиться до доноса. А впрочем, кто знает...

На всякий случай колбасник подает башмачнику явственный, недвусмысленный знак, приложив указательный палец к губам. Дескать, молчи, только молчи! Изо всей силы – молчи!

Сулла уселся на скамью и окинул взглядом цирк. День выдался прекрасный: солнечно, не очень жарко. В этот базарный день люди приоделись, заполнили все места, даже

пристроились на лестницах – на широких каменных ступенях. Женщины, мужчины, подростки, дети... Говор, смех, покашливание, визг и даже писк.

Сулла поворачивается назад и говорит Гаю Варресу:

– Был бы жив поэт Вариний, увидел бы сам, как весел и счастлив римлянин.

И с любопытством осматривает ряды амфитеатра, выискивает знакомые лица. Но никого не находит.

– О великий! – обращается к нему Варрес. – Я полагаю, что поэт позеленел бы и лопнул от собственной глупости и невежества.

Сулла громко засмеялся, но вдруг оборвал смех: на него с близкого – довольно близкого – расстояния смотрела некая дебелая матрона. Узкое патрицианское лицо, ровный нос и глаза, похожие на глаза оленихи. Грудь – совершенное создание природы. Сулла залюбовался грудью, прикрытой легкой, бесстыжей тканью. Прозрачной, как стекло. Но самое удивительное не это: матрона глядела на него так вызывающе, что ему пришлось отвести глаза. В первый раз в жизни – первому отвести глаза...

Он поманил к себе маркитанта Оппия. Шепнул ему:

– Узнай, кто она. Вон та, дебелая, аппетитная...

И кивнул в сторону матроны. Женщина поняла все и улыбнулась Сулле откровенной улыбкой красивой и молодой блудницы. Оппий стал пробираться по рядам к выходу, где стояли его люди: надо же знать, как подойти к даме, надо сначала подослать людей – понятливых, подготовленных к обращению со столь деликатным товаром. А потом уж действовать самому...

Сулла старался не смотреть в ее сторону, но не мог: она откровенно улыбалась ему, щурила глаза, словом, оказывала столь лестное для мужчины внимание, какого не видывал полководец во всю свою жизнь. Если бы не недавняя смерть Цецилии, он бы не выдержал и побежал к этой красивой и статной женщине... Кто же она все-таки?

На этот вопрос очень скоро ответил центурион Крисп. Он наклонился и тихо сказал на ухо Сулле:

– О великий! Эту женщину, вдову, звать Матриния. Она дочь фламина Дентона.

– Опять дочь жреца? – буркнул Сулла.

– Что? – спросил Крисп.

– Ничего. Это я так. Иди!

Матриния повернулась к нему, пренебрегая стыдом и словно спрашивая: «Нравлюсь тебе? А имя мое тебе нравится?» Сулла начинал смущаться. Это просто удивительно!

Тубы возвестили начало гладиаторских игр. Народ разразился рукоплесканиями и вдруг притих: на арену медленно, настороженной походкой вышел лев. Он прищурился от обилия света и сделал несколько шагов влево, а потом вправо. Зверь как бы прикидывал в

уме, сможет ли перескочить через железную островерхую изгородь, чтобы сожрать одного из зрителей. Поняв, что это не удастся, зверь побрел по арене – куда глаза глядят. И вдруг – замер. Застыл. Врос в землю... Еще больше прищурился. Спокойно описал мордой полукруг в воздухе; да, запахло человечиной. Точнее, кровью...

Зверь не ошибся: с противоположной стороны арены показался гладиатор. Так называемый бестиарий. Специальностью бестиариев была борьба с дикими зверями. В левой руке они обычно держали небольшой круглый щит, обшитый буйволово́й кожей, а в правой – короткий меч, скорее похожий на нож. Эти кровавые игры, перешедшие от этрусков, вошли в моду лет двести тому назад. С тех пор увлечение ими росло все больше и больше. Они превратились в национальную, чисто римскую кровавую забаву...

Бестиарий, вышедший на бой с голодным львом, был обмазан кровью телка. Лев наверняка, как и полагали организаторы боя, озвереет при запахе крови. И гладиатору придется очень худо. Ему все время надо быть начеку. Но мало – начеку! Надо выказать большую отвагу, не оробеть. Что безумно трудно. Но еще труднее сразить зверя. Прежде чем он перегрызет тебе глотку...

Тридцатилетний бестиарий-крепыш не спускал глаз со льва. И тоже медленно продвигался вперед. Будто и сам был голоден.

Шаг.

Шаг.

Еще шаг...

Она повернулась к нему. Она была счастлива. Ей очень и очень хорошо. А ему? Ей это хотелось знать. «Хорошо ли тебе?» – вопрошали ее глаза. И она дождалась ответа: он молча, едва заметно кивнул. В совершенном восхищении она заплотировала то ли бестиарию, который подбирался к зверю, то ли великому Сулле, наблюдавшему за готовящейся схваткой на арене.

Итак...

Зверь знал, что делать. Царь пустыни не торопился, хотя очень голоден: его не кормили три дня. Он готов сожрать человека вместе с его мечом и щитом. А запах крови пьянил зверя. Лев подвигался настороженно. Не выпуская из поля своего зрения этого чудака, посмевавшегося явиться на арену, посыпанную чистым песком.

Бестиарий не трусил. Был ли он опытен в такого рода боях? Несомненно. Устроители выпустили его первым, чтобы сразу захватить зрителя. А уж потом, только после боя со зверем, состоится парад гладиаторов. Этот несколько необычный порядок имел свою положительную сторону: быстро вводил зрителя в азарт игры...

Сулла прикидывал в уме: сколько же лет этой вдове? И определил: тридцать. А может, чуть поменьше. Но сколько в ней задора! Задора-то сколько! Вся – огонь. Само пламя, всеобжигающее!..

Она смотрела на арену и не смотрела: сидела вполоборота к Сулле. Ей это не очень удобно. Зато поворот головы казался ей наиболее удачным с мужской точки зрения. И груди – напоказ. И губы во всей их привлекательности...

Бестиарий сделал выпад левой ногой, точно отбивал нападающего врага. Это движение по-своему расценил зверь: он взревел и двинулся вперед, полный решимости перегрызть шейные позвонки этому человеку, посмевавшему принять боевую позу...

Они подвигаются друг другу навстречу. Медленно. Верно. Полные решимости выйти из схватки победителем.

Дети визжат от удовольствия. Даже рукоплещут. Но мужчины безмолвствуют: пока нечего им сказать, надо выждать немного...

Зверь принимает решение: он собирается напасть на человека с левого бока. Начинает описывать большую плавную дугу. Чтобы зайти слева. Чтобы вгрызться в левый бок. И мгновенно вырвать вместе с ребрами и горячее сердце. Еще живое. Трепещущее, подобно цыпленку, которому оторвали голову.

Бестиарий делает вид, что не замечает звериного маневра. И прыжками подвигается вперед. Такими мелкими прыжками. Ибо длительное вступление в бой всегда раздражает публику. Надо ускорить. Уже слышны нетерпеливые покашливания. Тысячи и тысячи глаз смотрят внимательно, оценивающе на двух бойцов, один из которых – зверь, сильный, беспощадный от голода...

Сверкнули на солнце два алмаза. Это ее глаза. И отчего в них так много задора? Отчего они так непохожи на те, которые доводилось видеть? Что-то в них новое, неизведанное. Но что? Не в этом ли таинстве взора и дыхании упругих грудей заключены чары любви?

Сулла подзывает Криспа.

– Ближе! – И говорит центуриону: – Матриния, говоришь? – И кивает в сторону этой занозистой, игривой женщины. – Пригласи ее ко мне. Благоговейно. Ко второй страже. Понял?

И Сулла припомнил другую. Очень похожую на эту. По имени Валерия. Тоже вдовушку. Тоже удивительно задиристую и занозистую. Воистину главенство в любви переходит к женщинам!.. Но где же эта Валерия? Смерть несчастной Цецилии на время оттеснила образ Валерии... Валерия... Валерия... Нет, у той глаза черные-пречерные. А у этой, Матринии, карие. Издали – почти желтые...

Вот уже рычит лев. Ему не нравится блестящий клинок, который в правой руке у бестиария. Но зверю очень хочется сожрать человека. И он готовится к прыжку...

А человек попытается всадить нож под ребра. В самое сердце. Когда лев будет висеть в воздухе. На это нужно время: всего одно мгновение! Не больше! Иначе конец стройному, вымазанному телячьей кровью бестиарию...

Цирк замер. Все понимают значение ближайших секунд.

И в это время снова встречаются их глаза.

И они улыбаются друг другу...

В последние дни Децим мрачнел все более и более. Однажды, придя домой, он усадил Коринну перед собою, а сам устроился на мраморных ступенях. Ей показалось, что он вдруг постарел. Она не любила его, но он был ей мужем. Она не любила его и не могла любить, но он оказался честным малым. Децим делал все для того, чтобы ей было хорошо и хорошо ее старым родителям. Да, он грубоват в обращении. Но ведь он – солдат. Да, он не читал Демосфена, зато в его характере преобладала прямолинейность, редкая в Риме: она соседствовала с нежностью по отношению к жене и ее близким. И он ни разу ей не солгал... Наверное, он жесток, думала Коринна, однако дома Децим кроток и скромн. И почтителен к родителям ее. В конце концов, он оказался щитом для них в это смутное, очень страшное время, когда человеческая жизнь почти приравнена к одному ассу. Все это обязывало Коринну внимательно относиться к мужу, который оказался совершенно наивным в делах любовных, и это ее, пресыщенную римлянку, даже возбуждало. Ей нравилась роль учительницы в делах любовных. Коринна уже привыкла к мужу и почти была счастлива своей беременностью. Появление на свет маленького человечка, близость этого часа увеличивали нежность к мужу. Патрицианское честолюбие уступало место житейской устроенности.

Перемена в настроении мужа обеспокоила Коринну. Особенно на фоне всего того, что творилось в Риме. Она спросила, что с ним...

Он не стал темнить. Да и не умел этого. Высказал ей все, что думает. Не щадя себя. И ее. Может быть, из чувства жалости к ней. Или, напротив, из природной порядочности своей по отношению к женщинам. Децим боялся их больше, нежели любил. Эта боязнь и была его любовью. Которой предан. Которой не изменит никогда.

Децим сказал:

– Коринна, что ты знаешь обо мне?

Она приложила руки к вискам. Прошептала: что случилось?

– Ничего, – ответил Децим. – Я был раб и друг великого Суллы. Это самое главное.

Коринна с ужасом ждала чего-то особенного. Лицо ее покрылось предродовыми пятнами. И чуточку подурнело за последние месяцы.

– Но с недавних пор все пошло иначе, – продолжал Децим с жестокой откровенностью. – Мое место возле Суллы занял некий Крисп. Я оказался в стороне. Правда, центурия пока под моим началом. Моя верная служба и преданность – позабыты. Я отторгнут от его сердца. Ты слышишь, Коринна?

Да, она слышала. Но ведь это не самое худшее. Можно прожить и без Суллы, в конце концов. У нее есть рабы. Есть дом. Есть вилла недалеко от Капуи...

– Кстати, что это за вилла? – спросил он.

– Прекрасная вилла, Децим. В холмистой местности. Там растет виноград. Очень много. И ячменя, и полбы. Там можно жить и наслаждаться жизнью.

– Да? – спросил он рассеянно.

– Да! Можно прожить сто лет, никому не кланяясь, совсем в одиночестве. И денег достанет.

– Это хорошо.

– Мои отец и мать обожают эту виллу.

– А ты?

– Не очень, – призналась Коринна. – Я люблю Рим. Шум его улиц. Болтунов римских. И даже грязь на улицах. И высокие дома...

Он криво усмехнулся. Мельком посмотрел на нее и немножко пожалел жену: она так наивна и так далека от жизни при всей своей практичности.

– А если я скажу, чтобы ты немедленно переехала на виллу?

Коринна ничего не понимала.

– Да, да, переехала... – пытался он втолковать.

– Куда?

– На виллу.

– Зачем?

– Так надо.

– А отец и мать?

– Они тоже.

– А ты?

Децим опустил голову. Молчал. Точно окаменел.

– Что с тобой, Децим?

Наконец он поднял голову. Она увидела его глаза: они были полны слез.

Коринна растерялась. Кинулась к нему. На грудь. Совсем не понимая, что делает. Совершенно бездумно. По женской чувствительности: она никогда не видела его слез. И не думала, что в этом железном человеке водятся слезы.

Он отстранил ее. Нежно, но решительно.

– Слушай меня, – сказал он. – Сейчас не до этого.

– Не мучай меня, – взмолилась Коринна. – Что случилось?

Децим решился: да, он непременно скажет, потому что не привык лгать, не привык юлить. И он точно обрезал:

– Жизнь кончается...

– Чья жизнь? – воскликнула Коринна, которой сейчас особенно нужна жизнь.

– Моя, – безжалостно ответил он.

– Твоя?..

У Коринны задрожали губы. Вдруг она поняла, что может потерять его. Что живой человек всегда ходит по острию ножа. У края глубокой стремнины...

– Ты болен? – вырвалось у нее.

– Нет.

– Ты здоров?

– Да.

Впрочем, она и сама видела, что здоров, сама в этом совершенно уверена. Разве скала болеет? Разве железо хворает?

– Слушай, – сказал Децим, – есть в мире нечто не менее страшное, чем болезнь. Слушай меня, Коринна...

И он рассказал ей о том, как ночью вызывал его к себе великий Сулла. Вид проконсула был страшен; весь багровый, белые снежинки на лице, пот градом, глаза выпучены.

– Мерзавец! – кричит. – Что у тебя делается?

– Где? – лепечет Децим посиневшими губами.

– В центурии! Вот где!

– Не... не... не...

У Децима зуб на зуб не попадает.

– Занекал! – прорычал Сулла. – А знаешь, негодяй, что у тебя в центурии против меня заговор зреет?

– Заговор? – говорит Децим, который ни жив ни мертв.

– Да! Заговор! Затесался какой-то умник, ведет слишком умные речи и точит нож против меня.

– Против тебя? – трепеща, вопрошает Децим.

– Да! Представь себе! Может, он еще и поэтом прикидывается? Звезды считает? На луну любуется? – Сулла вдруг замолчал и после небольшой паузы продолжал тихо, но внушительно: – Послушай, Децим: до утра остается четыре часа. За это время ты найдешь заговорщика и принесешь мне его голову. В противном случае... – Сулла погрозил пальцем. – В противном случае принесешь мне свою собственную голову. Иди!

И Децим вышел, как побитый пес...

– Ты нашел? – спросила Коринна, задыхаясь.

– Да.

– Кто же это был?

– Гней Алким. Мой солдат. Он любил считать звезды и любоваться луной.

Коринна с трудом произнесла три слова:

– И ты убил?

– Да.

– И голову отнес?

– Да, – ответил Децим.

По его грубым, покрытым рубцами щекам катились тяжелые, похожие на масляные капли, слезы. Он не стеснялся их. Может быть, только сейчас понял Децим, что значат слезы. А ведь он видел их. Разве его жертвы не плакали, прощаясь с жизнью? Разве им было легче, чем ему?

Коринна все больше пугалась его. Она готова кричать, звать на помощь, реветь навзрыд. Почему это в такой красивый, голубой вечер, в красивом, зеленом саду зашла речь о смерти! Разве речь только о смерти Гнея Алкима? О смерти, как видно, неотвратимой. Еще об одной смерти, если плакал даже такой человек, как Децим. Человек грубый, мужественный, выдавший кровь и слезы.

– Я, Коринна, стал зрячим, – плача, признался он. – Не надо меня жалеть. Я свое прожил...

– Нет! – выкрикнула она с отчаянием. – Нет! Ты должен жить! – Она прижалась к нему и горячо, заикаясь от страха, зашептала: – Мы уедем на виллу. Я знаю там места. Такие укромные. Мы будем одни. Децим! Скорее! Скорее!

Он покачал головой. Плачущий. Все еще суровый. Но уже не верящий ни во что.

Коринна вдруг осмелела. Она вскинула голову. Полная решимости, проговорила:

– Я пойду к нему. Упаду к его ногам. Я попрошу его.

– Нет. Ты этого не сделаешь.

– Я упрошу его. Любой ценой. Он сделал тебя извергом – пусть сам выручает из беды.

Он схватил ее за руку. До боли сжал запястье.

– Нет, – проскрежетал он, – ты не пойдешь! Потому что бесполезно. Потому что нет у него души. Потому что все решено.

Коринна кусала ногти. Губы ее дрожали, как лист на ветру. Вдруг она почувствовала, что ей дорог этот грубый, неотесанный человек. Во цвете лет. Которому грозила смертельная опасность.

– Я спасу тебя, – говорила она.

Он вытер слезы. На своих щеках. И на ее щеках. Децим посуровел. Децим снова стал Децимом.

– Не теряй времени, Коринна. Иди и скажи твоим родителям, чтобы собирались. Спасай себя и е г о. Может, это будет сын. Назови его Децимом. Децим, сын Децима.

– Нет! – твердила она. – Нет! И бросить дом? – спросила она, рыдая... – Этот дом?

Он горько усмехнулся:

– И этот дом. И меня. Так надо! Торопись же, время дорого. Ради него!

И он покосился на ее пополневший живот.

– Торопись же!

Но, кажется, поздно. Вот слышны голоса. Вот доносятся тяжелые шаги. Все ближе, все ближе. И вот они во главе с Криспом!

Центурион стоит впереди. За ним десять солдат. Тяжеловооруженных. Словно идущих в атаку. Но на кого? На своего? На того, кто обожает великого Суллу.

– Децим!

Центурион встает, идет навстречу другому центуриону.

– Здравствуй, Крисп! Добро пожаловать!

Децим улыбается. Очень глупо. Но солдаты суровы, молчаливы, неподвижны.

– Децим, – сквозь зубы цедит Крисп, – ты сволочь, негодяй и разбойник! Сдай оружие, иди вперед!

И Крисп указывает в сторону ворот.

Коринна знает: он не сдастся просто так. Он выхватит меч. Он пойдет на них. Падет, но не сдастся живым.

– В чем дело, Крисп?

– Ты – негодяй! – говорит Крисп злобно. – Следуй за мной.

К удивлению Коринны, застывшей без кровинки в лице, Децим отдает меч свой, свой нож, даже шлем. Без борьбы. Без единого слова.

– Так-то, – радуется Крисп. – Марш!

И указывает на дорожку, посыпанную гравием.

– Прощай, Коринна!

Но Коринна не слышит: она упала. Совсем как мертвая.

Двое дюжих солдат подхватывают под руки Децима, третий выдает ему здоровенный подзатыльник, и его уводят. Совсем неживого.

Крисп немного задерживается. Его не интересует эта беременная женщина. Его привлекает дом. Такой приличный. Получше его особняка. Значительно лучше! Хотя бы своим местоположением – на Палатине!

Достаточно беглого взгляда, чтобы понять, что дом этот несравним с его домом. В котором живет не так давно. Надо попросить Гибрида обменять тот дом на этот. Разве ему откажут в таком пустяке?

Крисп не может удержаться от любопытства: вбегает на лестницу и заглядывает внутрь. Да, разумеется, этот дом нельзя сравнить с тем. Небо и земля!

Он сбегает вниз, чуть не спотыкаясь о беременную женщину и пускается бегом догонять своих солдат.

Децим свое прожил...

13

К о р д. Послушай, Сестий: где этот зеленщик?

С е с т и й. Я сам думаю о том же. Не заболел ли?

К о р д. Этот Марцелл? Заболел? Чем же?

С е с т и й (хлопнув себя по лбу). Корд...

К о р д. Слушаю.

С е с т и й. Сюда. Поближе подойди.

К о р д (испуганно). Что? Ну, что?

С е с т и й. Может быть...

К о р д. Говори же!

С е с т и й. Язык не поворачивается. Может быть...

К о р д (кажется, смекнул, о чем речь). Да ну?

Оба испуганно озираются. Улица пуста. Но вот шаги. Кто это? Да это слуга! Слуга Криспа по имени Тит.

Т и т (весело). Эй, вы! Чего торчите, как мокрые курицы?

К о р д и С е с т и й (в один голос). Мы?

Т и т. Да, вы! Или тут у вас заговор?

К о р д. Что?

Т и т. Глухой совсем! За-го-вор, что ли?

С е с т и й. Он шутит, Корд.

Т и т (поравнялся с ними). Тут один тоже вздумал шутить. Да не очень удачно.

С е с т и й. Ты о ком, Тит?

Т и т. О зеленщике, конечно. Как его звали? Марцелл, кажется.

К о р д. Да, Марцелл.

Т и т (хохоча). Бедняга решил подшутить. Да над кем? Над самим Криспом! И вот тебе, что вышло. Его тело валяется на лестнице Плача. Можете полюбоваться!

С е с т и й. Где?

К о р д (похолодев). На лестнице Плача? Так его убил палач?

Т и т. А кто же? (Вдруг оборвал смех.) Отвечайте мне: для чего дан язык? Ну?

К о р д. Язык?

С е с т и й. Чтобы разговаривать.

Т и т. Эх, вы! Язык дан, чтобы молчать!.. Ну, кому нужна лавка Марцелла? Дешево отдам!

К о р д. Ты?

Т и т. Ну, думайте, а я пошел. Вечером увидимся.

Тит сгинул в полумраке.

К о р д. На лестнице Плача?

С е с т и й. Бедный Марцелл! А я думал, что он и есть соглядатай...

К о р д. Они и соглядатаев своих не жалеют. Разве ты этого не знаешь?

С е с т и й. Негодяи!

К о р д. Тсс! Во имя всех богов, тссс!

14

– О великий!

Фронтан и Руф склоняются в глубоком поклоне. И застывают в этой неудобной позе, когда голова приходится ниже собственных ягодич.

Сулла в золотистой тоге. Багровый, угрюмый. Слова от него – шага на два – начальник личной охраны Крисп. Готовый к действию по первому знаку.

– Откуда?

Голос Суллы хрипловат. Суховат.

Фронтан и Руф не решаются выпрямиться. Ждут позволения.

– Из Этрурии, – говорит Фронтан.

– Глаза-то ваши покажите! – говорит Сулла.

Фронтан и Руф мигом расправляют спины. Полководец подходит к ним. Смотрит им в самые зрачки, как в замочную скважину.

– Ну-с?

Повернулся к ним спиной. Почесал за ухом. Приказал говорить Фронтану. Потом прошелся в самый угол атриума и застыл. Фронтан нетвердым голосом доложил о походе против рабов. Восстание, к счастью, не разрослось: тысяч десять всего. Вооруженных мечами, рогатинами и дубинами. Ужасный сброд. Полуголодные, оборванные, со звериным оскалом. Дело началось с убийства. Гладиаторы – беглые, разумеется, – распоролы живот одному крупному владельцу виллы. Скототорговцу тоже. И пошло, поехало! Сбежались негодяи с соседних вилл. Соединились. И принялись совместно грабить и убивать... Расправиться с ними было не так-то просто. Потому что рабы увиливали от прямых столкновений. Отступали, прятались, вновь собирались. Совсем без совести и чести! И тем не менее, благодаря приказу великого Суллы, удалось схватить большинство повстанцев. Часть – небольшая – разбежалась подобно зайцам, часть – полегла в схватках...

– Сколько пленено? – спросил Сулла.

– Шесть тысяч.

– Где они?

– За Яникулом. В ожидании твоего приказа, о великий!

Сулла бросил короткую фразу, из которой явствовало, что он недоволен операцией: слишком долго продолжалась она без особого военного блеска. Но хорошо, что окончилась вполне благополучно. Нельзя давать рабам чувствовать свою силу. Нельзя!.

Сулла погрозил кому-то кулаком.

А потом сказал:

– Есть за Яникулом поле. Водрузить на том поле три тысячи крестов и распять всех до единого. Попарно. Спинами друг к другу. Ясно я сказал?

– О великий! Яснее ясного. – Фронтан согнулся в три погибели. И Руф тоже.

Сулла подозвал Криспа и сказал ему громко, чтобы слышали эти двое:

– Крисп...

– Слушаю тебя, о великий и мудрый!

– Крисп, что следует этим болванам?

– Этим? – Крисп указал пальцем на Фронтана и Руфа, и они похолодели разом.

– Да, этим.

– Я бы выдал, о великий, сто розог каждому за нерадивость.

– Сколько? – Сулла стал еще угрюмее.

– Сто, о великий!

– Каждому, Крисп?

– Разумеется, о великий!

Сулла прошелся по прохладному изразцовому полу. Повторяя себе под нос:

– Значит, сто... Значит, сто... – И обратился к Криспу: – Позови ко мне Гибрида. Он у меня в таблинуме.

Гибрид примчался мигом. Не сразу понял, что здесь происходит: бледные полководцы, угрюмый Сулла, готовый ко всему Крисп...

– О великий! Гибрид у твоих ног.

Сулла обратился к нему:

– Вот они, Фронтан и Руф. Наконец-то! Одолели каких-нибудь десять тысяч бродяг. Завтра за Яникулом будут распяты все шесть тысяч пленных...

– Приятная весть, о великий!

Гибрид от радости потирал руки.

Сулла сказал:

– Крисп советует выдать им по сто, Гибрид.

– По сто? – Гибрид засмеялся коротеньким, лающим, подобострастным смешком. – По сто? Не мало ли?

Сулла усмехнулся, не спуская глаз с Фронтана и Руфа.

– И я думаю, Гибрид, что Крисп пожадничал немного. По сто пятьдесят. А?

Гибрид кивнул.

– Так и быть, Гибрид: по сто пятьдесят тысяч сестерциев и одному и другому. В награду!

Сулла дождался, какое впечатление произведут его слова. И дождался: Фронтан и Руф пали ниц и поползли на животе. Они ползли, как собаки. Доползли до великого господина своего и припали устами к складкам его тоги. И долго лобызали золотистую вавилонскую ткань. Почти у самого пола.

– Встаньте! – приказал им Сулла и разразился юношеским смехом. Обнял их и повел в триклиnum. Где были накрыты столы для праздничной трапезы. Именно для праздничной. Но чему посвящен праздник? Победе над восставшими рабами в Этрурии? Но это не столь уж необычное событие. Так чему же? Фронтан и Руф терялись в догадках. Гибрид делал вид, что кой о чем смекает. Крисп молчал.

Вдруг влетел запыхавшийся Долабелла.

– Надеюсь, я не опоздал? – крикнул он с порога.

Время первой стражи. Его звали именно в этот час, и он, разумеется, не опоздал.

Что же все-таки будет? Чем порадует великий и мудрый Сулла, хранивший таинственную улыбку в уголках губ и мрачную угрюмость в глазах? Как всегда в таких случаях, смущала пронзительная голубизна – словно глаза его высвечены особенным пламенем, которое спорит с голубым, небесным эфиром...

Стол, что называется, ломились от яств.

– Что нынче здесь у тебя? – нарочно спросил Эпикеда Сулла.

– О великий и мудрый, – торжественно отвечал слуга, – ради сегодняшнего вечера, который угоден твоей душе сверх всякой меры, к столу поданы... – И сделал паузу.

«Который угоден твоей душе...» Эта формула несколько удивила присутствующих: что же имеется в виду?... «Угоден твоей душе...» То есть? – угоден ли вечер, или прибывшие друзья, или одержанная победа над рабами, или еще что-нибудь? Трапеза ради Фронтана и Руфа? Нет, это исключалось, хотя великий полководец благоволил к ним, что он и доказал своей грубоватой шуткой и щедрыми наградами. Что же случилось еще в великой республике? Ведь сам великий Сулла призывал к максимальной экономии. К

воздержанию в еде. Клеймил тех, кто обставлял свои квартиры дорогими вещами. Запретил пышные похороны и дорогостоящие поминки. (Хотя сам истратил на похороны своей Цецилии до двух миллионов сестерциев, хотя сам растянул на целую неделю многолюдные поминки, на которые ушли тоже миллионы, хотя сам тратил на дружеские трапезы сотни тысяч и так далее.)

Эпикед заученным тоном, без запинки перечислял кушанья, которые поданы на серебряных, бронзовых, глиняных и золотых блюдах. Многие тарелки и сосуды для вина украшены драгоценными камнями, среди которых бросались в глаза сардоникс, смарагд, алмаз, топаз, гранаты. Сколько же все стоило? На этот вопрос из присутствующих с большей или меньшей точностью мог ответить только Гай Антоний Гибрид. А янтарь северный на лампах и светильниках? А столы, инкрустированные различными сортами драгоценных деревьев? А скамьи, отделанные золотом? А стены, украшенные дорогими восточными тканями из золотой и серебряной пряжи? А полы, устланные персидскими и парфянскими коврами и армянскими паласами? А ножи дамасские с ручками из золота, усыпанные мелкими алмазами, наподобие звезд? Даже Гибрид не определил бы стоимость всего, что помещалось в одном только триклинуме!

Эпикед сообщил, что рагу из оленьего вымени приготовлено на особом колхидском соку, который включает помимо перца и кислоты натуральной мавританской до дюжины трав. Все они доставлены с берегов Понта Эвксинского в лучшем виде. Филе цыплят и цесарок жарено и разрезано на тонкие куски, которые просвечивают точно папирус. (Такие куски можно не жевать, а просто проглатывать.) Ветчина церратанская свежайшая заслуживает особого внимания: она сама тает во рту, подобно куску летнего горного снега. Филе ионийских рябчиков можно приметить без труда: они под соусом из дамасского чернослива. Имеется на закуску также и гусиная печенка, доставленная с берегов Дуная: она настолько хороша, что не нуждается в похвалах. Для тех, кому эта закуска покажется недостаточной, на треногих столиках имеется филе пулярок, филе кроличье и филе перепелиное, доставленное из Ливии...

– Я исхожу слюнями, – признался Долабелла. – О великий, не мучай нас.

Сулла улыбнулся, но не помешал Эпикеду продолжать свой рассказ.

– Возле каждого блюда с закуской вы увидите лимоны керкирские, смокву сирийскую, финики и айву. Не спрашивайте, каким способом сохранен их сок, их аромат и цвет. Это дело рук боспорских кудесников!

К закуске предлагались вина на любой вкус: фалерн, сетин, фундан, трифолин, цекуб. А также многолетнее смоляное вино из Виенны, изюмное вино сладкое с Крита, сигнийское и тарраконское.

– Да! – чуть не позабыл Эпикед. – Учтите: на серебряных блюдах лежат сыры из Требулы, – они уже побывали на огне, – вестинский и сыр из этрусской Луны. Что же до копченого сыра – он у всех на виду, его восковой цвет манит знатока еще издали.

– О Эпикед! – воскликнул Сулла. – Закуска еще не еда, особенно для людей, понимающих толк в трапезе. Где же твоя еда?! Мы же голодны!

Сулле очень хотелось поразить своих друзей.

– Да, – сказал Долабелла, – великий прав! Я ужасно хочу жрать, у меня сосет под ложечкой, а я еще не знаю, что меня ждет.

Корнелий Эпикед улыбнулся. И продолжал:

– А лани, зажаренные на открытом огне, вас устраивают? А каплуны вас устраивают? А филе полугодовых телок вам не нравится? А рагу из телячьего сердца под мавританским соусом вам по душе?

– О да! – воскликнул Долабелла. – Но я ничего не слышу о рыбах. Разве они нам противопоказаны?

– Ты прав, о Долабелла, – сказал Эпикед виновато. – Только старый хрыч, вроде меня, мог позабыть про креветки и нежного морского ежа, про пескарей венецских и морского окуня, про палтуса и устриц и, наконец, про красную рыбу-северянку, королеву всех рыб! И...

– Довольно, – перебил его Сулла, – ты нас умучил. Дай нам все это на зуб. Там видно будет – бахвалишься ты или говоришь правду.

Он сделал паузу. Щелкнул пальцами, как испанский плясун. И сказал Эпикеду:

– Введите бесценную...

И все повернули головы туда, где скрылся Эпикед. И все увидели ту, ради которой, оказывается, собрал их великий Сулла.

В широко распахнутые двери, украшенные сплошь янтарем, вошла Валерия в длинной и нежной тунике без рукавов, в высокой прическе, с алмазными украшениями, с диадемой во лбу. Это было явление женской Красоты, уже отграненной мужскими ласками, и самой Похоти, впрочем достаточно сдержанной и обузданной.

Она блеснула глазами – звездами летней ночи – и направилась к Сулле, стала на колени и поцеловала его руку. Он поднял ее с земли, поставил рядом с собою и сказал:

– Друзья, я хочу объявить о помолвке с моей Валерией. Я прошу вас любить ее и жаловать, как меня самого.

– Эвоэ! – воскликнул по-гречески Долабелла и разорвал на радостях себе тунику на груди. Схватил чашу, полную вина, и выдул одним махом. И разбил ее об пол, как это делают морские сицилийские и испанские разбойники, выражая безграничную радость.

И каждый из присутствующих поздравил Суллу с прекрасным выбором. И каждый поцеловал край его одежды, улегшись на пол. Валерия также удостоилась этой великой чести.

Великий Сулла снова обрел себе подругу, которая будет теперь с ним до конца его дней. Эпилог

В один прекрасный день 675 года от основания Рима Сулла повергнул в недоумение как друзей своих, так и недругов: он объявил, что уходит на покой, что все дела оставляет

народу Рима, Римской республике. Чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений, вместе с женою Валерией и детьми уехал в свою виллу в Кампанье близ города Путеола.

Только Валерия и Эпикед знали о страшной кожной болезни того, кому во всех италийских городах воздвигли золотые статуи. Не то чтобы цвета золота, но – настоящие золотые. Это было сделано вскоре после того, как великий Сулла произнес речь в Народном собрании, в которой скрупулезно собрал все замечательные и благородные деяния великого Суллы. И пообещал взволнованным слушателям обнародовать свои «Воспоминания». В них будет одна сплошная правда, и римский народ увидит, кем был великий Сулла.

Диктатор на самом деле ушел на покой. Но на всякий случай, хотя и доверялся своим друзьям, оставил за собой должность главнокомандующего всей армией. Сидя у себя на вилле и диктуя семейнографам свои «Воспоминания», великий Сулла был в курсе всего происходящего. Его имя по-прежнему произносилось со страхом. И, по возможности, не очень громко.

В день по несколько раз окунался Сулла в бассейн с благовониями, чтобы хоть немножко успокоить зудящее от гнойных нарывов тело и освободиться от зловонных струпьев.

Разумеется, долго продолжаться так не могло, и боги распорядились, чтобы в следующем, шестьсот семьдесят шестом году от основания Рима великий Сулла отошел в царство теней. Но и этот отход случился не просто, но в чисто сулланском духе.

Дело в том, что великий Сулла прослышал о неблагоприятном поступке некоего Грания, магистрата города Путеола. Сей чиновник решил не погашать до поры до времени своих долгов государству. Он кому-то тайно признался, что ждет конца Суллы. А тогда устроит дело так, что будет свободен от долгов.

Грания вызвали к Сулле. И последний спросил:

– Кто я?

Граний ни жив ни мертв...

И снова вопрос:

– Кто я?

Хитроумный Граний повалился наземь и взмолился:

– О великий и мудрый! О бессмертный...

– Удушить! – приказал своим слугам Сулла и при этом так орал в сильном гневе, что у него лопнула жила на шее. Самая большая жила, до предела изъязвленная. И к утру Сулла умер, пережив Грания на двенадцать часов.

И тогда, естественно, встал вопрос: что делать? Где хоронить почившего Эпафродита?

И тут началось. Консул Лепид сказал:

– Предать проклятию. Хоронить, как падаль.

Консул Катулл держался другого мнения:

– Похоронить, как знатного квирита.

Однако готов был уступить Лепиду. Многие склонялись к тому, чтобы поддержать консула Лепида. Но неожиданно восстал не кто иной, как сам Гней Помпей. Неожиданно, ибо, как известно, при жизни Сулла вовсе не благоволил к нему, Помпей настоял на торжественных государственных похоронах. За ним стояли полководцы и армия, и Помпей легко победил в споре своих противников.

Золотой гроб с телом Суллы пронесли через итальянские города и доставили в Рим. На Марсовом поле соорудили мраморную гробницу.

Тысячные толпы мрачно наблюдали за траурной процессией. Двести трубачей шли за гробом и трубили. Это были звуки скорби.

Среди самых близких шла Валерия, ожидавшая ребенка. По левую руку от нее медленно двигались сын Фауст и дочь Фауста – совсем еще юные. Дети Суллы и Цецилии.

На форуме перед гробом, словно перед живым Суллой, выступил лучший оратор. Вместо юного Фауста.

До Марсова поля гроб несли наиболее физически сильные сенаторы.

Погода с утра стояла поразительно спокойная. Римляне надеялись, что она сохранится до вечера. Но не тут-то было: налетел ветер, нагнал тучи, и первые капли пролились на золотой гроб Эпафродита.

Трубачи старались изо всей мочи. Когорты тяжеловооруженных следовали в торжественном марше.

Валерия молилась богам, чтобы даровали они погоду во славу того, кого провожает в последний путь весь римский народ.

На Марсовом поле приготовили все для сожжения тела, согласно обычаю. Тело положили на каменное ложе и обложили его сухими дровами. Великий понтифик поджег их факелом, который принесла от вечного огня одна из весталок. И огонь запылал. К небу взмыли трепещущие языки пламени. Огонь еще горел, когда с неба полились струйки дождя. А вскоре уже хлестал ливень.

Люди разбежались, предварительно убедившись в том, что Сулла сгорел точно так же, как обыкновенный квирит.

Войска, покорные железной дисциплине, окружали погребальный костер. Дольше всех из цивильных простоял маленький Фауст. Но и его в конце концов увели за руку.

Костер заливало, над Римом ярилась гроза.

***Рим – Агудзера – Москва
1967 – 1970***

Словарь

АТРИУМ – главное помещение, гостиная, с верхним светом; обычно с бассейном, портиками, цветочными клумбами.

АУСПИЦИЯ – официальные гадания с целью выяснения воли богов.

БЕЛЛОНА – богиня войны.

БЕСТИАРИИ – гладиаторы, сражавшиеся с дикими зверями.

ВЕСТАЛКИ – жрицы храма богини домашнего очага Весты, давшие обет безбрачия и целомудрия. Нарушивших обет живыми закапывали в землю.

ВРЕМЯ – сутки у римлян делились на 24 часа. Первый час соответствовал 6 часам утра по нашему времени суток.

ГАДАНИЯ очень были распространены в Древнем Риме, и так называемые официальные и частные. В большом ходу были гадания по молниям, полету птиц, по печени жертвенных животных и так далее.

ГРАКХИ Тиберий и Гай – смелые братья, жившие во II веке до нашей эры. Общественные и государственные деятели. Они, в частности, предложили наделить земель малоземельных крестьян, снизить цену на хлеб до минимума. Оба погибли от рук патрициев в молодом возрасте (31 – 32 года).

ДЕНЬГИ – медная монета ас (2–4 копейки), сестерций = 2,5 асса; серебряная монета, динарий = 4 сестерциям.

ДЕЦИМАЦИЯ – казнь одного из десяти человек по жребию.

ЖРЕЦЫ – понтифик верховный, избиравшийся коллегией понтификов, фламины, авгуры.

ИДЫ – середина месяца (15-е число марта, мая, июля, октября и 13-е число остальных месяцев).

ИМПЛЮВИЙ – бассейн в атриуме.

КАЛЕНДЫ – первое число месяца.

КВЕСТОР наблюдал за государственной казной. В войске – главный интендант.

ЛЕГАТ – здесь помощник полководца.

ЛЕГИОН – высшая боевая единица, 3000–6000 воинов. Состоял из когорт, центурий и манипулов.

ЛИКТОР – почетный страж, обычно со связкой прутьев и с секирой в руках.

МАГИСТРАТ – должностное лицо, представитель власти в любом ранге.

МЕРЫ ДЛИНЫ – миля римская (около 1,5 км), шаг, двойной шаг, локоть, фут, палец.

МЕСЯЦЫ квинтилис и секстилис – соответственно: июль и август.

НОБИЛИТЕТ – высшая рабовладельческая знать.

НОМЕНКЛАТОР – раб с хорошей памятью, сопровождавший своего господина.

НОНЫ – 7-е число марта, мая, июля, октября и 5-е число остальных месяцев.

ОПТИМАТЫ – аристократия, аристократическая партия, отражавшая интересы нобилитета (см.).

ОСНОВАНИЕ РИМА – по легенде, 754 или 753 год до рождения Христа.

ПОПУЛЯРЫ – «Народная партия», отражавшая интересы городских и сельских плебеев.

ПРЕТОРИЯ – площадка перед палаткой полководца в военном лагере.

ПРЕТОРИАНЦЫ – гвардейцы полководца, часто его личная охрана.

САТЕЛЛИТ – телохранитель.

СЕМЕЙОГРАФ – стенограф.

СТРАЖА ВОЕННАЯ – дежурила ночью в следующие часы по нашему исчислению суток: первая – с 6 до 9 часов вечера, вторая – с 9 до 12 ночи, третья – с 12 до 3 утра и четвертая – с 3 до 6 утра.

Трибун – должностное лицо в древнеримской республике, на котором лежала обязанность защищать плебс.

Трибун военный – один из шести начальников легиона.

ТАБЛИНУМ – рабочая комната, кабинет.

Триклинум – столовая.

Урна – здесь сосуд для жидкости, немногим более 10 литров.

Фригидарий – в бальнеуме бассейн с холодной водой.

Холмы Римские, на которых «стоит» город: Авентин, Палатин, Капитолий, Квиринал, Виминал, Эсквилин и Целий.

Центурион – сотник, его выбирали военные трибуны из лучших солдат.

Эпафродит – любимец Афродиты, богини красоты и любви. Так иногда именовал себя Сулла. Было еще одно имя. Плутарх пишет о Сулле: «...в заключение потребовал, чтобы... ему присвоили наименование «Счастливец» – таков приблизительно смысл слова Felix».